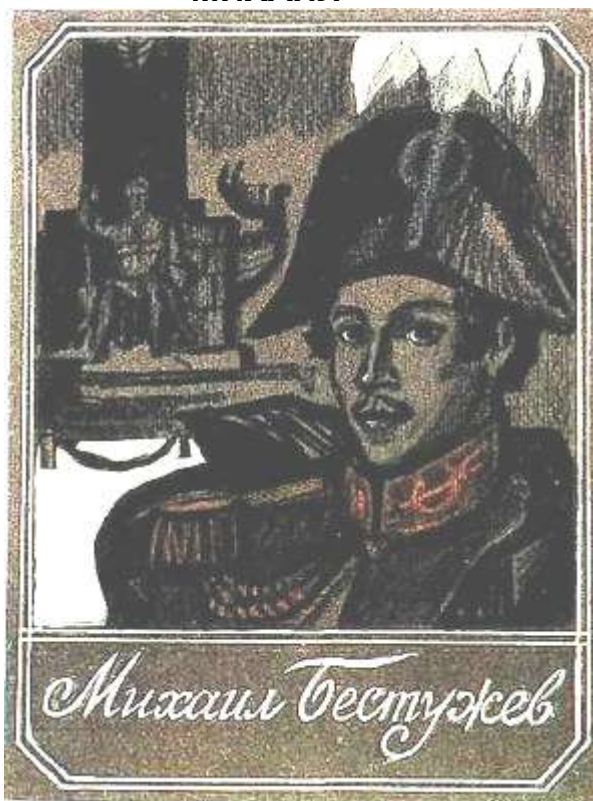


**Владимир Бараев**

**ВЫСОКИХ МЫСЛЕЙ ДОСТОЯНЬЕ**  
**Повесть о Михаиле Бестужеве**

## ТРИЗНА ПО БРАТЬЯМ МИХАИЛ



14 декабря 1856 года Михаил Бестужев отправился на лыжах в Зуевскую падь на свою заимку. Летом он жил там во время сенокоса, осенью приезжал на охоту, а зимой – за сеном. Сегодня же он решил в уединении отметить этот, мало сказать памятный, – роковой день.

Пройдя несколько верст вниз по реке, он перешел на правый берег Селенги и начал взбираться по заснеженному склону горы. Широкие охотничьи лыжи, подбитые мехом-камусом, позволяли штурмовать крутизну напрямик. В короткой меховой курмушке, малахае и бурятских унтах, он шел легко, без напряжения преодолевая подъемы. Но вскоре небольшой мешок за плечами потяжелел, приклад ружья и охотничий нож с рукоятью из рога изюбра, торчащий из деревянных ножен на боку, стали мешать движению. Бестужев увидел, что до перевала, за которым откроется Зуевская падь, осталось немного, и прибавил шагу. Достигнув седловины, он остановился у заснеженной колоды, смел с нее снег и сел передохнуть.

Разгоряченный быстрой ходьбой, он снял малахай, вытер капли пота на лбу и висках. Темно-русые, не тронутые сединой волосы, покрасневшиеся, почти без морщин, худощавое лицо, опущенные инеем усики молодили его. Постоянные хлопоты в столярной и слесарной мастерских, охота, сенокос и другие заботы по хозяйству сохранили в нем крепость сил и молодой облик. И люди, впервые видевшие его, никогда не думали, что ему уже за пятьдесят – так статен был он и легок в движениях.

Сняв лыжи, Бестужев поднялся на вершину скалы, которая некогда служила караульной вышкой для казаков, защитников Селенгинской крепости. Величественная картина открылась с нее. Заходящее солнце ярко освещало устье таежной речушки, над которой клубился пар свежей наледи, церковь и остатки старого города на правом берегу реки. Улицы, дома нового Селенгинска на левобережье вот-вот уйдут в тень сопок, а их бестужевский дворик уже в тени. Из печных труб и отверстий в юртах медленно поднимаются столбы дыма. Морозная будет ночь. Скоро студеная мгла поглотит долину Селенги. До чего же красива она! Но какими словами, красками передать ее красоту? Жаль,

что брат Николай так и не успел написать этот пейзаж.

Увидев большой круглый камень, Бестужев толкнул его ногой, тот покатился, полетел вниз и, попав на реку, гулко ударился и стремительно покатился по голому, отполированному ветром льду, точь-в-точь как то ядро, которое раскололо невский лед, когда восставшие оказались на нем. И сразу, словно наяву, возникла полынья, в ней барахтаются, тонут солдаты: искаженные ужасом лица, руки, хватающиеся за кромку льда... Сколько раз мерещилось это и в Петропавловской крепости, и в Шлиссельбурге, и здесь, в Сибири. А однажды приснилось, будто он оказался подо льдом, среди утонувших солдат. Они уже мертвы, но смотрят на него с укором: «Зачем, во имя чего мы погибли?»

Много утонуло их в Неве. Еще больше погибло на площади. И странно, картечь, разившая всех наповал, почему-то не тронула никого из офицеров, руководителей восстания. А картечину, летевшую в него, Бестужева, принял на себя ефрейтор Любимов. Незадолго до этого он сказал, что не покинет, прикроет командира. И прикрыл, погибнув мгновенной смертью...

Вспоминая об этом, Бестужев терзался чувством ничем не искупимой вины и перед погибшими, и перед теми, кто остался жив, пройдя все круги солдатского ада – плети, шпицрутены, издевательства начальства, а главное – каторгу, которая для них была намного тяжелее, чем для офицеров. О судьбах многих Бестужев ничего не знал до сих пор.

Перебирая час за часом день восстания, Бестужев вспоминал, как двадцатилетний унтер-офицер Александр Луцкий вместе с Щепиным-Ростовским и другими офицерами понуждал солдат выходить из казарм, а на площади командовал заградительной цепью, не пропуская никого к каре. Когда один из верховых жандармов начал разгонять людей и пытался прорвать цепь, Луцкий ткнул штыком его лошадь, а самого жандарма ударами приклада сбил на землю. Не испугался он и генерал-губернатора графа Милорадовича, когда тот подъехал к каре. Генерал обругал его, назвал мальчишкой. Но Саша крикнул графу: «Изменник! Куда девали шефа нашего полка?», имея в виду великого князя Михаила, которого, по слухам, арестовали вместе с цесаревичем Константином.

Милорадовичу все же удалось прорваться сквозь цепь и проехать к каре. После этого Бестужев видел, как Луцкий приказал стрелять по тем, кто приближался к цепи. Но куда он делся потом? На Неве его уже не было. Погиб на площади, арестован? Если его взяли, то могли вместе с солдатами и другими нижними чинами судить военным судом в полку и, прогнав сквозь строй, сослать на Кавказ. В Сибири о Луцком не было слышно. В Петровском Заводе декабристы однажды выделили немного артельных денег для солдат – участников восстания, отбывавших каторгу в Нерчинских рудниках, но был ли среди них Луцкий, неясно.

Зная, что вряд ли он мог хоть чем-то помочь ему и другим солдатам, Бестужев снова начинал думать, где и когда можно было предотвратить гибель людей. Не стоило, конечно, выстраивать их на льду. Надо было бежать прямо к крепости. Но нет! Еще раньше, на площади, следовало попытаться отбить пушки. Предлагал же Корнилович сделать это! И даже после первого выстрела, когда картечь пронеслась над головами, можно было дать залп по артиллеристам. Но кто думал тогда, что пушки ударят по людям? Надеялись, что так и будут стрелять вверх, для острастки. Вот тут-то и упустили последний шанс. Но были ли другие? Если да, то когда и где?

И перед Бестужевым снова и снова вставали картины утра четырнадцатого декабря. Дробный, призывный гром барабанов, грозный топот сапог неудержимой лавины солдат, быстро шагающих, почти бегущих к Петровской площади.<sup>1</sup> Казалось, только ритм барабана сдерживал их от того, чтобы перейти в бег с ружьями наперевес. Какая же могучая сила в сухой, тревожной дроби! Без флейт и труб барабаны звучали, как ни странно, гораздо внушительнее – властно, повелевающе. И там, на площади, после невероятных трудностей с

---

<sup>1</sup> Так чаще называли тогда Сенатскую площадь.

построением – главная сложность была с солдатами разрозненных рот, командиры которых не вышли на площадь, – барабаны продолжали греметь, крепя и спланивая строгий квадрат каре.

Порывы ветра колыхали высокие султаны киверов и знамена, развеивали клубы пара от разгоряченного дыхания сотен солдат. Утро было ясное, зловещие отблески неба то и дело вспыхивали на холодных гранях штыков.

И как гордился он, Михаил Бестужев, что ему удалось вывести не только свою роту, но и весь полк, ставший сердцевиной, кристаллом, который начал расти, увеличиваться час от часу: сначала присоединились лейб-гренадеры Сутгофа, затем – более тысячи моряков Гвардейского экипажа, а под конец – еще тысяча солдат Панова, которые штыками пробивались к Зимнему дворцу, а потом к Сенату.

Никто и ничто – ни генерал Милорадович, ни атаки конногвардейцев и кирасиров, ни уговоры парламентариев не могли поколебать решимости восставших. Казалось, еще немного – и под покровом сумерек к ним присоединятся преображенцы, кавалергарды, коннонионеры и другие войска.

А вокруг площади сгушалась не менее грозная сила – огромные толпы народа, возбужденные невиданным зрелищем: атаками конницы, взмахами палашей, ответными залпами ружей, сверканием штыков. Строители Исаакия, грузчики и прочий черный люд бросали в кирасиров поленья, камни. И стоило восставшим кликнуть их на помощь, этот призыв искрой воспламенил бы толпу, которая могла бы смять не только солдат, но и конницу и артиллерию. Впрочем, какая там артиллерия – всего четыре пушки. Но именно эти четыре единорога и решили судьбу восстания, извергнув из своих жерл огненный смерч картечи...

...Два зайца промчались со склона горы – кто-то напугал их наверху. Глянув туда, Бестужев увидел – с голых ветвей осинника посыпалась бахрома снега. И тут же в зарослях показался большой изюбр, остановился, оглядел поляну и хотел было продолжать путь, – ах, какие красивые у него рога! – но едва ветерок донес до него запах человека, тут же встал на дыбы и, развернувшись в прыжке, поскакал вверх в чащу. Залюбовавшись изюбром, Бестужев и не подумал выстрелить. Не до него сейчас. Пусть ходит до поры.

Подойдя к заимке, Бестужев увидел у стога множество следов косуль, зайцев, изюбров. Пора вывезти сено, а то совсем съедят, подумал он. Обнаружив, что дверца избушки почти до середины завалена снегом, Бестужев разгреб его концом доски, снял наружный засов и вошел внутрь. Дрова, заготовленные с осени, на месте. Котелок, кружка, кулек соли на столе – все так, как оставил в последний раз. Растопив печурку, он набрал в котелок снега и поставил его на огонь.

В Чите и Петровском Заводе декабристы всегда отмечали этот день, зажигая пять свечей в память повешенных соратников. С годами свечей становилось все больше – погибли Сухинов, брат Александр, Одоевский. В сороковых годах умерли Никита Муравьев, Лунин, Якубович, братья Петр и Павел... В пятидесятых – Панов, Торсон, Фонвизин, брат Николай... Досчитав до семидесяти, Бестужев сбился и вздохнул – на всех не хватит...

– Зажгу четыре свечи своим братьям, – запалив лучину, он поднес ее к свечам. – Это тебе, Саша, ты погиб первым. Это – Павлу, Петру... А это тебе, Николай. Ну вот, братья, мы и вместе. Хочу поговорить с вами...

То ли от движения руки, то ли от сквозняка языки пламени шевельнулись, словно кивая в знак согласия.

– Дорогие мои, так хотелось бы сказать вам – здравствуйте! Но вас уж нет на этом свете...

## **АЛЕКСАНДР**

Михаил долго, пристально смотрел на пламя первой свечи.

Последний раз он видел Александра в Иркутске. Осенью 1827-го Сашу везли в Якутск,

а его с братом Николаем – в Читу. Губернатор Цейдлер разрешил встречу, и они втроем провели целую ночь. Мишель подарил Саше «Parnasso italiano», а тот – библию, единственное, что у него нашлось для подарка. Наутро разъехались. Прощаясь, они верили в новую встречу, однако тот поцелуй оказался последним в этом мире.

Но сегодня, в годовщину восстания, Бестужев вспомнил, как ровно тридцать один год назад, рано утром, когда еще было темно, Саша явился к нему на полковую квартиру и сказал, что Якубович отказался вывести моряков Гвардейского экипажа. Услышав это, Мишель оцепенел – рушился не только план захвата Зимнего дворца, но и весь первоначальный план восстания. Московский полк должен был лишь присоединиться, поддержать выход моряков. Мишеля вдруг охватила решимость вывести москвичей, Саша заколебался, предложил подождать, пока Рылеев не поднимет другие полки.

– Нет! – воскликнул Мишель. – Промедление погубит дело! Надо вести полк до присяги...

Вспоминая это позже, он ясно понял, что именно тот момент стал решающим и определил все дальнейшие события. После присяги полк вряд ли удалось бы поднять. И тогда не было бы восстания!

Письма Саши из Якутска доходили не всегда, и братья плохо представляли его жизнь там. Через два года его перевели на Кавказ, и тогда, несмотря на увеличившееся расстояние, переписка наладилась. Кроме того, Михаил и Николай получали журналы с рассказами и повестями брата, которые он подписывал псевдонимом Марлинский. Далеко не все, вышедшее из-под его пера, нравилось братьям. Саша, чувствуя это, как-то признался, что писать приходится вечерами при свете костров или луны, несмотря на смертельную усталость после боев и переходов по горным тропам...

Когда письмо брата Павла о смерти Саши пришло в Петровский Завод, декабристов потрясло это известие.

Совсем недавно они узнали о гибели Пушкина, и нот – новая трагедия. Михаил, никогда в жизни не плакавший, рыдал несколько дней, как ребенок. В конверт была вложена последняя записка Саши Павлу, написанная на клочке бумаги:

*«Обнимаю тебя, любезный брат; если не приведет бог свидеться, будь счастлив! Ты знаешь, что я тебя любил много. Впрочем, это не эпитафия – я не думаю и не надеюсь умереть скоро, но все-таки, на всякий случай, лучше проститься. Не худо сделаешь, если удержишь письмо к матушке до следующего известия, чтоб не дать ей напрасного беспокойства.*

*Каково идет и ведет тебя служба? Поклонись Ростовцеву и всем, кто меня помнит не лихом. Писать ей-ей некогда: извини меня перед алчущей братией журналов. Santè et prosperità – твой друг и брат Александр Бестужев».*

Мишеля поразил бодрый дух и тон записки, которую никак не хотелось назвать предсмертной. «Это не эпитафия – я не думаю и не надеюсь умереть скоро... Здравие и процветание!» – с надеждой твердил он.

Как утопающий за соломинку, ухватился он за слух о том, что Александр не погиб, а оказался в плену. Вспомнив рассказ Саши «Он был убит», Михаил перечитал его и нашел в нем не предсказание смерти в бою, а решение изменить судьбу.

«Кто мне даст голубиные крылья слетать на темя Кавказа и там отдохнуть душою? Не знаю сам, отчего к ним жадно стремятся мои взоры, по ним грустит сердце. Не там ли настоящее место человека?» – писал Саша.

Может, он смертельно устал от «войнобеспя», в котором его упрекал брат Николай? Он мог устыдиться того, что в рядах регулярных войск сражается против горцев, берет штурмом аулы, когда под ядрами и пулями гибнут не только воины, но и их дети, жены, матери, старики. Саша ведь любил гордый, свободолюбивый характер кавказцев, хорошо зная их жизнь, изображал ее в своих повестях. Раненого, его могли увести по горным тропам в глухое селение. А выздоровев, он не захотел возвращаться...

Измученное болью утраты воображение рисовало, как Саша женился на горянке, стал

советником если не при Шамиле, то при другом военачальнике. Впрочем, для этого надо было бы принять ислам, а мог ли он изменить православие и присяге? Но вдруг произошло что-то недоступное пониманию Михаила и все случилось примерно так?

Когда сестры приехали в Сибирь, они привезли письмо баронессы Марии Воде со стихами в честь Александра «К домику в 14-й линии». Адрес вызвал недоумение, ведь Вестужевы жили на 7-й. Может быть, это было место тайных встреч Саши с баронессой? Кто знает...

Перед безмолвными стенами  
В раздумье грустном я хожу  
И животворными мечтами  
Воспоминание бужу.  
Я в них ищу с душою страстной,  
Бестужев! образ твой прекрасный...  
Увы! Под небом беспощадным,  
В стране далекой, безотрадной  
Умолк волшебной лиры глас,  
Среди страданий и мучений  
Угас навеки дивный гений.  
Но... кто же видел, что угас?..  
Ты, может быть, еще живешь,  
Быть может, сторону чужую  
Своим отечеством зовешь?..  
Вовеки жив твой чудный гений,  
Он жив в листках твоих творений,  
Жив навсегда во всех сердцах...

Баронесса Бода написала это в начале сороковых годов. Какой же сильной оказалась ее любовь, если она сочинила стихи много лет спустя после смерти, нет, после исчезновения Александра! А вдруг он в самом деле жив? Живет в одном из аулов и пишет стихи, повести, романы. И может, через сто-двести лет в каком-нибудь тайнике среди скал обнаружатся его рукописи, созданные за долгие годы жизни среди горцев. И тогда он вернет долг «алчущей братии журналов».

Порыв ветра пробился сквозь щель в оконце, и первая свеча погасла. Оттого, что ближе к окну, подумал Бестужев и снова зажег ее. Но через некоторое время она опять погасла. Отчего это? Не знак ли божий? Неужто все-таки жив?

Михаил поднял кружку:

– Если ты жив, Саша, – *saute et prosperity!* А если нет, то... Впрочем, пью за здравие и процветание!

## ПЕТР

– Теперь, Петруша, к тебе мое слово. Участь твоя самая печальная, тебя убили не пулей...

Бестужев прикрыл глаза, и вдруг в завывании ветра за окном, потрескивании дров в нечурке почудились детские голоса, журчание Малой Невки у Крестовского острова, где у Бестужевых была дача.

День солнечный, яркий. Разбойники Ринальдо Ринальдини, роль которого взял на себя Саша, удирают на лодке от погони. Под мостом она наскочила на подводную сваю и начала заполняться водой.

– Ринальдо! Пробоина в борту! – крикнул Мишель. Отважные «разбойники» в испуге

завопили: «Тонем!

А-а-а!» Громче всех кричал шестилетний Петруша. На берегу бегала Елена с маленьким Павликом на руках: «Спасите! Помогите!» Ринальдо заткнул дыру курткой, схватил Петрушу: «Перестань кричать, не то брошу в воду!» Тот сразу умолк. Потом Саша с Мишелем взялись за весла и кое-как сумели причалить к берегу.

В другой раз, спасаясь от «испанских жандармов», Мишель прыгнул с берега на плот, поскользнулся и, разбив голову, лишился чувств. Очнувшись, он услышал шепот Петруши: «Бедный Мишель! Вдруг умрет». – «Он проживет дольше всех нас!» – уверенно сказал Саша. Слова оказались пророческими. И вот братья давно уж канули в Лету, а Михаил сидит в таежной заимке и слышит их детские голоса. И так горько, невыносимо тяжело сделалось от этого, что он застонал...

Петр был всего на три года моложе Михаила. И если к старшим братьям – Николаю и Александру относился с огромным почтением, то к Мишелю, почти ровеснику, у него подобного чувства в детстве не было. Не очень общительный, сдержанный характер создал Петру славу надменного гордеца, хотя в сущности он был отзывчивым, добрым малым.

Служба его начиналась блистательно. В августе 1824 года мичман Петр Бестужев сопровождал Александра I во время поездки в Кронштадт и Рамбов. С гордостью Петр писал матери, что был всюду от государя в нескольких шагах. «Что же касается до князей великих, то они так часто (особенно Николай) посещают Кронштадт, что мы встречаем их запросто, как давно знакомых частных людей».

Накануне восстания старшие братья отправили Петра в Кронштадт, но, к удивлению, он вернулся оттуда, упросив Михаила не говорить другим братьям, что он здесь. А наутро Петр, добровольно став связным, как челнок, сновал между казармами Московского полка и Гвардейского экипажа. Когда Александр и Михаил Бестужевы вывели солдат к Сенату, Петр прибыл туда и выполнил просьбу Михаила – вернуться в экипаж и сообщить брату Николаю о начале восстания. И тому удалось вывести моряков.

«Всему виной Бестужевы», – говорили в Петербурге после восстания. И слова эти были близки к истине.

Петра сослали на Кавказ. В 1829 году, когда их полк стоял в Ахалцихе, город окружило многотысячное войско турок. Двенадцать дней шел штурм крепости, но огромная орда не могла одолеть горстку русских солдат, которые, дождавшись помощи, уничтожили врага. Сразу после этого Петр написал братьям в Забайкалье.

*«Около двух лет постоянно шумят надо мною знамена Марса... Кровавым потом и грудью заслужил я первые галуны – радугу после потопа... Ожесточенные не знают пощады; назад возвращались мы по трупам убитых. До тысячи насчитали их! Военное ремесло портит человека. Кровь вражеская смывает с него оболочку сострадания и заливает в душе знамя божественной чувствительности...»*

*Брат Николай!.. Ты заменял мне отца, развил мои способности, образовал ум и вкус... И твое имя, твой образ, чистый и возвышенный, глубоко врезаны в сердце, безусловно тебе преданное.*

*Мишель... Мои ошибки и упорство характера мешали сближению нашему... хотя в сердцах и тлел огонек истинной любви. Теперь все изменилось: грубый толчок судьбы двинул нас навстречу... и узел дружбы был снова завязан при отдаленном перекате грома. В теплых молитвах оглашал я пустынный воздух и живописные окрестности именами вашими...»*

В письмах Петра отчетливо чувствовалось, как мужает его характер, набирает силу и его собственный стиль, яркий, образный, дух которого вместе с тем оставался неуловимо бестужевским.

Именно от Петра братья Бестужевы и другие декабристы в Сибири узнали о гибели Грибоедова: «Общий друг и благодетель наш... А. С. Грибоедов предательски зарезан в Тегеране со всею миссиею. Невольно содрогаешься при сей страшной мысли!»

Как и все братья Бестужевы, Петр обожал Грибоедова. Еще в Петербурге он старался

не пропустить ни одного чтения «Горя от ума», пьесу потом переписал и выучил наизусть. Едва Петр оказался в Тифлисе, Грибоедов, невзирая на опасность связи с гонимыми, старался тайно и явно помочь и ему, и Павлу, которого тоже сослали на Кавказ.

Не боясь навлечь немилость государя, он дерзнул обратиться к нему с просьбой о переводе Александра Бестужева из Якутска на Кавказ. И, как ни странно, злопамятный властелин, бледневший при одном упоминании мятежников, каким-то чудом согласился на это.

Так Александр, Петр и Павел Бестужевы встретились в Тифлисе. Однако радость совместной службы была недолгой – вскоре Александра неожиданно арестовали по ложному доносу и больного, полураздетого отправили зимой в Дербент, а Петра – в крепость Бурную.

Правая рука Петра, болевшая после ранения в Ахалцихе, мучила его. Но по приказу ротного командира Савенко Петра заставляли каждодневно, в любую погоду, по несколько часов кряду маршировать, проделывать ружейные приемы. Больные пальцы не держали приклада, тяжелое ружье не слушалось Петра, и тогда фельдфебель обрушивался на него с отборной бранью, а порой и с кулаками. Физические и нравственные истязания довели Петра до умоисступления. Ему стало казаться, что все его ненавидят, желают зла. Ночами стало мерещиться, будто кто-то крадется к нему, чтобы задушить.

Потом ему стало легче, и он написал Александру, что исцелился от нравственной желтухи, припадки случаются реже и «приняли характер тихой меланхолии». Однако в 1832 году Петр сломился окончательно. Подозрительность довела его до того, что он перестал не только спать, но и есть, боясь быть отравленным.

Александр сразу же попытался перевести его в Дербент, матушка стала хлопотать об отставке, однако ни того, ни другого добиться не удалось. Петра списали со службы, когда дело зашло слишком далеко. Он поселился в родном имении в Сольцах, но ни полный покой, ни нежнейшая забота близких не могли поправить здоровья. С годами приступы буйства становились все опаснее, принося родным невыносимые страдания. Приехав в Селенгинск, сестра Елена рассказала, как ночами Петр изображал сцены допросов в Петропавловской крепости, атаки на Кавказе, то, как его мучил фельдфебель. А однажды, испугавшись неожиданного обыска, начал жечь свои бумаги – и те, что написал в здравии, и начертанные в безумии: какие-то особые знаки, иероглифы, изобретенные им. Запершись изнутри, он развел костер прямо посреди комнаты на ковре и чуть было не сжег весь дом. После этого его поместили в Больницу всех скорбящих, где он почти сразу же умер всего тридцати семи лет от роду...

– Петруша! Прости за неласковость в отроческие годы. Спасибо за теплые строки в письмах, за молитвы, в которых ты называл мое имя...

Михаил подошел к печурке, подбросил дров и долго смотрел на пламя, слушая тоскливую панихиду ветра по Петру, потом вернулся к столу.

## ПАВЕЛ

Бестужев продолжал печальную тризну...

– Ты был самым младшим из нас, и потому тебя, единственного из всех, мы не вовлекли в восстание, чтобы хоть один мужчина остался в доме и был опорой семье...

Тогда семнадцатилетний Павел заканчивал Артиллерийское училище. 15 декабря 1825 года великий князь Михаил прибыл к будущим артиллеристам и, совершая парадный обход, увидел Павла.

– Для меня ты не брат бунтовщиков. Я тебя знаю как хорошего офицера и попытаюсь забыть, что ты называешься Бестужевым, – обнял и поцеловал его. Но это было лобызание Иуды. Великий князь изыскивал повод избавиться от него. И он нашелся.

В день коронации Николая I на иллюминированном Невском проспекте в толпе слышались едкие эпиграммы, поднялся смех, шум. Кто-то донес, будто зачинщиком был Павел Бестужев. Строжайшее следствие не доказало его вины, но тень подозрения все же



пала. Через несколько месяцев великий князь снова прибыл в училище и, проходя по дортуару, увидел на столике меж кроватей «Полярную звезду», раскрытую на рылеевской «Исповеди Наливайко». И хотя выяснилось, что книга принадлежит не Павлу, великий князь потребовал от него признать вину.

– Ваше высочество! – вспыхнул Павел. – Я сознаюсь. Я кругом виноват и должен быть наказан, потому что я брат Бестужевых!

Эти слова, а главное – дерзкий бестужевский взгляд были хорошо знакомы великому князю. «До чего же похожи все они!» – подумал он. И Павла выслали на Кавказ.

Тропическая лихорадка, болезни желудка и печени преследовали его во время персидской и турецкой кампаний, однако воевал он достойно. Однажды враги окружили артиллеристов и хотели захватить пушку. Град пуль обрушился на русских. Прислуга дрогнула, попряталась в укрытии. Тогда Павел взял в руки пальник и сам начал стрелять в набегающих врагов. И как только отбил атаку, отхлестал этим же пальником своих струсивших солдат.

Склонность к изобретательству у него была столь же яркой, как у старшего брата Николая. Он сконструировал орудийный диоптр, который ввели во всей русской артиллерии под названием бестужевского прицела. Павел надеялся, что командование по достоинству оценит его изобретение денежным вознаграждением. Однако его представили лишь к Анненскому кресту, даже не повысив в звании.

Дальнейшая служба Павла протекала уныло, однообразно. Он стал вял, апатичен, не проявлял усердия ни в чем. Он то и дело обращался за помощью к матери и Александру, прося довольно большие суммы. И делал это даже тогда, когда, выйдя в отставку, жил в Петербурге.

Хоть судьба не баловала его с детства, он все же привык к особому вниманию старших, требовал его и в возрасте, когда пора становиться самостоятельным и помогать семье. За год до гибели брат Александр написал ему, что дает в долг две тысячи рублей с выплатой постепенно в четыре года, но с процентами по четыре рубля на сотню в год, чтобы приучить его «к английскому порядку».

*«Эти деньги назначены всему семейству, – писал Александр. – А вы все мне кровные и равно дороги. Страдания Николая и Михаила должны быть чем-нибудь улажены по выпуске, и с будущего 37-го года я стану откладывать им назначенную тысячу на обзаведение. Что будет вперед, не знаю – силы изменяют. Видимо, пора подумать разделить, не обижая никого, все, что я имею. Пора подумать и тебе, Польш, обеспечить себя, поправить свое состояние трудами или семейными связями. Жить день за днем... без цели для себя, без пользы для других – несообразность с твоими дарованиями. Без труда и занятий сами гении остались бы остряками – не более... Человек с волею все может, без воли – не в состоянии и хотеть».*

Это письмо задело Павла за живое. Он было взялся за перо. Стремление к беллетристике проявилось в письмах братьям в Сибирь. Но вместо того чтобы рассказывать о родных и знакомых, Павел принимался за описание белой ночи и прекрасной Невы. Витиеватые строки ничуть не передавали картин города, полного жизни и движения, радостных и грустных воспоминаний. Когда же Павел писал просто, письма оказывались более яркими. Таким было письмо о смерти Пушкина.

*«...Мы вчера похоронили Александра Пушкина. Он дрался на дуэли и умер от раны.*

*Некто г-н Дантес, француз, экс-паж герцогини Берийской, облагодетельствованный нашим правительством, служащий в кавалергардах, был принят везде с русским радушием и за нашу хлеб-соль и гостеприимство заплатил убийством. Надобно быть бездушным французом, чтобы поднять святотатственную руку на неприкосновенную жизнь поэта... жизнь, принадлежавшую целому народу...*

*Жена его более ветрена, чем преступна; но если в обществе, где мы живем, ветренность замужней женщины может сделаться преступлением, то она виновата, и тем более, что она знала характер своего мужа, это был пороховой погреб. Пушкин сделал*

*ошибку женившись, потому что остался в омуте большого света...»*

Пушкин был дорог Бестужевым не только как поэт, но и как друг брата Александра. В одном из писем к нему Пушкин просил обнять «брата и братью»...

Некоторое время Павел служил в Главном управлении военно-учебных заведений и даже редактировал журнал для их воспитанников. По мнению братьев, он вполне мог бы стать неплохим литератором, однако, несмотря на уговоры, всерьез братья за перо не хотел. Мешали ему и робость перед литературной славой старших братьев, и отвращение к тем, кто процветал в ту пору на литературной ниве. «Все они, – писал он, – эти друзья: Булгарин, Сенковский, Греч и много им подобных – просто негодяи; они приятны в обществе и терпимы по голове, а не по сердцу. Вся наша литературная братия никуда не годится: ссоры, подлости, личности, бессовестность и бездушие...»

С женитьбой у Павла не ладилось. Прослышав об этом, мачеха Одоевского, жившая во Владимирской губернии, взялась за роль свахи и нашла единственную наследницу довольно богатого поместья. Сватовство оказалось удачным, а вот женитьба – не очень. Судя по всему, жена Павла была недоброй женщиной и дурно повлияла на него, заставив предъявить претензии на долю дохода от имения в Сольцах.

Николай и Михаил упрекнули его и, когда Павел написал, что требует от сестер лишь положенную ему долю, ответили, что незадолго до восстания они обязались уступить свои части в пользу сестер.

*«Может быть, ты не слышал о таком нашем соглашении, – писал Николай, – потому что наша катастрофа застала тебя слишком молодым, а сестры из деликатности не хотели сказать тебе об этом, но если свидетельство двух живых братьев сколько-нибудь имеет весу, то я и Мишель уверяем тебя своей совестью, что оно было. Если они отдадут тебе твоих крестьян, у них не останется ни способа жить, ни средства помочь своему положению... Ты у них в большом долгу. Елена была твоей воспитательницей, Мария и Ольга помогли ей в этом.*

*Честность и благородство не изменяли ни одному из членов нашего семейства, которое было примером чежду всеми родными наших несчастливых товарищей, и даже вне этого круга. Теперь ты – представитель этого семейства».*

Михаил приписал несколько строк: *«Ни время, ни обстоятельства не могли переменить нашего искреннего желания касательно намерения, принятого в канун рокового дня; не смею думать, чтоб это желание не было всегда твоим...»*

Увещевания старших братьев возымели действие. Павел перестал домогаться своей доли у сестер. Уйдя в хозяйство, он то ли от занятости, то ли от неловкости перед братьями почти не писал им. Здоровье, подточенное на Кавказе, разрушалось, и после смерти годовалого сына Павел заболел сам и вскоре умер. И было ему только тридцать восемь лет.

– Эх, Павел, Павел! Ты, как цветок, не успевший расцвести. И хоть ты не участвовал в восстании, тебя унес тот же водоворот четырнадцатого декабря...

## НИКОЛАЙ

Последняя свеча, сгоревшая наполовину, светила ярче других.

– Дорогой Николай! Повторяя слова Петра, говорю, что ты заменил нам отца, образовал наш ум и вкус. От имени всех братьев спасибо за все, что ты сделал для нас...

Окидывая мысленным взором жизнь Николая, Михаил увидел в дымке бескрайнего моря воспоминаний белоснежные паруса учебного фрегата. Выйдя из Кронштадта, «Проворный» бросал якорь то вдали от берега в открытом море, то в Свеаборге, то в других местах, неподалеку от Кронштадта. Погода стояла на диво.

Облака почти не закрывали солнце, которое лишь ненадолго заходило за горизонт, – стояли белые ночи.

Десятки гардемарин носились по кораблю, лазали по мачтам, выполняя различные задания, а в это время по палубе прохаживалась красивая женщина в белом платье и

широкopолой шляпе. Мишель не сразу узнал Любовь Ивановну, знакомую сестер Бестужевых по Смольному институту. Несколько лет назад она вышла замуж за пожилого флотского офицера Степового. Спокойный, ровный характером, Михаил Гаврилович относился к молодой жене по-отечески заботливо. Детей у них не было, и чтобы как-то развеять ее от скуки, муж решил устроить ей морскую прогулку. Так она оказалась на борту корабля, на котором Николай Бестужев вышел в море со своими воспитанниками.

На гардемаринoв, лазающих по снастям, Любовь Ивановна не обращала внимания. Это почему-то задевало Мишеля. Однажды он встал на верхней рее грот-мачты и, издав крик, начал балансировать, с трудом удерживая равновесие. Она подняла голову и тут же испуганно поднесла ладони к щекам. Продолжая игру, Мишель пробежал по рее и, едва не упав, крепко обхватил мачту. Степовая пошла к рубке и стала говорить кому-то, показывая вверх. Из рубки вышли капитан корабля и... Николай. Глянув на мачту, брат велел Мишелю немедленно спуститься. Когда тот подошел к ним, Николай строго отчитал его за браваду и отправил под арест.

– Вы слишком строги, – сказала она.

– Иначе нельзя, ведь это мой брат.

– Мишель?! Как вырос! Я даже не узнала его.

О чем шла речь дальше, он не знал, так как спустился по трапу. Сидя взаперти, Мишель услышал вечером чьи-то шаги на палубе. Держась за решетку руками и подтянувшись, он увидел брата со Степовой, остановившихся рядом, и тут же опустилcя. Николай забыл, что находится у каюты арестанта, и Мишель невольно услышал их разговор.

– Любовь основана на эгоизме взаимных наслаждений, – в голосе Николая слышалась улыбка, – а дружба – на бескорыстии взаимных пожертвований.

– Можно ли противопоставлять любовь и дружбу?

– Любовь есть тело, а дружба – дух.

– А разве не бывает душевной или одухотворенной любви?

– Только между родителями и детьми, братьями и сестрами или между учителем и учеником.

– А между супругами?

– Лишь как исключение из правил.

– А у нас с мужем не только любовь, но и дружба.

– Видите ли... – Николай замялся.

– Пожалуйста, говорите откровенно.

– Как бы это сказать? Любовь есть угар головы от сердца, у вас же этого, извините, не чувствуется.

– Вы хотите сказать, что я не люблю мужа?

– Более того, вы пока и не знали настоящей любви.

– Отчего вы так думаете?

– Отвечу вопросом на вопрос: вы совершали ради кого-нибудь безумные поступки?

– Разве я похожа на женщину, способную на это?

– В том-то и дело, что нет, потому и говорю, что вы еще не знали настоящей любви, ведь верное мерило ее – степень глупостей, которые влюбленные совершают друг ради друга...

Разговор утих. Корабль, стоящий на якоре, медленно покачивался на волнах. Слышны были крики чаек, плеск воды о борт.

– Простите, я обидел вас?

– Что вы! Наоборот, спасибо за откровенность. – И вдруг в ее голосе зазвучали лукавые нотки: – Можно задать тот же вопрос: а вы совершали глупости?

– Женщина – море: не пробуй – оно горько, не узнавай – оно коварно, не вверяйся – попадешь в бурю.

Тут Мишель услышал ее смех, удивительно мягкий, j душевный.

– Но вас эта сентенция не касается, – сказал Николай. – Море бывает и таким, как

сейчас, – ласковым, добрым.

– Да, закат дивный. Смотрите, как полыхают облака!

– И не угаснут совсем – закат сольется с восходом... Больше Мишель не видел их вместе. Но по тому, как они нарочито не замечали друг друга, он понял: между ними произошло нечто такое, чего не следует знать другим. Однако скрыть любви не удалось. Муж, как водится, узнал последним, но, удивительно, препятствовать влюбленным не стал, отказав лишь в расторжении брака.

Свою любовь Николай, как святыню, пронес через все испытания. После ареста он не назвал имя Стеновой, когда колода карт, посланная ею из Кронштадта, вызвала подозрение Следственного комитета. На каторге он сделал по памяти ее портрет на слоновой кости, изобразив ее в кружевной шляпе со множеством лепестков и пышном жабо из кружев, которые он привез из Голландии и подарил ей.

В записной книжке Николая, которую Михаил перелистал после его смерти, он прочитал: «Моя любовь – кольцо, а у кольца нет конца». В 1843 году на каторгу вдруг пришло письмо от старшей дочери Степовой Елизаветы. Николай тут же ответил, что хорошо помнит ее и маму, продолжает любить все семейство Степовых и лишь одного не может себе представить, как маленькая пухлощекая Лиза сделалась взрослой девицей. Однако неожиданно вспыхнувшая переписка прервалась. Воспрепятствовало, видимо, неудовольствие отца или нежелание матери беречь давние душевные раны, а может быть, и обыкновенная осторожность. Сестры, приехав в Селенгинск, сообщили, что муж Любови Ивановны умер. Но кольцо любви, подточенное временем и расстоянием, с годами все же потускнело...

«Я сделал все, чтобы меня расстреляли, – писал Николай в одном неотправленном письме, – я не рассчитывал на выигрыш жизни и не знаю, что с ним делать... Но если жить – действовать. И потому я обвиваю колечки, стучу молотком, машу кистью, пилю, строгаю, бросаю лопатой землю. Часто пот льет с меня градом, часто утомляюсь до того, что не в силах пошевелить перстом, а со всем этим каждый удар маятника, каждый миг времени падает на меня, как капля холодной воды на голову безумного, и тут присоединяются щелчки по бедному больному сердцу».

То, что делал Николай на каторге и поселении, поражало всех. Еще в Чите, когда декабристы жили в невероятной тесноте, он с помощью ножичка и подпилка соорудил токарный станочек, нарезал из обрезков латуни, собранных в мусоре, зубчатые колеса, шестерни, затем сделал хронометр, гораздо точнее тех, которыми пользовались на флоте.

Решив запечатлеть соузников, он создал целую галерею портретов – нарисовал и тех, кто был с ним на каторге, и их жен. Николай писал и литературные произведения, но потом оставил это: «Все равно не напечатают». При жизни Николай увидел лишь написанные до восстания «Записки о Голландии», «Плавание фрегата „Проворного“» и несколько статей и заметок. Очерк «Гусиное озеро» опубликовали в «Вестнике Естественных Наук» без подписи. А рассказы и повести, написанные в каземате, частью погибли, а часть отосланы в Россию, но целы ли они, неизвестно.

Сколько произведений написал бы Николай, если бы не каторга и ссылка. Недаром Карамзин называл его единственным, кто мог бы продолжить «Письма русского путешественника». Великий князь Михаил заявил адъютантам после первого допроса: «Слава богу, что я с ним не познакомился третьего дня, он, пожалуй, втянул бы и меня...» А царь, выразив притворное удивление, что Николай Бестужев оказался среди заговорщиков, сказал:

– Вы знаете, что все в моих руках. И если бы я мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, готов простить вас.

– Ваше величество, – ответил Николай, – в том-то и несчастье, что вы все можете, что вы – выше закона, а я желал, чтобы жребий ваших подданных зависел впредь от закона, а не от вашей милости!

Приехав после каторги в Селенгинск, Бестужевы сначала жили у купца Старцева, а

потом купили в стороне от городка дом с амбаром, завозней,<sup>2</sup> стайками для коров и овец, построили кузницу, столярную, слесарную мастерские, обсерваторию. Им помогали буряты Анай и Эрдыней Унгановы, жившие в юртах по соседству. Пасли скот, плотничали, столярничали. Дочь Эрдынея, красивая стройная девушка семнадцати лет, тоже стала помогать Бестужевым. Дел для женских рук хватало – стряпанье, стирка, уборка в доме.

Однажды Николай, вернувшись с охоты, преподнес ей букет таежных лилий и саранок. Она зарделась, прижала цветы к груди, убежала на берег Селенги, вскоре оттуда донеслась удивительно нежная песня. Не надо было знать бурятского языка, чтобы догадаться, о чем в ней поется. Душа стала своим человеком в доме Николая, они проводили вместе долгие зимние вечера.

Когда родился мальчик, Николай договорился со своим другом купцом Старцевым, чтобы тот усыновил его и дал ему свою фамилию. Сына назвали Алексеем. Год спустя родилась дочь Катя, которая тоже стала Старцевой. Николай очень любил своих детей, учил их грамоте, рисованию, французскому языку. Они были удивительно милы – большеглазые, смышленные, озорные.

Ни брат, ни Михаил не писали о них домой. Письма читались в Третьем отделении – тень отца, государственного преступника, могла пересечь судьбы детей. Мать Бестужевых умерла, так и не узнав о внуках. В 1847 году сестры наконец добились разрешения выехать к братьям. Дорога сложилась удачно, они приехали раньше, чем их ожидали. Когда поздним вечером подъехали тарантасы, Николай и Михаил подумали, что к ним прибыли гости из Кяхты. Но какова была радость, когда увидели, что это сестры. Объятия, слезы. Бедные, как постарели за двадцать лет разлуки – полуседые, почти старушки. Подошли из юрт Эрдыней с Анаем. Непоседливая Катюша утихла. Душа придерживает ее за плечи и плачет. Более спокойный Алеша стоит в воротах, потом начинает помогать кучерам разгружать вещи.

За ужином Катюша по привычке забралась на колени Николая. Сестры с удивлением глянули на нее, потом на Алешу, их мать и все поняли. Могли ли они подумать, что их брат – дворянин, морской офицер, историограф, писатель, художник – женится на инородке?

В октябре 1852 года случилось горе. Селенга еще не стала, но припаи льда уже выросли у берега. Душа пошла по воду, лед под ней обломился, и быстрая студеноя вода поглотила ее. Тяжело пережили ее гибель и Николай, и дети, и сестры, которые полюбили ее. К тому времени Алеша и Катя уехали в кяхтинскую гимназию. Гибель жены, отъезд детей угнетали Николая. Михаил и сестры уговорили его отправиться в Иркутск. Он прожил там декабрь и январь, бывал у Волконских, Трубецких, навещал Персиных, Трапезниковых, написал много портретов.

Тепло принимали его в доме начальника штаба войск генерала Кукеля. В дружной семье Болеслава Казимировича говорили на русском, французском, польском языках, а его жена – урожденная Клейменова – по матери была грузинкой, неплохо знала и грузинский язык.

Одно время у них жила Луиза Антуан. Элегантная, средних лет гувернантка учила детей французскому и музыке. Когда ее воспитанники подросли, она уехала из Иркутска. Познакомившись с ней, Николай не мог скрыть симпатии к этой милой женщине. Они подружились, и Луиза приезжала в Селенгинск. Вспомнив все это, он решил написать письмо. Сообщив о переменах в своей жизни, он пригласил ее в Селенгинск, где все ее помнят и рады будут увидеть вновь.

Отправив письмо, Николай с грустью думал, до чего наивно это приглашение – по сути, предложение. Конечно, ей будет приятно получить теплые строки, но вдруг она вышла замуж...

Приехав домой, Николай взялся за конструирование ружейного замка.

Ярким мартовским утром он испытывал ружье, сделанное своими руками от приклада

---

<sup>2</sup> Сарай для телег и саней.

до мушки. Стреляя разными зарядами, радовался, что пули бьют точно в цель, а замок ни разу не дал осечки. После очередного выстрела иссеченный, как решето, щит на пригорке рухнул. Он поднялся, чтобы пойти к мишени, и услышал сзади хруст подтаявшего льда на тропе. Оглянувшись, увидел женщину в нарядной шубе и собольей шапочке, но не узнал – солнце било в глаза. Николай почему-то дунул в еще дымящийся ствол, застегнул распахнутый полушубок. Дама улыбнулась, вынула руку из меховой муфты и махнула ему. Только тут он узнал Луизу Антуан, прямо с ружьем бросился к ней и на радостях невольно обнял ее.

– C'est vous! Je ne erois pas mes yeux!

– Je vois que vous ne m'attendiez pas.

– Par contre, vous voyez. quels feux d'artifice en l'honneur de votre arrivee!

– Vous etes un vrai mousquetaire qui, tout entier, sent la poudre!<sup>3</sup>

Они засмеялись и пошли к дому. Разгоряченный удачной стрельбой, обрадованный неожиданным приездом Луизы, Николай выглядел молодым человеком – высокий, стройный, легкий.

В тот же день к Бестужевым приехали казачий есаул Николай Селиванов с сестрой Машей, к которой сватался Михаил. Засуетились сестры, готовясь к приему гостей. Маша и Луиза Антуан, несмотря на возражения хозяек, помогали им в хлопотах – возились у печи, накрывали на стол.

Обед прошел очень мило. Узнав, что Луиза играет, сестры попросили ее к фортепиано. Без всякого жеманства она согласилась, шепнула что-то Маше Селивановой, та смущенно улыбнулась и после некоторого колебания кивнула, подошла к инструменту. Удивительно быстро они сошлись. Луиза не очень хорошо говорила по-русски, а Маша не знала французского, но взаимопонимание нашли полное. И концерт, вот уж поистине импровизированный, получился на диво.

Не пробуждай воспоминаний  
Минувших дней, минувших дней...

Голос у Маши не сильный, но очень душевный, мягкий. Она конечно же волновалась, и это только красило ее. Не зная слов, Луиза лишь подпевала мелодию второго голоса, но все получалось чудесно. Слушая их, Михаил удивлялся и пению Маши, и неожиданному согласию дуэта, будто они не раз вместе музицировали. Впрочем, женщин сблизило положение – обе в гостях, обе нравятся братьям. Михаил уже сделал предложение, Николай близок к этому. Кто знает, вдруг станут свояченицами?

Словно прочитав мысли брата, Николаи глянул на него, глаза их встретились. В другой раз Николай наверняка ободрил бы его взглядом или шуткой, но тут – случай не из тех. Слишком серьезно все.

Потом сестра Елена попросила исполнить «Красный сарафан». Едва зазвучала мелодия, к горлу Михаила подступил ком. Вспомнился Петербург, дом на Васильевском острове, куда однажды пришли старый друг отца Бортнянский и еще никому не известный Саша Варламов. «Красный сарафан» и другие песни, романсы он написал гораздо позднее. Сестра Ольга пела с ним какой-то дуэт. Матушка прослезилась тогда от воспоминаний об отце и от счастья видеть всех детей вместе.

Бедная матушка давно лежит на Ваганьковском кладбище в Москве, а почти седая

---

<sup>3</sup> – Это вы! Глазам не верю!

– Я вижу, не ждали меня.

– Наоборот, видите, какой салют в честь вашего приезда!

– Ну просто мушкетер насквозь пропахли порохом (*фр.*)

Ольга повторяет слова песни, которую пела когда-то в молодости. Николай сидит, закусив губу. Елена и Мария тоже опустили головы, боясь не сдержать слез...

Вскоре Михаил женился на Маше Селивановой, а женитьба Николая не состоялась. Луиза Антуан, послав письмо в Париж, получила ответ, в котором родственники решительно высказались против замужества.

В конце 1854 года, в разгар Крымской войны, Николай поехал в Иркутск и рассказал генерал-губернатору о своем ружейном замке, который оказался гораздо лучше тех, что были на вооружении русской армии. Генерал-губернатор Муравьев тут же отправил замок в Петербург, возвращаясь из Иркутска, Николай уступил место в кибитке семейству Киренского. Этот бедный чиновник, у отца которого в Якутске жил Александр Бестужев, долго не мог найти подходящее место службы и лишь при содействии Николая получил должность городничего в Селенгинске. В апреле уа Байкале еще был лед, дул холодный, пронизывающий ветер, и Николай, сидя на облучке рядом с ямщиком, простыл.

Никогда в жизни серьезно не болев, он не придавал значения простуде, ут порвал врача. Даже после пасхи, когда дело приняло серьезный оборот, он отказался от лечения. Последние дни он провел в полубеспамятстве. Приходя в себя, он прежде всего спрашивал о Севастополе, но ничего утешительного не было. Михаилу казалось, что хорошие вести могли бы поддержать брата, и он совладал бы с болезнью, но... Русский флот и армия оказались в столь плачевном состоянии, что дела не могли поправить ни талант адмиралов, ни героизм матросов и солдат.

Николаю Бестужев умер 15 мая 1855 года. В течение всего лета и осени могила была завалена цветами, венками. Землю возле нее вытоптали – столько людей приезжало поклониться его праху из Кяхты, Верхнеудинска, Петровского Завода, Иркутска. Приехала и Луиза Антуан. Плача на могиле, она говорила Михаилу.

– Si j'étais avec lui, il serait vivant.

– Ne vous torturez pas, chere Louise, e'est un destin...<sup>4</sup>

Как ни странно, смерть Николая еще *больше* сблизил Антуан с Бестужевыми, она стала названной сестрой Михаила и его сестер. Многие годы она навещала их в Селенгинске, пускаясь в нелегкий путь за Байкал...

Пока Бестужев правил тризну по братьям, их свечи почти догорели. Он потушил огарки, зажег дюжину новых, подбросил в печурку дров. Молча глядя на огонь, он вдруг услышал выстрелы: один, второй, потом – залп. Встрепенувшись было, он вспомнил, что это лопаются лед от напора ключей в таежной речушке, впадающей в Селенгу, и усмехнулся. Сколько живет в Сибири и не привык к шуткам наледи. Услышав это впервые, он всерьез подумал, что кто-то стреляет. Сейчас же эта «перестрелка» показалась ему салютом в честь братьев и союзников.

– Дорогие сотоварищи! – тихо сказал он. – Все оставшиеся в живых отмечают эту роковую для нас и вместе с тем светлую дату. Да и сокрытые в могилах восстали из гробов и присутствуют меж нами, слышат нас... Тридцать один год назад мы вывели на площадь войска, чтобы с оружием в руках вырвать свободу. Однако попытка окончилась неудачей. Российский Пилат похоронил и запечатал нас, но истина, как Венера Медицейская, будет собрана из обломков и воскреснет перед потомками во всей красе и благородстве...

Закончив тризну, Бестужев потушил свечи, лег на широкие нары, укрылся курмушкой. В зимовье было тепло, лишь под утро придется подтопить печурку. Глядя на догорающие уголья, Бестужев начал думать, что его ждет в ближайшем будущем. На трон взошел Александр II. Столько надежд всколыхнулось с его воцарением, амнистией. Поговаривают даже об освобождении крестьян. Но Бестужев не спешил разделять общие восторги. Царь

---

<sup>4</sup> – Будь я с ним, он был бы сейчас жив.

– Не терзайте себя, дорогая Луиза, знать, не судьба... (*фр.*)

есть царь – плоть от плоти романовской! Перебирая имена царей, он вдруг усмехнулся совпадению их с именами братьев Бестужевых. Но нет, это не совпадение, а противостояние его семейства династии Романовых! Во все времена Бестужевы верно служили Отечеству, но очень часто представители их фамилии оказывались в оппозиции тому или иному царю. Может, потому у Бестужева не было иллюзий по поводу Александра II, хотя именно он вернул декабристам дворянское звание, разрешил возвратиться в Россию. Волконский, Трубецкой уже выехали из Иркутска, а Бестужев и хотел бы, да не может: Леле два годика, Коле – и того меньше. Куда с ними? На какие средства? И он вынужден делать тарантасы-сидейки, разводить скот, выращивать овощи, косить сено. Других средств к жизни нет и не предвидится...

## ВЫЗОВ В ИРКУТСК

Большой двор на склоне холма близ Селенги занесен снегом. Видны лишь верхушки столбов забора. Бестужев входит в мастерскую. Его помощник, старик Эрдыней, обтесывает деревянные брусья-оглобли. Бестужев берет длинную заготовку и начинает строгать острым топором. Движения размеренны, точны. Щепка аккуратно ложится правее бруса.

– Сколько сидеек сделали, – говорит Эрдыней, закуривая трубку, – и все пошли в ход! Встретил одного в Кяхте, спрашиваю, как? Шибко удобно, говорит, по горам и лесам ездить – узкие, легкие, да и пружинят, будто на рессорах...

Из-за ворот доносится звон бубенцов.

– Однако опять заказчик, – поднял трубку старик. Бестужев вонзил топор в чурку, приоткрыл дверь и, увидев офицера Клейменова, сказал, что это знакомый из Иркутска. Распахнув ворота, он пропустил лошадь с кошевкой во двор.

– Очень рад. Чем могу служить?

– Дело важное, – сказал Клейменов, заходя в дом. – Вам предложено возглавить сплав по Амуру. Он проводится подрядом с купцами, а адмиралом флотилии хотелось бы видеть вас.

– Адмиралом? – усмехнулся Бестужев. – А что за флотилия?

– Баржи, плоты, более сорока судов...

– Да, но... как я оставлю семью?

– Не беспокойтесь, часть денег дадут в задаток, а по окончательному счету – около трех тысяч.

Бестужев начал медленно выхаживать по комнате. С генерал-губернатором это явно обговорено, иначе не послали бы чиновника по особым поручениям. Но сможет ли он возглавить плавание? В это время сестра Бестужева – Елена Александровна внесла поднос с чашками, блюдцами, шанежками, а жена Мария Николаевна поставила на стол самовар.

– Продолжим разговор за чаем, – обратилась к гостю Елена Александровна, – на дворе мороз, путь не близкий, небось замерзли.

– Извините, но с кухни все слышно, – улыбнулась Мария, – и мы знаем, о чем речь.

– Так вот, Мишель, наше с Марией мнение, – наливая чай, сказала Елена, – надо ехать. Был штабс-капитаном – разжаловали. Так побудь адмиралом. Тряхни стариной...

В Иркутске Бестужев сразу же явился к генерал-губернатору. Дежурный офицер доложил о его прибытии, и Муравьев тотчас же пригласил Бестужева.

В кабинете сидели гражданский губернатор Восточной Сибири Венцель, губернатор Забайкалья Корсаков и чиновник по особым поручениям Буссе. Увидев Бестужева, Муравьев вышел навстречу.

– Очень рад вашему приезду, а так как сие означает согласие, рад вдвойне, – сказал он, пожимая Михаилу руку. Среднего роста, крепкий, подвижный, генерал-губернатор был в добром расположении духа, – Мы как раз обсуждаем предстоящую навигацию по Амуру. Вы



в прошлом моряк, Михаил Александрович, многие ваши однокашники по Морскому корпусу стали адмиралами. Уверен, и вы дослужились бы до этого звания, если бы... – он не договорил фразы, и так, мол, ясно. – Поэтому мы решили назначить вас адмиралом флотилии, а по завершении сплава отправитесь в Америку для покупки кораблей. – Видя крайнее изумление Бестужева, он добавил: – С ответом на последнее можно не спешить, но хотелось бы услышать о согласии – Сибирской флотилии нужны новые корабли.

Муравьев жестом пригласил к столу, но Бестужев сначала пожал руки офицерам. Узколицый, щупленький – эполеты, казалось, еле держались на плечах – Венцель глянул на Бестужева большими совиными глазами. Корсаков и Буссе, сидевшие через стол, молоды, на вид – не более тридцати. Бестужев давно знал Михаила Семеновича, а вот Буссе видел впервые. Рукопожатия их – не то, что у Венцеля, – крепкие, жесткие.

– Спасибо за добрые слова и доверие, – волнуясь, но хорошо владея собой, сказал Бестужев. Голос у него приятен, хотя и глуховат, с хрипотцой. – Однако нам нужны не только хорошие корабли, но и морские крепости.

– Один из форпостов уже есть – Николаевск.

– Ему там не место, – возразил Бестужев.

– Отчего же? – в нарочитой мягкости Муравьева послышались нотки раздражения.

– Николаевск никогда не станет ни военным портом, ни крупным торговым центром – большим кораблям мели мешают, а зимой – льды. Какой там порт и какой флот?

– Помните, ваше превосходительство, – обратился Корсаков к Муравьеву, – Невельской тоже твердил: порт – флот, флот – порт.

– Михаил Семенович, – сказал Бестужев, – из устья Амура мы сможем только сложить руки любоваться торговой деятельностью других народов. А чтобы завести настоящий флот, надо найти незамерзающие порты южнее.

– Вы, моряки, очень прихотливы, – сухо сказал Муравьев, явно недовольный словами Бестужева, – давайте опустимся на грешную землю. Вчера Зимин и Серебренников отправили часть груза. Вам надо немедленно выехать в Читу. Баржи строятся в Атамановке, Нерчинске, Бянкине. Необходимо ускорить их строительство, чтобы сразу после ледохода загрузить и отправить в путь. Иначе потеря одного дня в начале пути обернется неделями в конце...

– Строят баржи каторжные, – сказал Корсаков, – экипажи придется набрать из них же. Нужна судовая полиция...

– Не обойтись ли без нее? – заметил Бестужев.

– У вас будет более четырехсот уголовных. Как же без охраны? Груза-то на тысячи рублей...

– Не менее сложное дело – дипломатия, – продолжил Муравьев. – Простые китайцы относятся к нам корошо, но сановники чинят препятствия. Возьмите подарки, угощения. Купцы насчет этого предупреждены. При встрече с официальными лицами ссылайтесь на меня, а также на то, что для переговоров об Амуре в Пекин едет Путятин.

– Ефим Васильевич? В Пекин? – переспросил Бестужев.

– Да, министр иностранных дел Горчаков наделил его особыми полномочиями, и он должен ехать через Кяхту. И последнее – относительно плавания в Америку.

Это поручение уже государственное. Нужно закупить несколько речных и морских судов, но не парусники – только винтовые корабли. – Муравьев встал. Поняв, что беседа окончена, поднялись и остальные.

## **ДМИТРИЙ ЗАВАЛИШИН**

Крытая кошевка быстро мчалась по голубому льду Байкала, обгоняя обозы с грузом. Бестужев сидел рядом с Павлом Пономаревым, земляком из Селенгинска который согласился поехать в качестве помощника Солнце заливало просторы Байкала над которым ослепительными секирами сверкали гольцы Хамар-Дабана.

Заночевав в селе Посольском, они двинулись вдоль Селенги. Живописна санная дорога у Троицка, Ильинки, у скал, близ Мандрика, где зимник проложен напрямик по льду реки. После ночлега в Верхкеудинске они направились вверх по Уде, по Хоринской степи. Места эти хорошо знакомы – Бестужев прошел тут пешком, когда их переводили из Читы в Петровский Завод осенью 1830 года. Многих уж нет, а те, кто живы, почти все уехали на запад, и лишь один он отправился на восток.

А тогда, двадцать семь лет назад, шествие возглавлял Завалишин. Невысокого роста, в шляпе с широчайшими полями, в черном балахоне собственного покроя и шитья, с длинным посохом в одной руке и библией – в другой, Дмитрий, видимо, представлял себя главой Вселенского ордена спасения, о создании которого мечтал еще до восстания. Но пастырь выглядел скорее смешно, чем величественно.

Неудовлетворенное стремление к особому предназначению сказывалось у него еще в каземате. Когда Завалишина избрали артельщиком коммуны, он начал навязывать свое мнение в вопросах не только хозяйственных. Вскоре это надоело союзникам, и они назначили другого артельщика. Но во время перехода он с удовольствием взял на себя роль вожака, тем более что против этого никто не возражал.

Однако комичен был не только «вожак». Декабристы одеты были кто во что горазд: Волконский в женской кацавейке, Якушкин – в короткой детской курточке. Одни шли в долгополых пономарских сюртуках, другие – в блузах, испанских мантиях. Жители попутных сел, напуганные росказнями о «секретных» – государственных преступниках, с удивлением глядели на пеструю толпу людей, вовсе не похожих на головорезов. Окажись здесь какой-нибудь европеец, он принял бы их за сумасшедших, выведенных па прогулку из дома призрания душевнобольных.

Поход, длившийся более месяца, вспоминался как самая светлая полоса их жизни в Сибири. От постоянного движения, солнца, свежего воздуха все окрепли, набрались сил. Столько леп прошло, а вспоминается как сейчас.

Эскадроны верховых бурят сопровождали головную колонну. Ночлеги и дневки устраивали в бурятских юртах, которые везли с собой и устанавливали в самых живописных местах. Почти все, кто хоть немного рисовал, взялись за кисти.

Где-то под Хоринском им встретился на редкость роскошный экипаж, запряженный тремя парами лошадей цугом. Бестужев подумал, что в нем сидит тайша<sup>5</sup> но вышел его сын, мальчик лет двенадцати, в шубе, покрытой ярко-зеленым атласом, в бобровой шапке, украшенной голубыми шариками и стеклярусом/ На боку – сабля с серебряным темляком, на шее – золотая медаль на Анненской ленте.

На этом привале им довелось увидеть интересное представление.

Мальчик пересел на небольшую монгольскую лошадку, перед юным всадником выпустили большого изюбра, который, тряхнув тяжелыми рогами, прыжками помчался по степи к ближайшему лесу, но мальчик нагнал его на своей приткой лошадке, вынул на скаку лук и стрелу из колчана и метким выстрелом сразил изюбра.

Однажды один из бурятов, постоянно следивших за шахматной игрой «секретных», попросил разрешения сыграть с кем-нибудь из них. Трубецкой с улыбкой принял вызов, сомневаясь, удобно ли выигрывать у дикаря. Но, начав партию, подвергся сильной атаке, от которой пытался спастись рокировкой. Бурят начал было протестовать, так как не знал о таком маневре короля, но в конце концов все же победил Трубецкого. Каково же было огорчение союзников, когда они узнали, что бурят, выигравший у русского князя, по приказу нойона получил за какой-то незначительный проступок пятьдесят ударов плетью, после чего уже не мог сопровождать заключенных.

Потом Бестужев спросил одного из конвойных, знает ли он, за что сослали «секретных», тот ответил: «Царь-салтан угей!» – и провел ребром ладони по шее. Видно,

---

<sup>5</sup> Представитель бурятской знати, высшее должностное лицо (*бурят.*)

хорошо запомнил, как Лунин сказал бурятам, что хотел сделать царю «угей». Бестужев уточнил: они хотели, чтобы все – и русские, и буряты – были равны и чтобы нойоны<sup>6</sup> не могли наказывать своих подчиненных, как того шахматиста...

На последнем ночлеге в Хараузе декабристы, узнав из газет о революции во Франции, выпили шампанского и спели «Марсельезу». Странно звучали ее слова на французском языке у костра, в таежной глухомани...

На четвертый день, перевалив через Яблоновый хребет, путники доехали до Читы. Без труда найдя дом Завалишина, которого все тут знали, Бестужев поднялся по ступеням высокого крыльца с навесом. Хозяин сидел за столом.

– Ба! Михайло! – воскликнул он, увидев гостя. Они дружески обнялись. – А ты, ей-богу, не стареешь. Слышал о твоём путешествии...

– Сбываются наши мечты. Помнишь, как мы хотели бежать по Амуру? Ты составил подробную карту...

– Не я первый. Штейнгейль еще в восемьсот девятом году попал на Ингоду и Шилку, а в четырнадцатом, после войны с Наполеоном, предлагал экспедицию по Амуру.

– И Орлов, Тургенев, Дмитриев-Мамонов... Кто только не писал об этом. Друг нашего семейства Василевский советовал брату Николаю поискать в архивах, не затевал ли чего Петр Великий на Амуре...

Долго говорили старые друзья об освоении Сибири. Узнав, что Бестужев не устроился на квартиру, Завалишин предложил остановиться у него и начал рассказывать о первых сплавах, которые прошли с большой помпой и успешно, а вот последний поход окончился трагично. Корсаков и Буссе не сумели обеспечить возврат войск вверх по Амуру после окончания войны,<sup>7</sup> солдаты оказались без продовольствия, в результате погибло около трехсот человек.

– Нынешний сплав может осложниться из-за мелководья – снега мало, – сказал Завалишин.

– Нужны шоссейные и железные дороги, – вздохнул Бестужев. – Батеньков составил несколько проектов железной дороги через Сибирь, но ими пренебрегают, а стоило американцу Коллинзу заикнуться о строительстве ее от Верхнеудинска до Амура, как все зашевелились. Слышал о нем?

– Не только слышал – видел его. Он ведь тут. Носятся с ним... Но проект чрезвычайно важный...

– Так-то так, а знаешь условия Коллинза? Безвозмездное пользование в зоне дороги лесом, камнем, разработка металлов без пошлины и налогов. И Муравьев все же клюнул: срочно послал курьера в Петербург. Весь край – золотое дно, вот американцы и ловят нас на удочку, хотят снять сливки... Бедная Россия!

– Наука экономическая учит, – сказал Завалишин, – что средства не падают с неба, а извлекаются из данной страны. Но наука не вошла у нас в плоть и кровь, потому мы и действуем вопреки законам экономики, думаем как-нибудь выкрутиться потом, обойти их, а в итоге обманываем сами себя.

– Не об этом ли пишешь? – кивнул Бестужев на листы.

– Именно. Пошлю в «Морской сборник».

– Не боишься последствий? Муравьев не простит.

– Надеюсь, поймет, что я пишу для общей пользы, а чтоб меня не обвинили в корысти, официально откажусь от гонорара. Быть равнодушным и молчать при виде явных нелепостей

---

<sup>6</sup> Должностное лицо (*бурят*).

<sup>7</sup> Во время Крымской войны англичане и французы вели военные действия против России и на Дальнем Востоке.

нам не пристало. Верно я говорю?

## НА ИНГОДЕ

Долина реки, покрытой льдом, стиснута горами, поросшими хвойным лесом. Со склонов бегут вешние воды. Бестужев с Павлом Пономаревым идут прямо по Ингоде. По берегу на несколько верст – плотбища, на которых строятся плоты и баржи. Бестужев щурится под лучами солнца, но настроение у него хмурое: скоро тронется лед, а половина барж не готова.

Они поднимаются на одну из них. Широкая утюгообразная посудина мало похожа на привычное глазу моряка судно. Рядом, на высоких козлах, широко расставив ноги, стоит мужик, держась за ручки длинной пилы. Его напарник внизу весь осыпан опилками. Брусья получают толстые, сырые.

– Шабаш, мужики! – скомандовал Бестужев. Мужик, стоявший наверху, спрыгнул на землю, а нижний стал отряхиваться от опилок. – Толсто пилите: почти семь вершков.

– Но каждый год так, и ничего – плывут.

– Однако мне нужна хоть одна баржа полегче. – Бестужев начал чертить на оттаявшем песке. – Лежни и клади – таким вот макаром, матицу – как обычно. Клетки у носа поуже. Палубы не надо вовсе. Ухватов по бортам – по шесть штук. Кормовой и носовой пни – потоньше, но из лиственницы. А пилить надо не толще пяти вершков. Уразумели?

– Ясно. Но что за баржа без палубы?

– Осадка будет меньше, проходимость лучше, а от жары, дождя поставим юрту...

Распрощавшись с рабочими, Бестужев с Павлом пошли к деревне Княже-Береговая, где они заказали особую быстроходную лодку на три нары весел. Она получилась длиннее обычной и оттого казалась уже и изящнее. Сделанная из тонкого кедрового теса, лодка была уже готова, осталось лишь прошпаклевать и просмолить швы. Пока они занимались этим, вдоль берега по полынье подплыл на лодочке какой-то тунгус в меховом малахае. Встав на ноги, он оказался неожиданно высоким, здоровым. За поясом охотничий нож с рукояткой из рога изюбра, точь-в-точь такой же, как у Бестужева. Перекинув через плечо связку убитых уток, на другое взяв ружье, он подошел к ним и поприветствовал. Узкие, хорошо выбритые усы смыкались с аккуратной бородкой и придавали лицу некоторый аристократизм. Раскосые, но широкие глаза были добры, однако взгляд – небесхитростный, заинтересованный.

– Слышал, в сплав идете. Лодка хороша, а не хотите еще эту?

Бестужев потрогал борта из бересты, легко приподнял ее за нос, убедившись, что она почти невесома.

– Оморочка – что надо! – сказал тунгус. Бестужев согласился и спросил, кто он и откуда.

– Я здешний. Дворянин Гантимуров.

– Дворянин Бестужев, – с улыбкой представился он, с любопытством разглядывая потомка князя Гантимура, о котором слышал многое.

– Ну что, берете? На мелководье выручит, вот увидите.

Павел с сомнением оглядел лодку, потом спросил хватит ли двух рублей.

– Забирайте, а я в придачу еще уток дам, – получив деньги, Гантимуров бросил на дно четыре утки и пошел в гору.

– Странный тунгус, – покачал головой Павел. – Не обморочил ли нас?

– Да что ты! Смотри, какая прекрасная байдара!

## БЯНКИНО. КАНДИНСКИЕ

В сумерках Бестужев плывет на лодочке вниз по Шилке Крутые скалы, как фантастические великаны, то и дело преграждают путь. Шорох льдин, журчание струй у

каменной время от времени покрываются посвистом крыльев и криканьем утиных стай. Тайга полна звуков – токованьем глухарей, тревожным уханьем сов, рывканьем гуранов.

Бестужев правит веслом, обходя торчащую корягу, подводный камень или засорявшую льдину. Течение быстрое, зазеваешься – пропорешь борт оморочки и окажешься в ледяной воде. Увидев перед собой бурун воды, он подумал, что это топляк, и оттолкнулся, но весло скользнуло о панцирь длинной белуги.

Ударив хвостом, она чуть не опрокинула оморочку, обдав Бестужева веером брызг. Едва успев опомниться от этой опасности, он вздрогнул от страшного рева с берега: «Ххак-хак-хак...»

Схватившись за ружье, Бестужев увидел гурана, который, испугавшись человека, мощными прыжками удалялся в глубь тайги.

Полосы едкого дыма поплыли по поверхности реки. За поворотом зловеще полыхали деревья. Выжигая прошлогоднюю траву, кто-то пустил пал, а от него загорелся лес. Какое варварство, небрежение к природе!

Вскоре открылась долина, залитая лунным светом. Почти сплошь укутанная дымом деревушка казалась сожженной, как после вражьего нашествия. Лишь купола двух церквей да крыши нескольких домов виднелись из-под слоя дыма. На берегу оказалось множество костров, горящих вдоль реки. Стук топоров, голоса, суета возле барж.

Едва Бестужев причалил к берегу, к нему подошел Иван Чурин, приказчик, который следил за строительством барж. Сообщив, что осталось достроить только пять, Чурин пригласил ужинать, но Бестужев ответил что пойдет к Кандинским.

Возле костра у балагана, покрытого лиственничной корой, один из мужиков начал протяжную песню

Как на матушке на Шилке-реке,  
В забайкальском дальнем Бянкине  
Срок венчаем с топором в руке,  
Горя мало, но и счастья нет...

Ему начали подпевать русские бородачи, а буряты, татары, вотяки, не зная слов, задумчиво смотрели на огонь.

А вот кончим мы плоты стругать,  
Поплывем к Амуру-батюшке,  
Новой доли будем там искать,  
Ты прости нас, Шилка-матушка...

– Хорошо поют, – говорит Бестужев. – Тут у нас столпотворение вавилонское – вотяки, вогулы, татары, буряты, русские...

– И все виновны перед законом, – сказал Чурин.

– Скорее перед беззаконием, – возразил Бестужев. – Я только что из Нерчинска. До чего угрюм и мрачен он – прямо-таки Дантов город скорби.

Впервые Бестужев услышал о Кандинских в Читинском остроге. Увидев на бревнах высеченную топором букву «К», он подумал, что это лес, специально заготовленный для каземата, но потом узнал, что это фирменная мета Хрисанфа Кандинского, который занимался поставкой леса казне. Волконский, братья Муравьевы, Трубецкой, Якубович останавливались у брата Хрисанфа – Алексея Петровича. Тот оказал им самый радушный прием – накормил, истопил баню, снабдил провизией.

С его сыном Ксенофонтом Алексеевичем Бестужев познакомился в Чите. Он произвел

на Бестужева самое благоприятное впечатление. Это был скромный и явно честный человек. Узнав, что Бестужев будет в Бянкине. Ксенофонт Алексеевич пригласил его в гости.

Большой двухэтажный дом с колоннами сиял огнями. Из раскрытых окон доносились звуки рояля. Дверь открыл племянник хозяина Витя Кандинский и провел Бестужева наверх. В просторном зале, увешанном коврами и картинами, было светло и уютно.

– Позвольте представить долгожданного гостя Михаила Александровича, – сказал Ксенофонт Алексеевич.

Все поднялись со своих мест – штабс-капитан Венюков, секретарь Сибирского отделения Географического общества Гельмерсен, сестра Ксенофонта Мария Алексеевна Токмакова и ее сын Иван, скуластый, узколицый, с чуть раскосыми глазами юноша.<sup>8</sup>

– Отведайте наших таежных кушаний, – Мария Алексеевна предложила Бестужеву на выбор изюбрятину, осетрину, тетеревов...

Бестужев сел рядом с Венюковым и, разговорившись с ним, узнал, что тот проводит экспедицию по уточнению карт. На вопрос, точна ли лоция Амура, штабс-капитан ответил, что весьма приблизительна – обозначены лишь берега, фарватер изучен плохо, так что придется плыть на ощупь. Когда речь зашла о наборе экипажей барж, Венюков сказал, что совладать с бывшими каторжанами будет трудно. Бестужев возразил, что в Николаевске их ждет жилье, работа, так что бежать резона нет.

– Дай-то бог, – сказала Мария Алексеевна, – но в прошлом году отсюда сбежало более тысячи каторжан. Даже вот песня появилась – «По диким степям Забайкалья»...

Где-то около полуночи, когда все разошлись, Бестужев спросил Ваню, чему он думает посвятить жизнь.

– После смерти папы мама отправила меня в Кяхту, служу там приказчиком.

– А не знаешь ли ты Алешу Старцева?

– Конечно. И даже то, что он – ваш племянник. Бестужев тепло, по-отечески обнял Ваню.

– Путь ваш с Алешей будет непрост. Многие относятся к купцам как торгашам, которые так и норовят надуть кого-то... Сейчас вот, столкнувшись с купцами, я понял, как от их личных видов страдают многие. В то же время среди купцов немало замечательных людей. Когда мы с братом Николаем оказались в Селенгинске, никто не помог так, как Старцевы, Лушниковы, а в Кяхте Сабашниковы...

Тут в комнату вернулась Мария Алексеевна.

– Вижу, вы сошлись, – улыбнулась она.

– У нас столько общих знакомых, – сказал Бестужев, назвав кроме тех, о ком говорил только что, Басниных, Боткиных, Прянишниковых. – Уверен, что кяхтинцы дадут России немало замечательных людей. Я не пророк, но убежден: Сибирь станет просвещенным краем...

– Хотелось бы верить, – вздохнула Мария Алексеевна, – но на весь край всего одна порядочная гимназия, зато вместо одного винокурного завода в Иркутске стало восемнадцать, вместо нескольких кабаков – четыреста. Вот где прогресс! Тут я не спорю. А чтобы исправить, спасти народ, нужны гимназии, а не кабаки. Дай-то бог сбыться вашим словам, но сколько воды утечет до тех пор в Шилке и Амуре...

– Рад видеть в вас единомышленницу. А то, о чем я говорил, возможно лишь при общественном переустройстве.

– Ну, Михаил Александрович, – она обеспокоенно глянула на сына.

– Маменька, я пойду, – сказал Ваня, поняв, что она не хочет говорить об этом при нем. Мария Алексеевна возражать не стала. Да и время позднее – часы пробили полночь. Когда Ваня вышел, он спросил, отчего все Кандинские восточного облика.

---

<sup>8</sup> И. Ф. Токмаков (1838–1906) – один из пионеров освоения Дальнего Востока. Его дочь М. И. Водовозова издала первые книги В. И. Ленина «Экономические этюды и статьи», «Развитие капитализма в России».

– О, это целая история, устанете слушать, – улыбнулась она.  
– Готов хоть до утра.  
– Один из наших предков – тунгусский князь Гантимур...  
– Простите, на днях я познакомился с Гантимуровым.  
– Высокий такой, с бородкой? Это мой троюродный брат. Он продал вам что-нибудь?  
– Лодку, на которой я приплыл сюда.  
– Господи, – улыбнулась она, – есть у него такая слабость.  
– Взял всего ничего, а оморочка – чудо! Но мы говорили о Гантимуре.  
– Да, имя его монгольского происхождения, но означает не хан Тимур, а скорее – железный князь... Он был вождем большого тунгусского племени, кочевал на севере Маньчжурии. Гантимур – пращур по матери, а прадед по отцу был бурят. Так что у нас намешано всего понемногу. Русской крови больше, но закваска остается, – усмехнулась она, показав на свои глаза, скулы.

Бестужев хотел сказать, что именно восточные черты делают ее особенно привлекательной, но постеснялся смутить эту красивую, еще молодую, около сорока лет, женщину.

– Когда русские вышли на Амур, Гантимур подружился с ними, попросил подданства России. Императору Канси это не понравилось – какой пример другим приамурским племенам! Он стал требовать выдачи Гантимура. Нерчинский воевода отказал, тогда маньчжуры пошли на Албазин, взяли его штурмом, затем осадили Нерчинск и заставили подписать договор, по которому путь на Амур для России был закрыт. Гантимур стал кочевать со своим племенем по Шилке и Конде. Царь Алексей Михайлович за верность России присвоил ему титул князя. Те, что жили на Конде, назывались кондинскими, отсюда и наша фамилия.

Строительство барж в Бянкине задерживалось, и Бестужев провел у Кандинских целую неделю. Уставая от неурядиц и хлопот, он проводил вечера в беседах с Ксенофонтом Алексеевичем и Марией Алексеевной, играл в шахматы с Ваней и его кузеном Витей, который был не по возрасту смышлен и развит.<sup>9</sup> Потом Ваня и Витя уехали в Кяхту. Когда гостиная была пуста, Бестужев с удовольствием музицировал на рояле.

Вряд ли он узнал бы о своих музыкальных способностях, если бы не выиграл в лотерею фортепиано. Случилось это уже на поселении в Селенгинске. Однажды, когда в доме никого не было, он попробовал сыграть песню. «Что ни ветер шумит во сыром бору», слова которой сочинил на каторге в честь восстания южан. Первый опыт ободрил его, и он стал подбирать мелодии Алябьева, Глинки, Булахова. А самую сокровенную для него мелодию он долго не осмеливался трогать. Слишком дорога была она, чтобы портить плохим исполнением. Позднее он все же решился и разбередил давнюю душевную рану.

Впервые «Пассакалью» Генделя Мишель услышал с Анетой, дочерью адмирала Михайловского. Она сидела взволнованная и мелодией, и присутствием Мишеля, и мечтами о будущем, связанными с ним, тогда молодым лейтенантом флота. Потом она стала играть «Пассакалью» на арфе. Мелодия Генделя стала как бы символом их отношений и навсегда связалась в памяти с образом Анеты.

Накануне восстания, оказавшись неподалеку от дома Михайловских, он решил проститься с Анетой. Дом был полон гостей, звучала музыка. Анета очень обрадовалась приходу Мишеля, с удовольствием танцевала с ним. Как же мила, прекрасна была она тогда! Побыв там совсем немного, он решил незаметно удалиться. Выйдя в переднюю, надел шинель, но из-за волнения никак не мог застегнуть крючки. Однако Анета увидела его и обиженно спросила, почему он уходит. Мишель обнял ее, поцеловал и молвил: «Прощай, мой друг!» Дрогнувший голос, глаза выдали его, она догадалась, на что решился он, – город

---

<sup>9</sup> В. Х. Кандинский (1849–1889) впоследствии стал одним из основоположников отечественной психиатрии.

гудел слухами о заговоре, побелела как полотно и рухнула без чувств. Уложив ее на диван и воспользовавшись поднявшейся суматохой, он выбежал на улицу...

## АТАМАНОВКА

Вернувшись из Бянкина в Читу, Бестужев подготовил к отправке первые суда каравана. На берегу Ингоды, в казачьей станице Атамаповке, под Читой, заканчивалась погрузка части барж и плотов. Отплытие задерживалось из-за отсутствия губернатора Забайкалья Корсакова. На дороге, спускающейся с горы к реке, показался верховой из Читы и, подскакав к Бестужеву, сообщил, что Корсаков задерживается с американцем Коллинзом в рудниках и велит отплывать, не дожидаясь его прибытия.

Бестужев попросил позвать священника. Из ближней избы появился высокий благообразный старец в сопровождении двух дьяконов. В руках у него икона Богоматери, которую, по преданию, вывезли из Албазина.

Как только отец Афанасий окончил молебен, оркестр военных музыкантов заиграл «Амурский марш». Бестужев скомандовал отвал, гребцы передних барж начали отталкиваться баграми. Засуетился народ на берегу. Мальчишки побежали вдоль реки, крича и подбрасывая вверх шапки.

Бестужев направился к своей лодке и увидел, как из толпы вышел осанистый, respectable вида мужчина. Это был Густав Радде, начальник экспедиции Российского Географического общества. Корсаков обещал отправить его на Малый Хинган, но не отдал распоряжения об этом. Радде был в отчаянии, боясь упустить вешние воды и застрять на мелководе. Бестужев разрешил дело двумя словами: «Едемте вместе». Подойдя к одному из свободных плотов, который предстояло загрузить в Шилкинском Заводе, он велел помочь Радде в погрузке его вещей, а ему самому предложил свою «адмиральскую» лодку с сооруженной на ней будкой от солнца и дождя. Павел обеспокоился: «Как же мы?», но Бестужев сказал, что в Бянкине есть еще одна такая, а пока они поплывут на оморочке.

– Не знаю, как и благодарить вас! – взволнованно пожал Радде руку Бестужева.

– Наш караван будет догружаться ниже, а вы нас не ждите, идите вперед. До встречи на Хингане.

Бестужев и Павел уселись в зыбкую оморочку. Быстрое течение тут же подхватило ее. Бестужев несколькими взмахами весла вывел лодочку на стремнину. Дома и толпа на берегу начали удаляться и вскоре скрылись за поворотом. Павел взял весло у Бестужева и стал грести мощно, размеренно, обгоняя одну баржу за другой, пока лодочка не оказалась впереди эскадры.

Когда начали сгущаться сумерки, на задней барже засветился огонь. Плоты и баржи нагружены легко, некоторые совсем свободны, и Бестужев решил пройти часть пути ночью. Вскоре костры загорелись и на других баржах, плотях. Бестужев тоже зажег заранее приготовленный смолистый факел, прикрепил его к корме. Цепочка огоньков, растянувшись по Ингоде, двигалась вдоль высоких гористых берегов, покрытых густым лесом. Засветилась на западе яркая Венера. Караван гусей, тревожно перекликаясь в сумеречной вышине, проплыл на северо-восток.

## ШИЛКИНСКИЙ ЗАВОД

Приняв баржи, построенные в разных местах, Бестужев завершал погрузку в Шилкинском Заводе, где находилась основная база грузов Амурской компании, доставленных из Иркутска зимой санным путем. Однако дела шли плохо: интенданты строили каверзы, мешала и торговля водкой в шинке. Никакие убеждения и угрозы не действовали на интендантов и шинкаря. И как только приехал генерал-губернатор, Бестужев рассказал ему обо всем. Муравьев тотчас же приказал вызвать чиновников и полицмейстера. Когда они явились в кабинет, Муравьев начал распекать их:



– Воры! Мошенники! Офицерский мундир позорите! В солдатский захотели? Немедленно обеспечьте доставку грузов к баржам! А задержку отнесу на ваш счет!

Перепуганные интенданты вышли, Муравьев приказал полицмейстеру запретить продажу водки, а если шинкарь ослушается, посадить его под арест до отправки каравана. Выпроводив полицмейстера, Муравьев сказал:

– Кого только не приходится терпеть в Сибири – и пьяниц, и ленивцев, и прочих негодяев! А кем заменить? Думаете, интенданты испугались? Ничуть. Самое неприятное – погрузка за их счет. Но они найдут способ надуть казну в другом...

Узнав, что экипажи и судовая полиция пока не набраны, Муравьев помрачнел еще больше. Еле сдерживал себя, он посоветовал быть с людьми жестче, чтобы они чувствовали власть. Бестужев предложил на место урядника судовой полиции Павла Пономарева, а помощников набрать из экипажей, по одному с каждой баржи. Муравьев согласился с ним и сказал, что выдаст пистолеты и фуражки.

– И вас надо вооружить, – Николай Николаевич начал успокаиваться. Достав из дорожного сундука двуствольный пистолет и кортик, он торжественно преподнес их Бестужеву. – Вот, возьмите. Такой же пистолет был у Невельского.

Оружие оказалось превосходным. Рукоять, замок необычного пистолета, курки в виде голов драконов отделаны гравировкой на серебре. Но кортик и ножны, украшенные такой же витиеватой чернью, были особенно дороги Бестужеву, ибо говорили его душе больше, чем призрачное звание адмирала речной флотилии.

– Спасибо, ваше высокопревосходительство! – щелкнул каблуками Бестужев. – Доверие ваше попытаюсь оправдать с честью.

– Дай бог, чтоб не пригодилось, но без оружия нельзя, вы все-таки адмирал... Кстати, на днях здесь проедет Пулятин. Через Кяхту не пустили, направился в Китай по Амуру.

– Как бы свидеться с ним? Он ведь был при штурме Адлера, может, знает что-то о брате Александре. До сих пор не верю в его гибель.

– Все еще надеетесь? – вздохнул Муравьев. – Обязательно скажу ему о вас...

На другой день Бестужев поехал в Нижнюю Кару за канатами и паклей. До самого вечера он помогал там рабочим закручивать длинные, саженой до десяти канаты, а потом смолить их варом. Обрато он вернулся через день поздно вечером.

Едва он вошел в свою избу, прибежал Павел и сказал, что на дальних баржах – драка. Бестужев велел ему найти Чурина и скакать туда. А сам вывел из стойла еще не остывшую лошадь, вскочил на нее, не надевая седла, и, почувствовав ногами жар взмысленных боков, поскакал вдоль берега. Вскоре его нагнали Чури и Павел.

Драка была в самом разгаре. В ярком свете костра, возле которого как ни в чем не бывало сидела группа зрителей, стенка на стенку бились вотяки с семейскими.<sup>10</sup> Несколько человек с той и другой стороны уже лежали на песке – оглушенные, окровавленные.

Всадники врезались в гущу дерущихся.

– Разойдись! – закричал Бестужев и выстрелил из пистолета. Лошадь встала на дыбы от батога одного из мужиков, но Бестужев ударом кнута выбил его. Чури и Павел тоже начали разнимать дерущихся. Когда злая кипень затихла, Бестужев приказал помочь пострадавшим и спросил, из-за чего драка.

– Лодку сперли, – стал объяснять пожилой вотяк с кровоточащим носом. – Эвон тот третьеводни угнал одну и продал, и сегодня опять...

– Третьеводни – еще докажи, а сегодня – вот те крест, не брал! – перекрестился двуперстием высокий здоровый парень, утирая и облизывая разбитые губы.

– Поймите, мужики, – начал было увещевать Бестужев, но, заметив, как, покачивая головой, усмехнулся Павел, более твердо сказал, что нянчиться с драчунами и пьяницами теперь не будет – с завтрашнего дня начнет действовать судовая полиция, а урядником

---

<sup>10</sup> Старообрядцы, сосланные в Забайкалье семьями.

назначен Павел Пономарев.

Тот изумленно глянул на Бестужева, но ничего не произнес. На обратном пути он спросил, всерьез ли сказано это или так, для острастки.

– Конечно, всерьез. Извини, не успел предупредить.

В суете и хлопотах Бестужев забыл о прибытии Путятин и вспомнил, лишь ложась спать. Хотел было узнать о нем, но глянул на часы – шел второй час ночи.

Уснув как убитый, Бестужев под утро увидел во сне густой, увитый лианами лес. Люди в папах бегут, отстреливаются. Один из них затаился в кустах и в упор выстрелил в набежавшего брата Александра. Тот упал, схватился за плечо. Горцы бросились к нему с саблями, замахнулись, но брат что-то сказал им по-татарски, они спрятали сабли в ножны, взяли Александра под руки и побежали в чащу. Но кто-то стоит под чинарой. Вглядевшись, Бестужев узнал и закричал: «Путятин!»

Услышав крик, Павел заглянул в комнату, залитую солнцем, и сказал, что Путятин на рассвете уплыл с Муравьевым на Амур.

– Что же ты не разбудил меня? – укорил Бестужев и сокрушенно потер затылок. Муравьев обещал свести их, неужто Путятин не захотел встретиться? Впрочем, кто он теперь для Путятин? Это в Морском корпусе Бестужев покровительствовал ему, а сейчас... Расстроенный сном и тем, что Путятин проехал, не повидав его, Бестужев весь день был не в духе.

К вечеру он собрал приказчиков и сообщил, что флотилия разбивается на пять отрядов по восемь суден в каждом. Отряды Иванова и Никитина, составленные из плотов, Бестужев решил отправить завтра, а Пьянкову и Шишлову наметил выход через два дня. Арьергард он решил возглавить сам и объявил о назначении Павла Пономарева урядником.

Возвращаясь к своей избе, Бестужев увидел на лавочке у ворот господина в цилиндре и догадался, что это – торговый агент из Америки Коллинз. Они представились друг другу. Каково же было удивление американца, когда человек в сыромятных сапогах и статском платье вдруг ответил на его приветствие по-английски и сказал, что знает этот язык, но не настолько, чтобы свободно разговаривать на нем, и предложил вести беседу на французском.

На вопросы Коллинза, откуда Бестужев знает европейские языки, где учился и служит, он ответил, что изучил их в Кяхте, общаясь на таможне с иностранцами. Не рассказывать же о том, что он – потомственный дворянин, морской офицер, сосланный в Сибирь.

Несмотря на улыбку и изысканную галантность американца, Бестужев заметил, что тот явно расстроен чем-то. Во время путешествия из Петербурга в Сибирь Коллинз всюду встречали весьма торжественно. Во многих местах в честь него устраивались приемы, да и тут, в Забайкалье, сам Корсаков сопровождал его в поездках по рудникам. И вдруг на пороге Амура – такой пассаж: Путятин не предложил ему места на своей адмиральской яхте. Коллинз, конечно, понимал, что у адмирала особая дипломатическая миссия, и все же чувство уязвленного достоинства терзало его.

С Бестужевым Коллинз решил встретиться специально. Путь по Амуру далекий, трудный. Мало ли что может произойти, и этот человек может оказаться полезным. Однако американец не хотел, как говорят русские, ломать шапку перед командиром нелепой, допотопной флотилии и начал рассказывать за чаем, как президент Штатов уполномочил его вести переговоры в Петербурге о развитии торговли между Америкой и азиатской Россией. Не надеясь на успех, Коллинз был удивлен разрешению царя совершить путешествие через Россию к берегам Тихого океана, тем более что несколько лет назад один англичанин был арестован за попытку проникнуть на Амур.

Получив возможность ознакомиться с рудниками Забайкалья, богатства которых потрясли его воображение, американец убедился, что рассказы о чрезмерной скрытности, осторожности русских явно преувеличены. Охлаждение в конце пути к его персоне он связывал с негласным отказом Петербурга на его прошение о строительстве железной дороги.

Впрочем, официального ответа из Петербурга пока нет, и американец не терял надежды

на благополучный исход.

Спрашивая, какие грузы и куда доставляются, но каким ценам будут продаваться, Коллинз все записывал. И хоть таиться, скрывать было нечего, это настораживало, держало Бестужева в напряжении. Напористая дотошность, вязкая цепкость американца были неприятны, и, расставшись с ним, Бестужев почувствовал и утомление от беседы и облегчение от того, что она наконец закончена.

– Хваткий джентльмен, – сказал он Павлу, – сунешь палец – руку оттяпает. Дорога нужна, очень нужна, но разреши таким ее построить, вопьются, как клещи, и обескровят край...

Но как же Муравьев не понимает этого, почему поддерживает проект с такими условиями?

Ответив на все вопросы Коллинза, Бестужев, однако, не сказал о своей поездке в Америку, не спросил, где и какие корабли лучше и выгоднее закупить. А брат Николай не растерялся бы и разузнал все, что нужно. Он ведь прекрасно справился с ролью дипломата во время плавания «Проворного» в 1824 году во Францию и Испанию. Размышляя обо всем этом, Бестужев подумал, что встречи с китайцами могут оказаться гораздо сложнее. Кто знает, как они отнесутся к мирной флотилии после визита Путятина? Чем обернутся переговоры в Пекине, если адмирала допустят ко двору императора?

## УСТЬ-КАРА

Отправив перед собой отряды Пьянкова и Шишлова, Бестужев лишь тридцать первого мая вывел свою эскадру из Шилкинского Завода. Через несколько верст он увидел бочки, прибитые к берегу.

– Это пьянковские, – сказал Чурин, который руководил погрузкой. – Да что он, пьяный что ли? Двенадцать штук...

Из-за того, что пришлось собирать бочки, первый день пути был скомкан. А вода убывала прямо на глазах. На другой день баржи стали бороздить дно. С трудом добравшись до Усть-Кары, пройдя всего семнадцать верст, Бестужев приказал бросить якоря – дальше идти было бесполезно.

Чтобы скоротать время, он решил сходить с Павлом в деревню. Первое, что они увидели, подходя к ней, – большой погост со множеством свежих крестов. На них – фамилии, имена, звания, кое у кого перечислены награды, а год смерти один – 1857.

– Что же стряслось? – удивился Павел.

– Это облеуховцы, – сказал Бестужев, вспомнив разговор с Завалишиным. – После подписания мира наши войска пошли вверх по Амуру, часть успела проплыть до ледостава, а отряд Облеухова отстал. Голод, тиф. Сколько погибло, скрывают, но, по словам Завалишина, не менее трехсот человек...

Когда они проходили мимо конторы прииска, из распахнутого окна выглянул чиновник и передал Бестужеву конверт, оставленный Муравьевым. Распечатав его, он с удивлением увидел вложенное в него письмо от Штейнгейля. Семь лет назад, когда тот жил в Тобольской губернии, они прекратили переписку, возмущенные пересылкой писем через Петербург и чтением их в Третьем отделении. И вот старый друг написал первое после большого перерыва письмо.

*«Здравствуй, паки здравствуй, мой – до смерти незабвенный, любезнейший друг, совоскресший Михаил Александрович, по начертанию на сердце „Мишель“ – здравствуй! Христос воскрес! Поцелуемся. Я – на берегу Невы, ты – едущий по Амуру: для дружбы, как для электричества, расстояния не существует...»*

Далее Владимир Иванович рассказал, как оказался в Петербурге, в гостях у сына Вячеслава, инспектора Императорского Александровского лицея, как тот решил отметить «75-й по счету» день рождения отца, на котором собралось двадцать четыре персоны. В тот вечер Штейнгейль узнал о плавании Бестужева по Амуру и написал это письмо.

Сколько дорогих имен названо – Пущин, Анненков, Наталья Дмитриевна Фонвизина, близких сердцу названий – Колпино, Царское Село, Ижора, через которую Бестужевы обычно ездили в усадьбу в Сольцах. Обрадовало и то, что Штейнгейль заинтересовался бестужевским проектом поршневых двигателей, о котором тот писал адмиралу Рейнеке. Закончив чтение, Бестужев в волнении закурил сигару.

– Чем-то огорчились? – спросил Павел.

– Наоборот, радуюсь за старого друга барона Штейнгейля.

– Немец, поди?

– По отцу, а мать – русская, пермячка. Вырос на Камчатке, учился в Морском корпусе в Петербурге, служил на Балтике, Охотском море, Байкале. Пять лет возглавлял Иркутское адмиралтейство. Женился на кяхтинке Пелагее Вонифатьевой, так что земляк твой, можно сказать. Потом воевал с Наполеоном, написал книгу о народном ополчении – два тома, восстанавливал Москву после победы над французами...

– Вот так немец, вот так барон! – удивился Павел.

– Это на редкость честный человек, всегда боролся с лихоимством, из-за чего не ладил с начальством и подчиненными. Пробовал навести порядок в Москве: наказывал взяточников, пытался разорвать узы круговой поруки, но его убрали. Потому и вступил в тайное общество...

Обратно шли зарослями цветущей черемухи. Вдыхая ее душистый аромат, Бестужев вспомнил, что во время ее цветения обычно наступает похолодание. Глянув на небо, он увидел гряду туч, идущих с запада. И вскоре начали падать первые капли дождя.

Подходя к баржам, Бестужев с Павлом услышали крики, шум, в толпе мужиков металась пара парней с топорами и били кого-то внизу наотмашь. У Бестужева оборвалось сердце: «Опять драка!» Бросившись вперед, он растолкал людей и увидел огромную, саженой на пять, белугу, прижатую баграми. Она была хвостом по воде и песку, обдавая всех брызгами. С трудом оглушив ее, мужики перевернули рыбину и начали потрошить.

– На перемет попалась! – возбужденно крикнул белобрысый паренек, выгребая котелком в ведро зернистую икру.

Десять ведер выбрали в бочки и сразу же засолили. Двадцать пудов оказалось в белуге да икры сверх того – пять пудов. Ужин получился па славу – жирнейшая уха и свежепосоленная икра, приправленная луком и чесноком. Однако Чурин сказал, что байкальский осетр вкуснее. С семнадцати лет Иван плавал на славном море, был и передовщиком, и кормщиком.

– Самая лучшая рыба на Байкале – омуль, – говорил Иван, – он разного рода – маломорский, баргузинский, посольский. До пятнадцати фунтов весом!..

Дождь лил до конца дня и всю ночь. Черемуховые холода сделали дело. Наутро вода в Шилке поднялась, и Бестужев скомандовал отвал.

## АВАРИЯ

Бестужев с Павлом шли на оморочке впереди эскадры Быстрыми взмахами весла Павел вел лодочку вниз по течению, а Бестужев время от времени шупал дно шестом. На одной из развилок им показалось, что левее идти лучше, но, проплыв ниже, увидели, что попали в мелкую затоку. Едва успев вернуться к развилке, Бестужев махнул рукой вправо, однако кормщик передовой баржи не сумел вырулить и посадил ее на мель.

Условленным знаком, скрестив руки над головой, Бестужев приказал остановиться другим баржам, но из-за нерасторопности кормщика и гребцов одна из них врезалась носом в борт первой баржи. Люди закричали, стали прыгать в воду, пытаясь баграми удержать накренившуюся баржу. Однако быстрое течение и напор задней баржи сводили на нет их усилия.

Все прочь! – закричал Бестужев, видя, что баржа поднялась правым бортом. Вплавь и вброд люди бросились в стороны. Бочки, ящики, дрова, ведра, угли костра посыпались с

палубы, и через несколько мгновений баржа опрокинулась вверх дном, подняв тучу брызг. Один из парней, едва увернувшись, на четвереньках выполз на берег и, трясясь от страха, начал мелко креститься. Все, кто невольно попал в ледяную воду, стали выкручивать, отжимать одежду. Бестужев велел развести костер, достать из воды все, что затонуло, и бочки, ящики, прибитые к берегу.

– В барже-то, в трюме, мука, – вздохнул Чурин. – Что теперь делать?

– Вырубим дно, и все тут, – сказал Павел.

– Рубить жалко, да и груз куда девать? – возразил Чурин.

Положение создалось отчаянное. Бестужев задумался, потом подобрал корынку от сосны, положил ее горбом вверх и сказал:

– Смотрите, вот баржа, попробуем подпереть ее лесинами со стороны течения. К ухватам привяжем канаты, перекинем их и будем тянуть с другой стороны, а несколько концов бросим на проходящую баржу, там их надо быстро закрепить узлами, канаты рванут их вот так, – он опрокинул корынку на другую сторону.

– На песке-то складно, а на деле еще неизвестно, – покачал головой Павел.

– Не выйдет с первого раза, попробуем еще, – сказал Бестужев.

– Давайте за работу! – крикнул Павел.

– Погоди, сначала накормить людей надо, – остановил его Бестужев.

Быстро развели костры, приготовили еду. За обедом мужики стали смеяться над белобрысым пареньком, который еле успел вернуться из-под баржи.

– Ну, Кузя, небось вспомнил свою мать? – сказал один.

– Гляжу, он, как тарбаган,<sup>11</sup> на карачках, – подхватил другой.

Взрыв смеха разнесся над рекой.

– Гы-гы-гы! – передразнил его Кузя и сам засмеялся над собой и своим испугом.

После обеда Бестужев отправил одну бригаду в лес за жердями, посоветовав выбирать сухой листвяк – он крепче сосны, а других попросил сверлить и долбить дыры для штырей на борту опрокинутой баржи. Закипела работа. И странно, не было уныния, люди держались бодро, весело. Авария как бы сблизила всех.

В просверленные дыры вбили клинья, надели на них петли канатов и, упирая колья в дно реки и постепенно переставляя их, приподняли левый борт. Теперь предстояло самое трудное – научить вязать узлы. Бестужев выбрал самых ловких, сноровистых парней. Велев Кузьме бросить ему конец, он поймал его и неуловимо быстрыми движениями завязал на колу морской узел.

– А теперь смотрите, показываю медленно...

Когда парни освоили узлы, Бестужев повел их вверх по течению, к другой барже, расставил у кормового и бортовых пней и скомандовал отвал. Медленно набирая скорость, баржа приблизилась к месту аварии. Сплавщики стали бросать концы с опрокинутой баржи на проходящую. Бестужев, Кузьма и его сосед быстро завязали свои концы, но один из канатов, спутавшись с другим, не долетел, и оба упали в воду. Три каната натянулись струной, идущая баржа дрогнула, словно наткнулась на что-то. Раздался хруст. Один из кольев на перевернутой барже сломался и полетел на палубу проходящей. Бестужев едва успел вернуться от пролетевшего мимо обломка.

Но под двумя другими канатами колья оказались крепкими. Опрокинутая баржа немного приподнялась, мужики, стоящие подле нее, успели подсунуть более длинные жерди под борт, и тут канаты, не выдержав напряжения, лопнули.

– Ничего, ребята! – крикнул Бестужев. – В следующий заход получится! Плыви вниз, не останавливайся, – приказал он кормщику. И когда баржа подошла близко к яру, Бестужев и его помощники попрыгали на берег. Вернувшись к месту аварии, Бестужев приободрил людей, велел привязать новые канаты и вбить новый кол вместо сломанного.

---

<sup>11</sup> Сунок (бурят.).

Следующий заход оказался удачным. И хотя один из канатов не успели завязать, четыре других не только перевернули баржу, но и немного протащили ее по дну. Крики «ура» разнеслись над рекой. Проходящая баржа остановилась. Бестужев принялся развязывать мокрые, туго затянутые узлы. Только бывалому моряку под силу это. Когда он поднялся на баржу, Чурин уже слазил в трюм и радостно сообщил, что мука даже не подмокла.

– Вот и прекрасно! – улыбнулся Бестужев. Возбужденный удачей, он выглядел молодо. Радость светилась в его глазах.

Караван тронулся в путь. Бестужев некоторое время оставался на барже, где плыл Кузьма.

– А ловко вы с канатами, – крутнул руками Кузьма.

– С двенадцати лет в море, – усмехнулся Бестужев, – чай, научишься.

– А верно, вы против царя войско вывели?

– Кто тебе сказал? – удивился Бестужев.

– Да слышал, – уклончиво махнул рукой паренек.

– Было дело, Кузьма, расскажу как-нибудь. Народу тут много, переиначат, передадут не так.

– Зря вы это, – вдруг сказал бородатый кормщик, – мы ведь знаем, что вы из «секретных». Я вот тоже по декабрьскому делу.

– На юге, у Муравьева-Апостола был? – изумился Бестужев.

– Нет, в Костромской губернии, в аккурат под рождество усадьбу помещицью подожгли...

– Сравнил, – усмехнулся Кузьма.

– И Кузя тоже с властью не поладил – урядника хлобыстнул, – сказал один из гребцов. – Не в декабре ли?

– Нет, летом, но даже если бив декабре, ты тот декабрь с другими не равняй!

– Откуда ж ты? – спросил Бестужев.

– Из Новгородской губернии, с Волхова, из Кречевиц, – ответил Кузьма.

– Так мы земляки – у нас в Сольцах на Волхове усадьба была.

– У вас – усадьба? – расширил глаза Кузьма.

– Представь себе. Но душ всего полсотни было, а когда нас с братьями сослали, сестры продали имение, дали вольную крестьянам и поехали к нам в Сибирь... Чего ж с урядником не поладил?

– Приехал он недоимки взывать, ну и к сестренке – уступишь, мол, недоимки покрою...

– И пусть бы покрыл, – ухмыльнулся гребец.

– Пошел ты... Сестренке-то тринадцать лет всего было. Оглушил урядника батогом, ну а мне потом больше досталось, – задрав рубаху, Кузьма показал спину с рубцами от ран, – а после по этапу в Тверь, в Москву и по Владимирке...

– Которой конца нет, – вздохнул Бестужев. – Скоро не только на Амур – на Сахалин погонят...

## ВЫХОД НА АМУР

25 июня бестужевская эскадра подошла к Усть-Стрелке. Оморочка быстро неслась по темной ряби слившихся вод Шилки и Аргуни. Недаром монголы называют Амур Хара-Мурэн – Черная река. Бестужев попросил у Павла стакан. Тот подал его и начал откупоривать штоф с водкой.

– Да нет, – усмехнулся Бестужев, – воды амурской попробуем, – черпнув стаканом воды за бортом, он поднял его. – Ну, здравствуй, Амур-батюшка! Почти месяц маялись на Шилке, дай бог, чтоб на Амуре было легче! – и выпил воду...

На Усть-Стрелке Бестужев встретился с Паргачевским, давним знакомым по

Селенгинску. Иван Евлампиевич увлекался восточными языками и в свое уже не первое плавание по Амуру отправился не столько из-за денег, сколько для изучения языков амурских племен. В это лето он подрядился открыть торговые лавки Зими́на и Серебренникова в новых селениях на Амуре.

Подождав, когда причалили последние баржи, Бестужев направился к Паргачевскому, чтобы расспросить о дальнейшем пути. Тот посоветовал не пользоваться картами, а нанять лоцманов.

– Хорошо знают реку манегры<sup>12</sup> и охотно соглашаются проводить баржи. Вообще приамурцы относятся к русским очень радушно. Возвращаясь зимой по льду Амура, я убедился в этом. Останавливался в чумах гиялков и гольдов, в мазанках солонов и дауров. И везде мне отдавали лучшие места, угощали мясом, рыбой. Они говорят, что с русскими торговать гораздо лучше, выгоднее. Маньчжурские купцы буквально обирают их. И теперь приамурские племена целыми стойбищами начали принимать православие...

Паргачевский отплыл на своей лодке с гребцами на рассвете, а Бестужев тронулся в путь, выждав, когда солнце и ветер разгонят туманы. Прорываясь сквозь отроги Большого Хингана, Амур несся мощно, величаво.

Баржи шли по стремнине легко, быстро. Но к вечеру двадцать седьмого июня густой туман, выплыв из горных долин, перекрыл видимость. Глянув на карту, Бестужев понял, что они вышли к устью реки Урки, которая стала сносить баржи вправо, и приказал причалить к левому берегу.

За ужином он сказал, что именно здесь двести семь лет назад вышел на Амур Ерофей Хабаров, а Василий Поярков – на шесть лет раньше по Зее. Снизу донесся чей-то крик.

– Кто-то из наших, – забеспокоился Бестужев. – Может, помощь нужна?

– Сейчас уже поздно, – ответил Павел.

– А вдруг беда какая? Нет, надо съездить.

– Одного вас не пущу, мало ли что? – Павел взял штуцер, выдавшее виды ружье.

– Не ждите нас, мы там заночуем, – сказал Бестужев.

– Если все будет хорошо, – мрачно пошутил Павел.

– А как мы узнаем, все ли в порядке? – спросил Чурин.

– Ххак-хак-хак! – вдруг рявкнул по-гураньи Павел.

– Ты что? – отшатнулся Чурин. – Ну чисто гуран!

– Это и будет знак, что все хорошо, – пояснил Павел. – И вы так же ответьте, когда услышите.

Сев в оморочку, Бестужев оттолкнулся от баржи. Несколькими взмахами весла Павел вывел лодку на стремнину. Бестужев попробовал достать дно веслом, но оно, уйдя с рукоятью под воду, не дошло до него. Павел перестал грести: течение несло и без того быстро. Вода журчала на перекатах, ветер шевелил листву, снося недавно появившихся комаров. Вскоре сквозь кусты на левом берегу замелькал огонь костра, послышались голоса. Бестужев бесшумно подрулил лодку к берегу.

– Гуран рядом ходит, – говорил кто-то, – вот бы подстрелить.

Бестужев и Павел вышли из лодки. Подойдя вплотную, Павел вдруг издал ужасный гураный крик. Те, кто стоял, упали на землю, а лежавшие вскочили на ноги. Но, увидев Бестужева с Павлом, успокоились.

– Господи, – перекрестился Пьянков, – да нешто так можно?

Павел, довольный переполохом, объяснил, что это условный знак.

Послышался ответный крик, поданный Чуриным.

– Во – откликаются! – улыбнулся Павел.

– Три баржи здесь, а где остальные? – спросил Бестужев.

– Прямо не знаю, то ли вперед ушли, то ли отстали, – ответил Пьянков.

---

<sup>12</sup> Одно из тунгусских племен.

– Как же так? Надо держаться вместе!

– Канаты рвутся, два якоря потеряли, – оправдывался Пьянков.

Тут от баржи к костру двинулся какой-то взьерошенный мужик. Прихрамывая на одну ногу, он шел с явной недоброй решимостью.

– А! Господин адмирал пожаловал! – сказал он, приблизившись, и неожиданно, как-то по-рысьи кинулся на Бестужева и схватил за грудки сильными жилистыми руками. – Да я тебя, офицерское отродье, щас при всех кончу!

Павел перехватил руки мужика, хотел вывернуть их, но Бестужев остановил:

– погоди, Павел, дай поговорить.

Тот нехотя отпустил мужика – ничего себе разговор, – но остался рядом, готовый в любой момент прийти на помощь.

– Об чем говорить-то? – от мужика несло перегаром. – Каторжанин я! Такой, как ты, меня в Сибирь загнал!

– Брось дуришь, Митрофан, – вмешался Пьянков. – Они ведь тоже на каторге были!

– Х-ха! Ты его каторгу с моей не равняй! Я вот десять лет в Акатуе отбухал!

– Смотри, Митрофан, – Бестужев показал свои запястья. Тот глянул и, увидев рубцы от кандалов, оторопело заморгал.

– В Акатуе друг мой погиб, Лунин...

– Лунин, говоришь? Дак я могилу ему копал...

– Могилу ему выкопали те, кто тебя мучил!

– Ты в сам-деле его друг?

– Ровно десять лет в Чите и Петровском Заводе с ним отбыл. А он ведь тоже офицер.

– Прости, адмирал, – опустив голову, сказал Митрофан.

– Слава богу, – обрадовался Пьянков. – Да садитесь вы...

– Слушай, Митрофан, а как умер Лунин? – спросил Бестужев.

– Темное дело. Наверняка пособили, живодеры. На вид ему за семьдесят было – беззубый, седой как лунь, а как вкопали крест, гляжу – ему всего пятьдесят восемь...

– Знаешь хоть, за что его сослали?

– Да письма, говорят, какие-то писал.

– Не какие-то, а против царя, да такие, что его во второй раз арестовали.

– Ничего про то мы не знали, но чувствовали – не простой он человек. Его и стражники не то что боялись, но как-то опасались. Глазищи были – глянет, как перед господом богом трепетали некоторые...

– Ладно, давайте ужинать, – Пьянков начал разливать уху.

– Вкусно, – одобрил Бестужев. – Кто ловит-то?

– Да он же, – кивнул на Митрофана Пьянков, – и такой мастак!

– Откуда родом? – спросил Бестужев.

– С Кубани, из Усть-Лабы.

– Как же сюда попал?

– Офицера одного чуть не прикончил, – буркнул Митрофан.

– Оттого ты и «уважаешь» их...

– Шибко лютый был, чуть что – в зубы. Не стерпел однажды, ответил ему. Скрутили, сквозь строй прогнали, еле жив остался...

– Будя прошлое ворошить, сказал Пьянков, – спать надо.

## АЛБАЗИН

Причалив к берегу, Бестужев с Павлом пошли в сторону бывшего острога. Высокий холм, когда-то огороженный крепостным валом, зарос крапивой, буйной полынью.

– Какой маленький острог! – удивился Павел, оглядывая остатки крепости. – Примерно по тридцать саженой валы, – прикинул он на глаз, – Как же албазинцы сдерживали осаду тысячных войск?



Перешагнув через канаву, заполненную тухлой водой с множеством лягушек, они поднялись на вал и увидели обломки кирпича у бывших печей, ржавые ядра, глиняные черенки, остатки полусгоревших трухлявых бревен, между которыми валялись человеческие кости и черепа. Порыв ветра закрутил пыль, закачал стебли конопли. Что-то зловещее почудилось в вихрях древнего пепла и пыли, словно чьи-то потревоженные души взметнулись и отлетели в тень и тишину леса. Судя по останкам крепостной стены, с каждой стороны было всего по четыре амбразуры для пушек.

Бестужев рассказал Павлу все, что знал об этой крепости. Основал ее Хабаров. После него здесь атаманил Онуфрий Степанов. Когда он пошел на Сунгари и погиб там, Албазин забросили. Но через несколько лет острог был восстановлен. В тысяча шестьсот восемьдесят пятом году к крепости подошло огромное войско маньчжуров – более пяти тысяч. А острог защищало всего четыреста пятьдесят человек, в основном мирные жители – землепашцы, торговцы. Маньчжуры буквально сровняли Албазин с землей. Помощь из Нерчинска опоздала. Казаки вновь восстановили острог. Узнав об этом, хан Канси на следующий год послал еще большее войско, но и русские подготовились серьезнее. Оборону поначалу возглавлял Толбузин, после его гибели командование взял Бейтон. Несмотря на голод, холод, русские целый год выдерживали осаду многотысячного войска. Маньчжурам тоже было несладко – многие погибли от пуль, ядер защитников крепости, еще больше от голода и цинги. Только после подписания Нерчинского трактата русские сами разрушили и покинули Албазин.

– Между прочим, икону, которой нас благословляли в Атамановке, вывезли отсюда.

– А как же те, что до того попали в плен?

– Их заставили служить в Пекине в императорской гвардии. Представляешь, бородатые русские мужики при дворце богдыхана! А другие занялись ремеслом, построили разные мастерские, мыловаренный завод, позже им разрешили возвести церковь и даже целый монастырь. Потомки албазинцев, теряя славянский облик, – женились-то на китайках, русских женщин не было, – сохраняли свои обычаи, одежды. А однажды отчего-то подняли бунт. Многих казнили, а остальных выслали в Кульджу, к Средней Азии. И вот, говорят, недавно один семипалатинский купец поехал туда и встретился с их потомками. Увидев его, они, по облику совершенные китайцы, со слезами на глазах бросились к нему и стали обнимать...

Пройдя вниз по течению, Бестужев и Павел увидели невысокие могильные холмики, кое-как сколоченные кресты, многие из которых уже покосились и попадали. Некоторые могилы разрыты зверями.

– И похоронить путем не могли, – вздохнул Павел.

– Те, что хоронили, сами еле держались на ногах, долбить землю не могли, – объяснил Бестужев.

На одном из крестов надпись: «Есаул Забелло 1826–1856. Окончил Виленский университет. Служил лекарем Амурского казачьего полка. Умер от цинги и тифа. Мир праху твоему».

– Всего тридцать лет, – качнул головой Павел.

– И лежит рядом с теми, кто погиб почти три века назад, – сказал Бестужев. – Костями легли за Россию и те и другие...

## МАЛЪЯНГА

Ниже Албазина плыть стало труднее. Разлившись в широкой долине бесчисленными протоками, Амур превратился в лабиринт с ловушками, одна коварнее другой. Решив найти проводника, Бестужев с Чуриным поплыли впереди своего отряда. Часа через два он увидел на берегу двух женщин с голыми ребятишками возле них. Бестужев стал подзывать их к себе, но они не тронулись с места. Тут из-за кустов вышел тунгус с жиденькими усами и бородкой. Бестужев объяснил ему, что им нужен проводник, и попросил подойти всех

поближе. Однако женщина увела детишек в лес, а та, что помоложе, неуверенно двинулась к ним. Вблизи она оказалась совсем юной девушкой.

– Их шибко боис чужой люди, – пояснил тунгус – Манзура воровай наши женщин.

– Мы вас не обидим, – сказал Бестужев.

– Моя манзура не боис, олосы обиду не давай!

– Правильно, – улыбнулся Бестужев, – русские в обиду не дадут. Ну что, поедешь с нами?

– Твоя вино еся? – спросил тот.

– Есть, есть. Но знаешь ли ты дорогу?

– Холосо знай, но сначала вино давай.

Бестужев послал Чурина к лодке за бутылкой и спросил, как их зовут. Тунгус назвал себя Мальянгой, а дочь – Буриной. Когда Чурина налил ему вина в кружку, Мальянга попросил и для дочери. Бестужев удивился, не рано ли, сколько ей лет?

– Ее тридцать два год, – ответил отец.

– Да что ты, батя, – изумился Чурина, – девчонка ведь!

– Наши манегри – зима год и лето год.

– А! – догадался Бестужев, – тогда ей шестнадцать. Где пить-то научились?

– Манзура соболь вино меняй. Их кунеза – люди нехолосый, нас обманывай...

Выпив, Мальянга похвастал, что недавно провел Муравьева в Усть-Зею. Бестужев сначала не поверил, но когда Мальянга сказал, что Муравьев – «селдитый, по холосый», стало ясно, что речь действительно о нем и что проводник попался знающий.

Мальянгу посадили на головную баржу. Поджав под себя ноги, он расположился у носовой бабки, время от времени крича: «Лево давай!», «Право давай!» Когда он снова попросил вина, Бестужев велел подать зеленого чаю с баранками. Мальянга кисло глянул на кружку, отхлебнул чуток и сказал:

– Селдитый начальник, но холосый.

– Так вот почему Муравьев сердитый! – засмеялся Чурина.

– Ваша – мало-мало, а Муравьев – о! шибко селдитый!

Кончив пить чай, Мальянга, не меняя позы, раскурил трубку.

– Как ноги не отекут? Ну прямо бурхан! – сказал Павел.

– Бурхан и есть, – подтвердил Бестужев, – бог в своем деле.

– Право гляди! – показал Мальянга на остров, посреди которого виднелось что-то белое.

– Это скелеты, – разглядел в подзорную трубу Бестужев. – Опять солдаты Облеухова. Видать, все замерзли.

Чуть ниже Мальянга показал еще один остров с грудями человеческих костей.

– Нет, не триста погибло, – вздохнул Бестужев, – гораздо больше...

Тягостное молчание воцарилось на барже.

Тишину нарушали лишь команды Мальянги, скрип весел-потесей и плеск воды под их ударами. Более ста верст прошли за день, и лишь туман задержал их вечером.

Насколько хорошо плыли, настолько неудачно причалили. На одной из пьянковских барж оборвался канат с якорем, и она села на мель, преградив путь остальным. Снова едва не столкнулись баржи, но, обходя застрявшую, оказались на другой мели. Поняв, что дело обернется задержкой, Бестужев очень расстроился. Мальянга не решался подступить к нему, потом все же не выдержал и попросил вина. Бестужев махнул рукой, велел дать бутылку, но чтоб тот не пил все разом. Хмурый Павел, играя желваками, сказал, что его так и колотит от Пьянкова и он готов взять на себя грех – высечь виновных.

– Мое терпение тоже иссякает, – сказал Бестужев, – но, знаешь, никто из нас, пятерых братьев, не бил подчиненных. Не дело это.

– Но увещевания для них, что комариный звон...

Вскоре с баржи спрыгнул Мальянга и направился к костру.

– Моя манзура не боис! – крикнул он, грозя кулаком на правый берег. – Олосы обиду

не давай! Олосы – люди холосый!

– Ну-ка, старик, ложись спать! – Бестужев расстелил шинель у костра, Мальянга послушно лег и сразу уснул.

– Смотрю на вас, Михаил Александрович, – сказал Чурин, – и думаю, чего это вы пошли в плавание. У меня ни семьи, ни детей, и то клянущий день, когда согласился.

– Потому и пошел, что семья, дети.

– Но как вам удастся сохранять спокойствие? Другой давно бы не выдержал...

– И высек, кого надо, – добавил Павел. – Нет, ей-богу пора!

– Как там Митрофан? – спросил Бестужев.

– Словно другой стал. Стараются вовсю.

– Вот видите, а избили бы – сбежал бы...

– Он-то понял, – возразил Павел, – но не все доброе слово ценят. Вы с ними по-хорошему, а они над вами же смеются.

– А что, если заменить Пьянкова Митрофаном? – спросил Бестужев.

Чурин удивленно глянул на него, подумал и сказал, что хуже, пожалуй, не будет.

– Лево давай! – вдруг раздался крик. Все вздрогнули, но, поняв, что это кричит Мальянга, засмеялись.

– Молодец, даже во сне правит, – улыбнулся Бестужев.

Утром Бестужев услышал сквозь сон несколько выстрелов. Открыв глаза, он увидел, что Мальянги нет, а остальные еще спят. Через некоторое время тот подошел к костру со связкой крупных крикв.

– Моя вставай рано, бери ружье, стыреляй токо три раз.

– И дюжину уток! Молодец!

– Моя патроны жалей, – довольный похвалой, сказал Мальянга. Не разрезая уток, он стал деревянным крючком вынимать потроха, потом наскреб глины, густо развел ее водой и начал замазывать перья. Бестужев с любопытством смотрел, что будет дальше. А Мальянга выкопал неглубокую квадратную ямку, разложил в ней уток, засыпал слоем золы и песка, наложил сверху дров и развел жаркий костер.

Пока Бестужев ходил к воде умываться, Мальянга поддерживал ровный сильный огонь. Когда дрова прогорели, он разгреб уголья, золу и достал одну из уток, похожую на обугленный горшок из глины. Постучав длинным ножом по затвердевшей, обожженной корке, он секущим ударом развалил утку на две части. Горячий пар вместе с аппетитным запахом повалил из обеих половин. Взяв одну из них, Мальянга подсолил и подал ее Бестужеву. Столь необычное и быстро приготовленное блюдо оказалось очень вкусным. Мальянга поставил уток перед каждым. От удовольствия Павел жмурился, как кот, а потом спросил, как же Мальянга убрал потроха. Тот взял крючок, поднес к заду Павла.

– Сюда толкай, потом обратно.

Дружный хохот раздался в ответ на неожиданную выходку Мальянги.

– Это не мне, а Пьянкову надо сделать.

– А сам-то чего не ешь? – спросил Бестужев. Мальянга замялся, потом робко сказал:

– Моя мало-мало опохмела надо.

– Нальем ему, – сказал Павел. – Сегодня не плыть, а он так ублажил нас.

Позавтракав, Бестужев с Павлом направились к баржам Пьянкова. К удивлению, там еще все спали, лишь Митрофан сидел с удочкой на берегу. Несколько больших сазанов лежало в траве, пошевеливая жабрами и хвостами. Поздоровавшись, Бестужев спросил, чего он не будит людей.

– Пьянков спит, а я-то при чем?

Тут запрыгал поплавок. Митрофан ловко подсек крупную рыбу, осторожно повел ее к себе и, когда она подошла к берегу, поддел ее сачком из прутьев. Полюбовавшись сазаном, рассмотрев сачок и сделанный из булавки крючок, Бестужев сказал:

– Золотые руки у тебя! А не взялся бы ты вместо Льянкова?..

Митрофан прямо-таки оторопел.

– Станут ли меня слушать?

– Отдам приказ – станут!

Из грязи да в князи? Нет, погодите маленько, подумать надо.

Бестужев попросил Павла разбудить людей. Тот поднялся на баржу, открыл люк трюма и отшатнулся.

– Ну и дух, хоть топор вешай! Нет, чего мне травиться.

Встав на четвереньки и сложив ладони рупором, он рывкнул по-гураньи. Звериный крик в гулком трюме прозвучал сильнее, чем тогда, у костра, и вмиг поднял людей. Заспанные мужики стали выбираться на палубу. Пьянков вылез позже всех.

– Истый капитан, – усмехнулся Бестужев, – последним покидаешь корабль.

## ПИСЬМА ОТ РОДНЫХ

В это время на реке показалась яхта под парусом. Ветер и течение быстро несли ее по стремнине. Когда она приблизилась, Бестужев узнал в одном из офицеров Юлия Раевского, адъютанта Корсакова.

– Михаил Александрович, мы вас ищем, боялись разминуться в протоках... Знакомьтесь, Бронислав Казимирович Кукель, чиновник по особым поручениям.

– Не брат ли Болеслава Казимировича?

– Разумеется, – отдав честь, сказал тот – Поклон вам от него и Луизы Антуан.

– А вот вам письма, – Юлии достал из сумки два конверта.

Бестужев пригласил Раевского и Кукеля к своей стоянке и, пока они плыли к ней, начал читать письма.

*«Дорогой наш Мишель!*

*Пишем тебе в Читу в надежде, что письмо застанет тебя у Дмитрия Иринарховича до твоего отплытия. Мы живем, слава богу, ничего. Леля и Коля спрашивают, когда придет папочка. Леля недавно простыла. Не доглядели – забежала в лужу. Но болеет не сильно.*

*На пасху красили яйца, стряпали куличи, освятили в церкви, в которой малевал иконы наш брат Николай, царство ему небесное. Недавно ходили к нему, холмик поправили. Как сошел снег, Оля посадила луковицы сараны и лилий. Поговорили с ним, поплакали над могилой. Лушниковы и Старцевы хотят заказать крест чугунный в Петровском Заводе, спасибо им за все. Единственный ты остался у нас из пятерых братьев. Да хранит тебя господь в твоём многотрудном плаваньи!*

*С Мери ладим, не беспокойся. Правда, иной раз она бранится по пустякам, но мы понимаем, что жто от тоски по тебе. С отъездом в Москву пока обождем, хотя Саша 13 зовет к себе. Маша зачем-то написала ему о неладах с Мери, он беспокоится, торопит. Дай бог, не придется тебе плыть в Америку, тогда мы скорее увидим тебя. Мария и Ольга кланяются. Оля просит прислать семян цветов, каких у нас нет и какие тебе понравятся.*

*Целую тебя. Елена».*

Сложив письмо, Бестужев распечатал второй конверт. Жена написала отдельно от сестер. Значит, что-то не так.

*«Здравствуй, дорогой муж Михаил! Пишит тебе твоя жена Мери. Во первых строках своего письма спешу сообщить, что дочь наша Леля выздоравливает, а Коленька – тьфу-тьфу-тьфу – здоров. Спасибо доктору Кельбергу, по несколько раз в день бывал и сейчас заглядывает каждодневно. Но господь за какие-то грехи ниспослал новое испытание – захворала чахоткой сестра моя Наталья. Кельберг боится, как бы со мной того не вышло.*

---

13 А. В. Бестужев (1836–1899) кузен братьев-декабристов, участник Севастопольской обороны и Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Помогал М. Бестужеву, его сестрам и детям после возвращения их из Сибири. Ему же довелось и хоронить их в Москве.

*А я думаю, на все воля божья. С сестрами твоими стараюсь ладить, но больно горделивы оне. Елена так из-за ерунды днями на меня не смотрит, а мне каково? Но ты не беспокойся. Получив наемни твое письмо, в коем ты советовал жить в мире и согласии, я пытаюсь исполнять мужний наказ и для того реже разговариваю и не замечаю их. Не пиши ты, Христа ради, по-французски. Все, что ты меня учил, я уж забыла и мне надо лишний раз обращаться к ним. А в энту Америку не езжай, шибко далеко, а я по тебе соскучалась, все молю бога хоть во сне увидеть, а о том, чтоб наяву свидеться, сильно мечтаю.*

*Крепко целую тибя, твоя жена Мери».*

Закончив читать, Бестужев невольно вздохнул: как ни учил жену грамоте, пишет с ошибками. Главное же, нет согласия в доме.

Когда они подплыли к месту стоянки, Бестужев спросил Юлия об отце. С Владимиром Федосеевичем Раевским он лично не был знаком, но много слышал о нем как об отважном воине, участнике Бородинской битвы, награжденном золотой шпагой с надписью «За храбрость», знал о дружбе его с Пушкиным. Став одним из создателей тайного общества, Раевский был арестован за три года до восстания. Некоторое время они находились одновременно в Петропавловской крепости, но судьба не свела их ни там, ни в Сибири.

Юлий сказал, что отец, несмотря на свои шестьдесят два года, еще крепок, ни одного седого волоса, ведет большое хозяйство под Иркутском, собирая с бахчи более двухсот арбузов и дынь.

Накормив Юлия и Кукеля, Бестужев пошел провожать их и расспросил о новостях. Они рассказали, что Путятин морем направился в Печилийский залив, чтобы встретиться с богдыханом. Эскадра адмирала Сеймура обстреляла Кантон с моря, город занят англичанами и французами.

– Как бы Сеймур не грянул на Амур, – скаламбурил Бестужев. – До чего же наглы эти иноземцы! Мало им колоний во всех морях, океанах – еще и Китай подавай! Теперь представьте, как выглядит Путятин в компании с англичанами, американцами, французами в глазах китайцев? Вопросы о границе по Амуру надо ставить здесь, а не там, на борту военного корабля.

Раевский и Кукель переглянулись, удивленные справедливостью этих слов. Юлий спросил, можно ли передать их Муравьеву. Бестужев ответил, что не возражает, и крепко пожал руки молодым офицерам. Они сели в свою яхту и отчалили от берега.

## У КОСТРА

Вечером Бестужев пошел берегом к пьянковским баржам. Подойдя к костру, он увидел, что все ужинают. Митрофан предложил поесть, но Бестужев ответил, что Мальянга накормил всех белужьей ухой вдосталь. Усталые, мокрые от воды и пота рабочие ели торопливо, жадно, как-то по-животному. То и дело поглядывая на Бестужева, они недоумевали, чего он пришел. Видя, что он настроен спокойно, они все же держались настороженно.

Бестужев смотрел на них и думал, до чего же некрасивы все. Но тут же устыдился своей мысли: как еще могут выглядеть люди, которые всю жизнь унижались и на родине, и здесь, в Сибири? Неправый суд, этап, каторга, жестокость охранников и горных мастеров, полная беспросветность сломят кого угодно. Поневоле потеряешь человеческий облик, когда к тебе относятся, как к скоту. И как на них поднять руку?

Даже Пьянков выглядит рабом под бременем власти, которая противопоказана ему и в малой доле. Он честный человек, но командовать людьми, для которых труд – тяжелое ярмо, не в состоянии. Но сможет ли заменить его Митрофан? Почувствовав на себе взгляд Бестужева, тот смутился.

– Ну как, вкусно? – решил приободрить его Бестужев.

– Царская еда, – ответил тот. – Спасибо Мальянге.

– Дикарь дикарем, а как ловко поймал, – сказал Шишлов, помощник Пьянкова,

нахальный, развязный мужик.

– Не стоит называть его так, – нахмурился Бестужев. – Тайгу, реки, где он кочует, Мальянга знает почище ученых мужей. Смотрите, как ведет нас, а ведь ни карт, ни компаса! А дай им – тунгусам, бурятам, якутам возможность учиться, они быстро нагонят просвещенные народы.

– Ну уж, – хмыкнул Шишлов, – нехристи, басурмане!

– У них своя вера – поклоняются духам предков, животным, а многие сейчас принимают нашу веру...

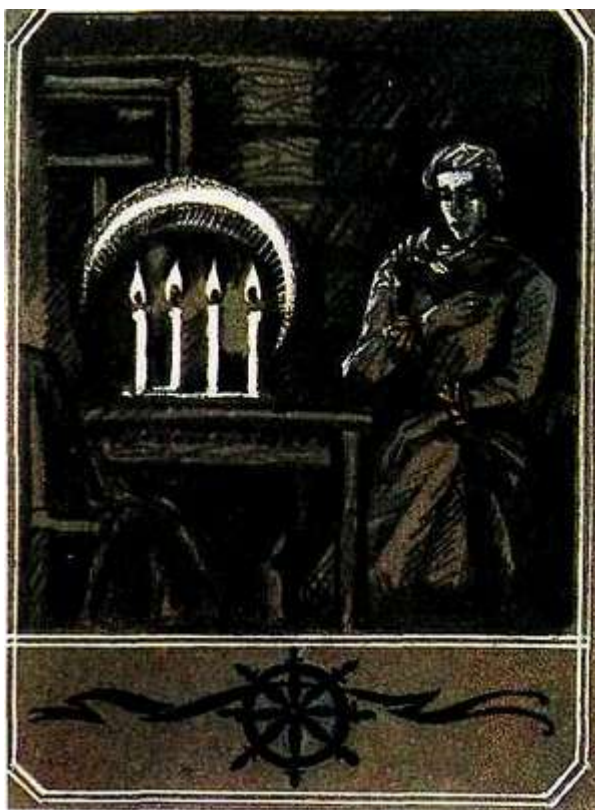
– На Ангаре среди крещеных бурят полно шаманов, – перебил Шишлов, – какие из них христиане, если они после церкви камланье под бубен слушают?

– Буряты веками были шаманистами, сразу отвыкнуть трудно.

– То-то и оно! Так что не ровня нам эти ошарашки! Бестужев передернулся при этих словах, но сдержался.

– Отчего ты считаешь себя выше?

– Да я вольный казак, на передовом рубеже Расею от басурманов охраняю!



– Ты вольный казак? Да Мальянга в тыщу раз свободнее тебя! Да и сколько инородцев теперь в казачьем войске..

– Какие это казаки, – упирался Шишлов, – унтовое войско, и то без году неделя.

– Известно ли тебе, что слово «казак» степного происхождения? Знаешь ли ты, что Селенгинский полк, в котором сражались и буряты, еще на Бородинском поле за Русь стоял?

– Не-ет, – удивленно протянул Шишлов.

– А откуда разные веры? – спросил Митрофан. Мы вот Лунина хоронили, священник неправославный был.

– Католик. А веры разные потому, что всяк народ своего бога имеет. Монголы, китайцы – Будду, татары, турки – Аллаха, но и в одной вере бывают разные обряды, молятся по-разному.

– Много разного люда в Расее, – неожиданно поддержал Пьянков, – и для всех она – Русь-матушка.

– Кому мать, а кому мачеха, – вдруг сказал семейский парень. – Никого так по Расее не гоняли, как нас, староверов, коренных россиян. И царь, и Никон. А сколько в гари погибло, когда мы сами себя жгли. Токо за Байкалом и нашли покой...

Разговор занимался, как костер, вовлекая все новых собеседников, и это радовало Бестужева.

– Говорить с вами интересно. – сказал он, – но что-то ни разу не слышал у вас несен.

– До песен ли? – вздохнул Пьянков. – Не плавание – каторга.

– А может, с песнями и работа лучше пойдет?

– Да нет у нас певцов.

– А в Бянкине кто пел? – спросил Бестужев.

– То не наши, а я и не помню, когда пел, – сказал Митрофан.

– А вот эту знаешь? – Бестужев запел глуховатым голосом.

Сосватал я себе неволю,  
Мой жребий – слезы и тоска...

– Так это ж «Узник», как не знать, – ответил Митрофан. – Токо начинается не так.

– Вот и давай, – поймал его на слове Бестужев, тот замялся, а рабочие начали просить Митрофана, давай, мол, чего уж там. Тот поежился, потом махнул рукой и хрипло запел:

Не слышно шума городского,  
За Невской башней тишина...

Его поддержали сначала Бестужев, потом и другие.

Прости, отчизна, край любезный!  
Прости, мой дом, моя семья!  
Здесь за решеткою железной  
Навек от вас сокрылся я.

Песня закончилась, все молчали. Митрофан задумчиво глядел в огонь, смущаясь, что решил петь, но никто не шутил, все задумались, вспоминая свое заточение.

– Славно спели, – улыбнулся Бестужев, – Ну, отдыхайте, а я пойду.

## ПАРОХОД «ЛЕНА»

Сняв с мели последнюю баржу, наутро тронулись в путь. Амур стал так широк, что трудно было понять, где берега, а где острова. Но пейзажи утомительно однообразны. Павел и Чурин говорили, что на Ингоде и Шилке гораздо красивее.

– И мне Амур пока не глянется, – согласился Бестужев. – Чего ждал, того не увидел.

Тут Мальянга обернулся и сказал, что снизу идет пароход. Все прислушались, но ничего не услышали.

– Почудилось, Мальянга, – решил Чурин.

– Твоя уши нет, слушай шибче.

И действительно, вскоре за поворотом над деревьями показался черный дым, а затем и пароход. Это было небольшое речное судно, саженой пятнадцать длиной. Бестужев глянул в

подзорную трубу и узнал, что это «Лена». Когда пароход приблизился, оттуда крикнули в рупор, нет ли здесь адмирала Бестужева.

– Плывите вниз, я вас догоню, – Бестужев спустился в оморочку, подплыл к пароходу, который пришвартовался к острову. Двое морских офицеров помогли Бестужеву подняться по веревочной лестнице и представились один за другим:

– Капитан третьего ранга Назимов!

– Капитан-лейтенант Купреянов!

– До чего похожи на своих отцов! – улыбнулся Бестужев. – Я знал их еще по Кронштадту. Вот вас, – обратился он к Назимову, – держал на руках, когда вам было три года. А с вашим отцом, – повернулся он к Купреянову, – учился в Морском корпусе...

Измумлению офицеров не было предела, и они с особым почтением пожали руку давнему другу своих отцов, который вполне мог бы стать действительным адмиралом или занять пост, какой доверен отцу Купреянова Ивану Антоновичу – главному правителю Российско-Американской компании.

Капитан «Лены» Сухомлин приказал матросам сойти на берег, чтобы напилить и нарубить дров, а потом сказал Бестужеву, что генерал-губернатор в Усть-Зее гневается из-за задержки каравана. Бестужев ответил, что Кукель с Раевским, наверное, уже там и объяснили причины опоздания. Тут мимо парохода начали проходить пьянковские баржи.

– Вот еще одна эскадра моей флотилии, – усмехнулся он. – Мне хотелось бы отправить с вами письмо.

Сухомлин дал перо и бумагу, Бестужев начал писать.

*«Мои дорогие сестры, мой друг Мери, милые птенцы!*

*Пользуясь неожиданной оказией, спешу сообщить вам, что мое плавание или, лучше сказать, моисеево хождение посуху, задерживается из-за множества мелей. Письма ваши, милые сестры и Мери, несказанно обрадовали меня. Хорошо, что Леля выздоровела и Коля здоров. Еще раз прошу вас, живите в мире и согласии. Обнимаю и целую всех вас, без изъятия.*

*Вас истинно любящий*

*М. Бестужев».*

Запечатав письмо, он обнял Назимова и Купреянова, попрощался с Сухомлиным и спустился в лодку. Они стояли у борта до тех пор, пока Бестужев не скрылся за поворотом.

После встречи с ними он думал, что и у него могли бы быть такие же взрослые сыновья, как эти капитаны. Яков Купреянов ехал в Сретенск, чтобы привести оттуда пароход «Аргупь», а Николай Назимов – в Кронштадт, чтобы принять под свое командование военный корвет «Оливуца».

Последний раз Бестужев видел отца Назимова весной 1825 года, когда приезжал в Кронштадт с Рылеевым и братом Николаем. Тогда Мишель уже был штабс-капитаном Московского полка. Собственно, перевод из Кронштадта в Петербург, а точнее, из флота в армию, и был поворотным пунктом в его судьбе. Решение о переходе созрело не сразу.

Сблизившись с другом брата Николая Константином Горсоном, которому посчастливилось побывать в двухлетнем походе к Льдинному материка, Бестужев загорелся мечтой о кругосветном путешествии если не к Южному полюсу, то хотя бы к Русской Америке. Горсон надеялся получить под свое командование новый корабль и взять с собой Бестужева.

Осенью 1823 года началась эпопея с «Эмгейтеном». Всю зиму они провели в холодном здании Адмиралтейства за чертежами и расчетами для нового размещения снастей и вооружения. Коченели от холода, слепли от тусклого света сальных свечей. Утомительные хлопоты по расчету корабля усложнялись из-за противодействия чиновников Адмиралтейства, боявшихся малейших нововведений. Бестужев называл их крысами, которые живут тем, что грызут казенные интересы.

Однако в мае следующего года Морской штаб вдруг начал уделять их работе большее внимание. Оказалось, великий князь Николай Павлович решил совершить вояж с супругой в



Германию, а так как для этого ни одного годного корабля не нашлось, морской министр де Траверсе решил ускорить строительство «Эмгейтена». Работа закипела, помимо матросов экипажа, насчитывающего более двухсот человек, на корабле находилось до пятисот строителей.

84-пушечный линейный корабль был подготовлен, как жених к свадьбе. С гордостью и любовью смотрели на свое детище Торсон и Бестужев. Однако незадолго перед плаванием их под каким-то предлогом вызвали в Петербург, а на «Эмгейтен» назначили другого капитана. В это время на корабль прибыл император с великими князьями. Даже им, плохо разбиравшимся во флотских делах, бросились в глаза необычайное устройство и изящная отделка корабля. Брат Петр, присутствовавший при этом, позже рассказал Мишелю, что, когда государь стал хвалить, благодарить маркиза де Траверсе и новоиспеченного капитана за новый корабль, никто не осмелился назвать имен Торсона и Бестужева. А вскоре великий князь Николай с супругой и огромной свитой придворных отбыл в плавание.

Обычно спокойный Торсон на этот раз не мог перенести незаслуженной обиды и заявил начальнику Морского штаба Моллеру, что доложит обо всем императору. Испугавшись возможных неприятностей, тот употребил все средства для успокоения Торсона – произвел его в капитан-лейтенанты, сделал своим адъютантом и назначил командиром морской кругосветной экспедиции.

Получив право обустроить новый корабль и набрать экипаж, Торсон воспрянул духом. Вдвоем с Бестужевым, которого он в числе первых включил в штат, они снова днями и ночами проектировали судно, вычерчивали на карте мира маршруты путешествия, обсуждали кандидатов в экипаж.

Однако дальнейшие события убедили их в том, что и на этот раз Моллер может отступить от своего слова. 7 ноября 1824 года, когда в Петербурге началось наводнение, император Александр сурово отчитал Моллера за то, что тот не сделал никаких распоряжений. Начальник Морского штаба вернулся из Зимнего дворца в таком состоянии, что Торсон поразился его паническому виду и понял: более всего Моллер напуган не бурей и наводнением, а гневом императора. Под стать ему вели себя и чиновники морского ведомства, которые, действительно, как крысы, сбились на верхнем этаже Адмиралтейства, в страхе и отчаянии наблюдая, как мимо памятника Петру плыли бочки, бревна, трупы утопленников и снесенные крыши домов.

Убедившись в том, что Моллер и его помощники не в состоянии предпринять что-либо, Торсон приказал Михаилу Кюхельбекеру, Дмитрию Завалишину, Петру Беляеву и другим офицерам и матросам сесть в лодки и вместе с ними отправился спасать людей. Михаил Бестужев находился в то время на башне высокой обсерватории, видел все и написал повесть о наводнении. Но морской министр запретил печатать ее.

Наводнение обнажило гнилость морского ведомства. Бестужеву и Торсону стало ясно, что если оно проявило себя так в борьбе со стихией, то чего ожидать от него во время войны? Флот, как и армию, разьедали те же беды – стремление к внешнему лоску, парадности. Вместо множества экипажей, приписанных к судам, был создан один – Гвардейский экипаж, главной задачей которого было проводить морские прогулки императора и членов его семьи.

Оснащение кораблей, не имевших постоянных экипажей, расхищалось прежде всего теми, кто сторожил их зимой. Многие суда давно не годились к плаваниям, гнили на якорях, но никто не осмеливался списывать их чтобы не уменьшить численность флота. Вся забота о кораблях состояла лишь в том, что каждую весну их борта обновлялись свежей краской. В обучении моряков на первом плане были не навыки судовождения и мастерство морского боя, а фронт и шагистика. Поэтому большинство офицеров и матросов Гвардейского экипажа плавали лишь по «Маркизовой луже», как моряки называли восточную часть Финского залива в честь морского министра маркиза де Траверсе.

Рассуждая о тяжелом состоянии флота, Торсон однажды заявил Бестужеву, что, прежде чем преобразовывать флот, необходимо изменить государственное устройство. И,

доверившись, рассказал ему о существовании тайного общества, которое ставит перед собой эту цель. За годы службы на Балтике и Белом море Бестужев своими глазами увидел все язвы, разъедавшие флот, а во время заграничных плаваний получил возможность сравнить не только состояние флота, но и общественное устройство разных стран Европы и России. Поэтому он был готов к серьезному решению и попросил Торсона принять его в тайное общество.

Весной 1825 года братья Николай и Александр, уже состоявшие в нем, посоветовали Михаилу в интересах дела оставить флот и перейти в лейб-гвардии Московский полк.

## ЭКЗЕКУЦИЯ

Нагнав баржи, Бестужев начал обходить их и вскоре добрался до своей, передовой. Мальянга вел караван пре восходно. Глянув на карту, Бестужев прикинул, что на следующий день они, пожалуй, дойдут до Усть-Зеи. Он решил продолжить путь ночью, благо тумана не было, а на безоблачном небе светила яркая луна. Однако на рассвете послышались крики сзади. Одна из шишловских барж развернулась и села на мель, две другие из-за нее тоже зацепили дно.

Вынув пистолет, Бестужев выстрелил дуплетом вверх, что означало: всем стать к берегу. Стаи уток поднялись от выстрелов на ближайших протоках, а из-под яра выплыла утка с выводком утят. «Птенцы появились, – удивился Бестужев, – хотя чего странного – июль, середина лета».

– Ну все, Михаил Александрович, долее терпеть нельзя! – решительно заявил Павел. – Пора наказать виновных!

Бестужев, не отвечая, начал раскуривать сигару. Видя, что он колеблется, Павел сказал, что иначе он слагает с себя обязанности урядника. Чурин тоже поддержал его, судя, мол, по всему, эта задержка обойдется в несколько дней и Муравьев окончательно разгневется.

Все верно, все так, но решиться на наказание Бестужев не мог. Вспомнилось, как, придя в Московский полк, он сразу же запретил не только шомпола, но и палки и розги, которыми всюду орудовали и прежний ротный командир, и унтер-офицеры. Поначалу солдаты приняли такое обращение Бестужева за слабость, но в конце концов он сумел завоевать их признание и доверие. Именно потому они без колебания пошли за ним на площадь.

– Ну хорошо, – молвил наконец Бестужев. – Разберемся.

Спустившись в большую лодку, они поплыли к соседним баржам, где Павел взял четырех дюжих парней из охраны, и направились к шишловской барже. Когда они поднялись на ее борт, Шишлов и сплавщики сразу поняли, что дело принимает серьезный оборот, и замерли на местах. Хмурые, заросшие лица, лишь русоволосый Кузьма выделяется почти мальчишеским обликом. Вид у него почему-то затравленный, он даже подрагивает всем телом не то от прохлады, не то от страха.

– Кто у вас кормщик? – спросил Павел. Шишлов указал на Кузьму. Тот по-детски шмыгнул носом.

– С каких пор? У вас же другой!

– Вообще-то я, – буркнул бородатый мужик, – но шас его очередь.

– Что ж ты оплошал? – продолжал допрос Павел.

– Да не под силу одному, эвон весло-то какое!

– Так ты был один? – удивился Бестужев. Кузьма кивнул, опасливо глянув на бородача и Шишлова.

– Но у кормы всегда должно быть три человека! – сказал Павел. – А посему виноват старшой. Взять его! – указал Павел на кормщика.

Помощники схватили его и повалили на палубу. Странно, но тот не стал особенно сопротивляться и просить о милости. А когда Павел начал стегать его бечевою, бородач не кричал, не стонал, а как-то глухо, по-звериному рычал при каждом ударе.

Зрелище было отвратительно Бестужеву, он отошел к борту, отвернулся в сторону, но

увидел, что Кузьма почему-то считает удары, вздрагивая при каждом из них. Так его же наказали кнутом перед отправкой в Сибирь! – вспомнил Бестужев. Не вынеся содроганий Кузьмы, он вдруг закричал: «Хватит!» Павел удивленно глянул на него и спросил, кого теперь.

– Никого! Ишь, понравилось!

– Да что вы? – обиделся Павел – Скажете тоже...

Парни отпустили бородача, тот встал и, кряхтя и сопя, начал надевать рубаху. Заскорузлая от пота, она сразу пропиталась полосами крови, проступавшей сквозь холстину. Бестужев смотрел и невольно удивлялся мужеству и достоинству мужика. А тот, не глядя ни на кого, пошел к корме. Бестужев обеспокоился, как бы он не бросился в воду. Бородач прислонился к кормовому пню, обхватив его руками, и только тогда обернулся. Во взгляде спокойствие, какая-то решимость и нечто вроде любопытства и уважения к Бестужеву. Нет, в воду не бросится, скорее сам кого-то спихнет.

Тут к барже подошла лодка, в которой сидели Пьянков и Митрофан. Подплывая сюда, они все видели и слышали.

– В следующий раз, – тихо сказал Бестужев, – это ожидает всякого, по чьей милости произойдет задержка. И последнее: Пьянков и Шишлов от командования отстраняются. Вместо них будет Митрофан Турчанинов...

Все с изумлением глянули на нового начальника, а тот от неловкости задвигал желваками, глядя на людей из-под густых темных бровей.

Разгружать товары пришлось не на сушу – берег был далеко, а на соседние баржи. Все, что можно, стали перевозить на лодках, а крупные ящики, бочки переносили на носилках из жердей. Рабочие трудились по пояс, а кое-где и по грудь в воде. Мальянгу, спешившего домой, Бестужев отправил обратно с первой же встречной лодкой, дав ему рубаху и более двух рублей серебром.

## ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

К концу следующего дня сверху показалась какая-то пестрая флотилия. Догадавшись, что это переселенцы. Бестужев предупредил Павла, чтобы никого не подпускали к баржам и никто не покидал их. Тот отчалил на оморочке к нижним баржам.

В лучах закатного солнца быстро приближалась лодка с парусом. В ней поднялся офицер Буйвид, давний знакомый Бестужева – не раз заезжал в Селенгинск. С лодки бросили конец, Чурин поймал и закрепил его.

– Вот не думал нагнать, – сказал Буйвид после приветствия.

– Не плавание, Дмитрий Федорович, а мука. Вам-то легче.

– Идем быстро, но бед хватает: люди болеют – животами маются. Несколько уже схоронили. И с женщинами сладу нет, шестьдесят ссыльнокаторжных. Хотел пристать здесь, да мужики ваши могут передрасться из-за них. Так что отправлю баб ниже, а тут стану сам, да и лошадей надо бы выгнать.

– Вот лужок хороший, – показал Бестужев, – становитесь там, а вечером ко мне.

Буйвид поплыл дальше, и вскоре мимо баржи стали проходить плоты. Дети махали руками, приветствуя стоящих на барже Бестужева и Чурина. Прошел плот с лошадьми.

– Гляньте, бабы, какие бравенькие стоят! – послышался крик с очередного плота, накрытого навесом из корья. Из-под него стали выглядывать, а затем и выскакивать женщины.

– В сам-деле brave! Особенно старшой. Сразу видать – гвардеец!

На шум выбрались рабочие из трюма баржи.

– Мужиков-то скоко! Эй, старшой, пришли их к нам!

– И сам приходи!

За первым плотом – второй, и все в том же духе. Да похлеще. И мужики стали отвечать криками, махать руками.

- Совсем одурели бабы, – усмехнулся Чурин.  
– И наши хороши, – сказал Бестужев, видя, как орут, пританцовывают мужики.  
Двое охранников бросились к краю плота, отталкивая женщин.  
– Прочь, бесстыжие! Креста на вас нет!

Третий плот, возбужденный криками первых, оказался самым шумным. Никогда Бестужев не слышал столь грубых шуток, не видел таких циничных жестов.

Одну из девок на краю плота в суতোлке столкнули в воду. Казак, пытаясь удержать ее, упал вслед за ней, но, испугавшись, сразу же забрался обратно. А девку – то ли она захлебнулась, то ли не умела плавать – понесло быстрым течением в сторону.

Видя, что дело может кончиться бедой, Бестужев с Чуриным спрыгнули в лодку и стали грести к тонущей. Голова девушки уже несколько раз скрывалась под водой. Бестужев едва успел схватить ее за волосы и с помощью Чурина затащил в лодку. Она долго надрывно кашляла, а потом зарыдала, пряча лицо в ладонях.

– Ну будет, будет, – стал успокаивать ее Бестужев, погладив по волосам. Девушка глянула на него и утихла. Ей было лет двадцать пять. Мокрое платье облепило ее стройную фигуру. Она прижалась к его ногам, дрожа всем телом.

– Как тебя звать?

– Елизавета... А вас как величать?

– Михаил Александрович, а его – Иван Яковлевич.

– Разве мы не одни? – удивилась она, глянув назад. – Молод еще по отчеству называться.

И столько неприязни было в ее голосе, что Чурин заерзал на доске и спросил, куда грести.

– К плоту, конечно, куда еще. Как ты сюда попала?

– Долгая история, вот сведет господь, расскажу, а сейчас, извините, дайте я вас поцелую, – пригнув голову Бестужева, она целомудренно поцеловала его в щеку. – Спасли...

– В губы его, Лизавета! В губы! – закричали с плота.

– Ишь, отхватила! Сразу двух завлекла!

– Простите их, грешных, – сказала она, поднимаясь на ноги.

Он тоже встал и подал ей руку. И до того красиво и естественно, просто сделал он это, и так женственно, мягко приняла она руку, что шум на плоту вдруг стих. Все невольно залюбовались давно забытой или никогда не виданной картиной. И хоть он был в простой холщовой рубаше и сыромятных сапогах, а она – в мокром драном платье, казалось, будто благородный принц помогает взойти на корабль прекрасной принцессе. Когда женщина ступила на мокрое бревно плота, он осторожно поддержал ее за талию.

– Merci beaucoup! – вдруг, сказала она.

– S'il vous plait! – ответил Бестужев.

– Parlez vous francais? – удивилась она.

– Vous etes tres gentille, je vous aime bien.

– Ici, sur L'Amour, j'entends une declaration d'amour.<sup>14</sup>

– У, стерва! Из-за тебя чуть не утоп! – зарычал вдруг казак и замахнулся на нее. – Прочь от борта, сука!

– Я попрошу вас! – Бестужев произнес это настолько властно и твердо, что казак тут же оробел и опустил руку.

При полном молчании Бестужев с Чуриным отплыли от плота и направились вверх по течению. Женщины провожали взглядами удаляющуюся лодку. Елизавета безотрывно

---

<sup>14</sup> – Большое спасибо!

– Пожалуйста.

– Вы говорите по-французски?

– Вы славная девушка, очень нравитесь мне.

– Здесь, на Амуре, слышу признание в любви (*фр.*).

смотрела вслед, прикрыв глаза ладонью, и, когда Бестужев оглянулся, махнула ему. Он тоже поднял руку. Чурин греб молча, сосредоточенно, а потом спросил:

– Интересно, кто она?

– Трудно сказать. Во всяком случае, не из простых.

– Еще немного – и утонула бы. Странно: рев, крики, а сейчас вдруг тишина.

– Отвыкли от человеческого обращения, вот и поразились: оказывается, есть еще оно на свете...

Когда они вернулись к себе, солнце зашло. Туман наплывал на реку вместе с сумерками. Два плота с лошадьми остановились чуть ниже по течению. Огни костров загорелись на берегу. Кто-то отбивал косу на металлической бабке, стук молотка, отражаясь эхом в зарослях на острове, заметался над рекой. Затем послышались взмахи литовок, шорох скашиваемой травы, позвякивание ботал на шеях лошадей, согнанных с плотов на подножный корм.

А как там дома с сеном? Анай с Эрдынеем обещали накопить, но этого будет мало. Лошадь, две коровы, овцы. Денег много уйдет зимой на покупку сена.

Вскоре к костру Бестужева подошел Буйвид. Бестужев спросил, что это за женщина и как она попала на каторгу.

– Девица Елизавета Шаханова из Екатеринбурга. Была гувернанткой в семье фабриканта, тот стал обхаживать ее, а жениха, инженера, сослал в Верхотурье. Хозяйка выгнала ее, но хозяин продолжал вокруг нее крылом чертить. Тогда фабрикантша поймала ее на улице, вцепилась в волосы. Защищаясь, Елизавета оттолкнула ее, та упала, подняла крик. Ничего страшного не было, но девицу осудили.

– Обычный исход, но еще не кончена жизнь.

– Конечно, в Николаевске выйдет замуж, да и другие тоже.

– Откуда переселенцы?

– Из Забайкалья, – ответил Буйвид и рассказал, что почти все – не по доброй воле. Богатые откупились – нашли вместо себя замену. Но есть и по охоте, из горнозаводских. Положение у них хуже, чем у крепостных – фактически вечнокаторжные. А на Амуре их ждет вольная жизнь. Коров, лошадей, продовольствие получают и денег выдадут.

– Зачем деньги, кругом ведь тайга? – спросил Бестужев.

– Купцы лавки откроют, да и местные племена охотно берут наши деньги, правда, не ассигнациями, а серебром. – Буйвид придвинулся и шепнул на ухо, что везет пять ящиков монет на двадцать пять тысяч рублей.

– Осядут ли переселенцы, не разбегутся ли?

– А кто разрешит? Ни вернуться назад, ни переехать на другое место они права не имеют.

– Но это же по Аракчееву! – воскликнул Бестужев. – Еще муштру осталось ввести!

– Главная задача поселений – обеспечить судоходство по Амуру, дрова, провиант заготавливать, а дай волю, разбегутся.

– А если место неудачно – земля хлеб не родит или ее вода заливают?

– Только с разрешения губернатора. Впрочем, не беспокойтесь, места хорошие, а россияне – народ живучий. Якутию, Камчатку обжили, а Амур и Сахалин и подавно...

Расставшись с Буйвидом, Бестужев подумал, что, действительно, живуч русский мужик, но сколько горя терпел и еще терпеть будет из-за подобных рассуждений!

## УСТЬ-ЗЕЯ

Только пятнадцатого июля караван прибыл в Усть-Зею. Бестужев увидел ряд палаток и большой шатер генерал-губернатора. Муравьев стоял в окружении офицеров.

По его энергичным жестам было ясно, что он распекает кого-то.

Пришвартовав баржу, Бестужев поспешил к Муравьеву. У его резиденции он увидел Буйвида, Кукеля, Раевского и высокого человека в черкеске с газырями. Все они, кроме

горца, смотрели на Бестужева с явной тревогой и сочувствием.

– В чем причина задержки? – спросил Муравьев, еле кивнув на приветствие.

– Они вам известны, – ответил Бестужев, – во-первых, маловодье, во-вторых, плохая оснащённость барж – канаты пришли в негодность, якорей мало...

– Где арьергард? – перебил Муравьев.

– Застрял в тридцати верстах.

– Кто возглавляет?

– Был Пьянков, но я отстранил его и...

– Ну и... договаривайте же скорее!

– Вместо него ссыльнокаторжный Митрофан Турчанинов, – увидев удивление Муравьева, Бестужев добавил: – Вполне достойный...

– Так чего же он застрял, этот ваш достойный?

– Ваше высокопревосходительство, я, возможно, виноват, но разговаривать со мной в таком тоне, извините не позволю.

У всех от изумления вытянулись лица, а горец, доселе смотревший куда-то в сторону, невольно положил руку на рукоять кинжала и вперил в Бестужева горящие глаза. Покачиваясь с носков на пятки, Муравьев щелкнул хлыстом по голенищу своего сапога и наконец молвил:

– Я, разумеется, не прав... Полтора месяца тут, а все из рук вон плохо: «Лена» застряла на мели, от «Амура» никаких вестей, и вы вот задержались...

Бестужеву стало неловко за то, что генерал-губернатор оправдывается перед ним, и он решил как-то смягчить ситуацию.

– Мальянга говорил, что нынче Амур мелок, как никогда.

– Он тоже вел вас?

– И превосходно – за трое суток верст пятьсот.

– Жаль, пьёт, но дело знает. «Лево давай!», «Право давай!» – изобразил его Муравьев, и все облегченно заулыбались. Лишь горец продолжал настороженно смотреть на Бестужева.

– Да, извините, я не представил своего адъютанта – князь Александр Дадешкилиани.

Бестужев качнул головой, тот тоже ответил сдержанным поклоном.

– Ну хорошо, принимайте остальные баржи, а обедать приходите ко мне.

Сев на подведенного коня, генерал-губернатор в сопровождении Дадешкилиани и Кукеля поскакал к строящимся вдоль Амура домам. Всадники держались в седлах лихо.

– Прекрасно скачут, – сказал Бестужев. – Откуда этот горный орел?

– Недавно прибыл с Кавказа, – ответил Раевский. – Его старший брат Константин Дадешкилиани, хозяин Сванетии, чем-то не угодил генерал-губернатору Кавказа Барятинскому. Тот приказал князю Гагарину арестовать его, но Дадешкилиани зарезал Гагарина и двух чиновников, которые бросились тому на защиту. Дадешкилиани казнили, трех его братьев выслали в Польшу, а этого – в Иркутск. Сандро прибыл в отсутствие Муравьева. Венцель встретил его холодно, а в довершение приказал снять черкеску и надеть обычный мундир. Тот ответил, что черкеску с него снимут только с кожей. Венцель в крик, Сандро – за кинжал. Слава богу, Кукель-младший успокоил их. Вернувшись из Петербурга, Муравьев, как обычно, собрал всех. Дадешкилиани почему-то опоздал и вошел позже других. Увидев его, Муравьев прервал речь и направился к нему. Все замерли: сейчас сорвет эполеты, прикажет снять черкеску, а Николай Николаевич вдруг обнял его и сказал: «Я был другом вашего отца, он умер у меня на руках. Сделайте мне честь – примите должность моего адъютанта». У Сандро задрожали губы, блеснули слезы...

– И нет теперь более верного и преданного человека! – улыбнулся Бестужев. – Видели, как он взялся за кинжал?

– Но и вы хороши, – покачал головой Юлий. – На такое еще никто не осмеливался.

– Что делать? Не сдержался. Как думаешь, обойдется?

– Уже обошлось, он же пригласил на обед.

– А у вас как? – обратился Бестужев к Буйvidу.

- Распек, отстранил от дальнейшего плавания. Вместо меня – Клейменов. Уже отплыл.
- За что же так?
- За болезни и гибель людей. За то, что большинство переселенцев холостые.
- А можно было набрать семейных?

– Откуда? В основном тут освобожденные от рекрутства, остальные – голь перекатная, больные да старые.

– Претензии надо предъявлять прежде всего, извини, Юлий, – Бестужев глянул на Раевского, – губернатору Забайкалья, но так как они в родстве, Муравьев ищет козлов отпущения среди подчиненных Корсакова...

Вернувшись к пристани, Бестужев стал осматривать баржи, многие из которых прохудились, дали течь. Чурина с группой сплавщиков он отправил вверх на помощь Митрофану. Некоторое время спустя подъехал Кукель и передал просьбу Муравьева выделить на слом одну баржу – леса для стройки не хватает. Бестужев выбрал самую худую и велел разгрузить ее. Кукель вскочил на коня и ускакал, а Бестужев решил пройтись по станции.

Она начиналась у места впадения Зеи в Амур и протянулась на несколько верст к западу. Двадцать пять готовых домов насчитал он, еще столько же было почти готово, а за ними закладывалась еще группа мазанок. Бабы с детьми месили глину ногами в яме с водой.

- Дяденька! – подбежал к нему мальчуган, – а мы вас видели!
- Где же? – удивился Бестужев.
- Третьеводни, на барже.
- Так ты только приехал! Ну как, нравится здесь?
- А чего? Неплохо. Вот построим дом, приходите посмотреть...

Бестужев поблагодарил за приглашение и, разговорившись, узнал, что мальчугана зовут Кешей, что тятя уехал в лес за бревнами, мамка, эвон, глину месит, а сестренка Гутя спит в шалашике. Бестужев подошел и увидел ровесницу своей дочери Лели.

– Ну, спасибо за разговор. Вот тебе, угощайся, – Бестужев достал из кармана конфет, которые, по обыкновению, носил с собой. Детишки в Селенгинске, зная об этом, завидев его, мчались к нему за угощением. Мальчуган взял конфеты, сунул одну за щеку и побежал к матери, сверкая босыми пятками. Прыгнув в глину, принялся месить ее ножками, весело поглядывая на уходящего дядю и что-то говоря матери.

Подходя к шатру генерал-губернатора, Бестужев услышал сзади топот копыт и посторонился. Муравьев с адъютантом осадил коней и спрыгнули на землю. Солдаты, подхватив поводья, повели лошадей на конюшню. Внутри шатра было просторно, светло от солнца, которое пронизывало белый холст, но душно. Муравьев попросил Сандро пошире распахнуть полог.

Стол был уже накрыт. Две большие фарфоровые чаши с китайской росписью наполнены красной и черной икрой, а еще большего размера чаши – яблоками, грушами, абрикосами. В центре стоял лагун со льдом и двумя бутылками шампанского. На стол была накинута кисея от мух.

– Усаживайтесь, сейчас подъедет Кукель, и примемся за обед. Спасибо вам за баржу. Леса полно, но валить, шкурить некому и доставлять не на чем, а дома надо завершать.

- Боюсь, последние до зимы не просохнут, – сказал Бестужев.
- И меня это беспокоит, но лето жаркое, должны успеть.
- Сколько людей думаете поселить здесь?
- Двести пятьдесят, в Иннокентьевский – сто, остальные – в Мариинске и Николаевске. Бестужев решил замолвить слово за Буйвида и начал издали:
- Познакомился сейчас с одной семьей. Думаю, приживутся.
- Семейные – да, но их, к сожалению, мало. Станичники поступили по принципу: на тебе, боже, что нам не гоже, а Буйвид не смог набрать достойных.
- Дело, пожалуй, не в нем, – сказал Бестужев. – Нельзя набирать людей с бора по сосенке. У нас ведь есть опыт переселения общинами. Сто лет назад в Забайкалье сослали

староверов, и они прекрасно прижились, себя кормят и других хлебом снабжают. Сектантов на Руси много – молокане, духоборы... Всюду их притесняют, многие из них в Америку собираются. Так почему бы не предложить им Приамурье? Люди трудолюбивые, обоснуются не хуже семейских. И им хорошо, и нам выгода – не покинут Россию...

– Любопытно рассуждаете, – сказал Муравьев.

– И вот что еще. Нельзя переселять только из Забайкалья. Разве здесь избыток людей? Надо и из центра России.

– Эка хватили! Но как доставлять их сюда? Вон по этапу гоним арестантов год-полтора до Читы да тут – полгода. А нам надо срочно укрепить устье Амура, пока англичане не захватили его. Насчет сектантов резонно, но сколько времени уйдет, пока снесешься с начальством, ведь ни дорог, ни телеграфа...

Когда появился Кукель, солдаты убрали кисею со стола, внесли горячие блюда. За обедом Бестужев спросил Дадешкилиани, не приходилось ли ему бывать в Адлере.

– У Михаила Александровича там брат погиб, и он ищет свидетелей, а заодно, может, и виновников, – пошутил Муравьев.

– Грузины давно на стороне России, так что никто из них не мог быть виновником. Даже печальная история моего брата Константина не бросает тени на дружбу грузин и русских. Это – семейная ссора. Мой отец вполне мог знать вашего брата, если он заезжал в Кутаис.

– Он бывал там много раз, – сказал Бестужев.

– В десанте у мыса Адлер участвовали огромные силы, – начал рассказывать Муравьев не столько Бестужеву, сколько Сандро и другим, – пятьсот орудий ударили разом. Молодой Путятин командовал тогда фрегатом «Агатополь» и вместе с братом Михаила Александровича бросился в атаку... Между прочим, – Муравьев повернулся к Бестужеву, – я говорил Путятину о вас в Шилкинском Заводе, он хотел свидеться с вами, но уехали вы куда-то. А о вашем брате он сказал, что его убили точно.

– Знаю цену подобным утверждениям. После четырнадцатого декабря один мой родственник клялся, что своими глазами видел меня убитым. Путятин хотел свидеться? Извините, не уверен. В Морском корпусе гардемарины любили подшучивать над салажатами, как называли кадетов. Шутки порой были жестокими. Однажды я заступился за него и Нахимова, и с той поры они не раз находили во мне защитника. Полагаю, что это помнится.

Но вот, представьте, он – генерал-адъютант, вице-адмирал, глава дипломатической миссии, а я кто? И мне кажется, из-за неловкости за столь разные судьбы он и не решился на встречу. Если бы он действительно захотел встретиться, нашел бы меня обязательно...

– А ведь верно, – сказал Муравьев. – Но бог с ним. Моряк он неплохой, однако у меня при одном упоминании о нем начинает болеть голова. Вы правы, Михаил Александрович, своей миссией в Китай он может испортить ситуацию на Амуре.

Бестужев глянул на Раевского, тот еле видным движением глаз дал понять, что они с Кукелем передали Муравьеву мнение Бестужева о миссии Путятина.

– Ну что, славно пообедали. Спасибо вам за баржу, за предложения о переселенцах. Об этом следует подумать, – вставая из-за стола, сказал Муравьев и пригласил Бестужева на ужин с посланными из Айгуна.

## ГОСТИ ИЗ АЙГУНА

Бестужев проснулся от света фонаря, с которым Раевский вошел в каюту. Юлий, когда они сошли с баржи, показал на двух оседланных лошадей, сказав, что это позаботился Муравьев.

Несмотря на темноту, лошади, хорошо знавшие дорогу, бежали уверенно, быстро. Их даже пришлось сдерживать. Ярко освещенный изнутри шатер генерал-губернатора казался издали беломраморным дворцом. Когда они спешили и подошли к входу, из-за полога



повеяло благовониями, чесноком и хорошим табаком.

Муравьев представил Бестужева гостям, те выслушали перевод от человека в китайском халате, потом, улыбаясь, поклонились ему. Муравьев усадил Бестужева рядом с собой. Справа от него оказались Раевский и Кукель, а Дадешкилиани и гости с переводчиком сидели напротив.

– Завтра посланные амбаня вернутся в Айгун и доложат о вашем прибытии, – Муравьев сделал паузу, чтобы переводчик успел донести смысл слов. Когда гости закивали головами, он продолжил речь. – Разрешение на проход мимо Айгуна уже есть. Более того, нам обещаны лоцманы, но амбань <sup>15</sup> побаивается гнева богдыхана... Последние слова переводить не надо, – не меняя интонации, с той же любезной улыбкой добавил Муравьев.

– А переводчик разве не китаец? – тихо спросил Бестужев Раевского.

– Нет, это крещеный бурят Епифан Иванович Сычевский. Много лет служил в Пекине, а сейчас драгоманн <sup>16</sup> при Муравьеве.

– Откуда у него такая фамилия?

– Дед, говорят, был из поляков, а мать – бурятка с Ангары. Китайский халат ему недавно подарили в Айгуне.

– Прошу передать амбаню, что нынешний сплав возглавляет один из самых именитых людей России...

Бестужев изумленно глянул на Муравьева.

– Это необходимо для дипломатии, – не оборачиваясь к нему, пояснил Муравьев, – в то же время я не скажу ни единого слова неправды.

Бестужев стал с интересом ждать, что еще скажет Муравьев.

– Его отец – известный деятель культуры... Его старший брат Николай – офицер и историограф флота, художник. Другой брат, Александр, – известный писатель, отважный воин, погибший на Черном море, – голос Муравьева звучал торжественно. Китайцы, слушая перевод и кивая головами, с любопытством смотрели на Бестужева. – Сам Михаил Александрович после окончания Морского корпуса, где он учился с видными флотоводцами России, а также небезызвестным в Китае Путятиным, черт бы его побрал, прости, господи, достойно служил на Балтике и Белом море, а последние тридцать лет провел в Сибири, приложив немало сил для ее развития...

– Не хватит ли, Николай Николаевич... – взмолился Бестужев.

– А посему надеюсь, что амбань достойно примет адмирала нашей мирной флотилии и окажет ей всяческое содействие. Предлагаю выпить за здоровье Михаила Александровича.

Чиновники чокнулись с Бестужевым и разом, как по команде, одним махом выпили водку. Затем, не дожидаясь следующего тоста, сами наполняли бокалы водкой, жадно ели мясо, рыбу, заедая все чесноком и острым соусом.

– Кто эти чиновники? – спросил Бестужев.

– Из почтового ведомства амбаня.

– Не совсем прилично они себя ведут.

– Ничего страшного. Я их понимаю и сочувствую. Чинопочитание в Китае немыслимое. И чем ниже чиновник, тем меньше благ и больше пинков. Вполне возможно, они впервые встречают такой прием. Пусть же едят, пьют, видят наше радушие, а потом расскажут своим, как принимают русские даже таких, как они.

– Ваше превосходительство, – обратился к Бестужеву Сычевский, – гости спрашивают, почему вы, такой заслуженный человек, адмирал, но без мундира и вообще одеты очень просто?

– Скажите, что я надеваю мундир в особо торжественных случаях, – нашелся Бестужев.

---

<sup>15</sup> Губернатор (*маньчж.*).

<sup>16</sup> Переводчик (*араб.*)

– А вдруг они попросят надеть его при встрече с амбанем? – возразил Сычевский. – Может, сказать, что вы – декабрист, а сейчас, возглавляя мирный сплав, не хотите быть в парадном платье?

– Про то, что «секретный», не надо, – сказал Муравьев, – а остальное можно.

Во время этих переговоров Бестужев заметил, что один из чиновников, изображая опьянение, очень внимательно, однако, слушает их – даже перестал жевать, хотя рот был полон. Странная догадка поразила его: он понимает по-русски. Надкусив толстую сигару и начав раскуривать ее, Бестужев неожиданно глянул на китайца и увидел его пристальный, изучающий взгляд. «Как бы предупредить Муравьева? – подумал он. – Шептать на ухо неудобно. Сказать по-французски? Но „почтарь“ может знать и этот язык». Бестужеву стало не по себе. Припомнив весь шедший до этого разговор, он подумал, что ничего обидного по отношению к китайцам не было, за исключением замечания, что они не очень прилично вели себя. Но вдруг Муравьев скажет что-то неосторожное? Как, например, о Путятине. Что делать?

Начав разговор об Адлере и обстоятельствах гибели брата, Бестужев под этим предлогом попросил Сандро выйти из шатра. Муравьев, о чем-то догадавшись, кивком головы разрешил им удалиться. Отойдя в сторонку, Бестужев сказал, что один из гостей, кажется, понимает по-русски.

– Нам это известно, Сычевский предупредил, – ответил Сандро, – Епифан Иванович не так прост, каким кажется. Здесь его принимают за бурятского торговца, который, живя в Кяхте, изучил китайский...

– А на самом деле?

– Нет, он не шпион, – засмеялся Сандро. – Окончил восточный факультет Петербургского университета, в совершенстве знает китайский, маньчжурский, монгольский, владеет английским, французским, немецким. Десять лет служил в Пекине, в русской духовной миссии, которая фактически играла роль посольства России, перевел множество древнекитайских и маньчжурских трудов, написал историческое исследование о китайских границах, истинных и мнимых. В свете его данных, взятых из древних рукописей, территориальные притязания богдыхана выглядят любопытно: Сычевский задает вопрос, от кого же китайцы отгораживались своей знаменитой стеной, не это ли их древняя граница?

– Прекрасно! – восхитился Бестужев. – А сидит, как забитый улусник,<sup>17</sup> который ничего, кроме как пасти скот, не умеет.

– О! Это высококультурный человек. Кстати, обязательно поговорите с ним, много ценного узнаете.

– И давно он раскусил «почтаря»?

– В первую же встречу. Ни один взгляд и жест не ускользнул от него. Будучи в Айгуне, он узнал, что «почтарь» совсем недавно приехал из Пекина и официально шпионит не только за нами, но и за китайскими чиновниками и даже за правителями Айгуна.

– Но почему Николай Николаевич так говорит при нем?

– Подыгрывает специально, чтобы тот не догадался, что мы его раскусили. Поначалу Николай Николаевич рассердился на китайцев за такие фокусы, но Сычевский сказал ему, что подобный шпионаж бытует при дворе богдыхана многие века и придавать этому особое значение, обижаться бессмысленно...

Когда Бестужев и Сандро вернулись в шатер, Муравьев спросил:

– Ну как, выяснили отношения? Я уж забеспокоился, не дошло бы до дуэли.

Все рассмеялись шутке. «Почтарь» смеялся особенно весело. Вскоре после этого Муравьев предоставил слово Бестужеву.

– Дорогие друзья! Высокоцитимые гости! Я чрезвычайно рад оказаться в столь почтенном обществе. Под одним шатром – сыны разных народов – русских, китайцев,

---

<sup>17</sup> Здесь – простолюдин.

грузин, бурят. Перефразируя Пушкина, – от пламенной Колхиды до стен недвижного Китая... Символично и то, что мы находимся в том историческом месте, где в одна тысяча шестьсот сорок четвертом году впервые вышел на Амур русский первопроходец Василий Поярков, положив начало освоению этих мест. Мне было приятно узнать, что амбань решил помочь нам опытными лоцманами. Прошу передать ему, что при прохождении Айгуна мы попросим его принять от нас скромные подарки для него лично и для присутствующих здесь его посланных. Позвольте мне провозгласить тост за дружбу народов России и Китая...

Прием закончился далеко за полночь. Придя в дом, выделенный для гостей, Юй Цзечин выпил две фарфоровые чашки с теплой водой и рвотным порошком. С душераздирающим ревом он освободил желудок от еды и обильного спиртного, умылся холодной водой и, взяв лист плотной рисовой бумаги, кисть, тушь, начал быстро набрасывать иероглифы.

«Верховному главнокомандующему  
всех войск Маньчжурии,  
Князю VI степени, господину Ишаню.  
Высокопочтенный и высококочтимый князь!

Во время встречи с генерал-губернатором Муравьевым присутствовал некий Бес-ту-шин, который возглавляет нынешний сплав по Черной реке и которого выдают за адмирала. Однако мой простейший вопрос, почему он не носит форму, вызвал среди русских замешательство. Они долго спорили, чем объяснить это, и тут их глупый переводчик проговорился и назвал господина Бес-ту-шина декадристом. Из-за шума мне показалось, что переводчик сказал: „декабрист“, но если положить в основу слова название месяца, то получится нелепица, вроде январист, февралист и т. д. Ни того, ни другого слова в словаре нет. Приставка „де“ означает отрицание, например, демобилизация, дезинформация. По всей вероятности, Бес-ту-шин – кадровый моряк, по каким-то причинам сосланный в Сибирь. По внешнему виду и манерам он производит впечатление благородного человека. Генерал-губернатор Муравьев почему-то назвал его секретным, но искренне превозносил заслуги этой известной в России фамилии.

Однако осмелюсь доложить Вам, что намерения русских по отношению к нам вроде бы самые доброжелательные. По одной из реплик Муравьева я заметил его неприязнь к адмиралу Пу-тя-тин, который учился с господином Бес-ту-шином.

К счастью, никто не догадывается о том, что я в совершенстве владею этим нелепым по звучанию и чрезвычайно трудным по смыслу языком. Надеюсь, мои старания и бдительность будут по достоинству оценены Вами, высококочтимый и высокопочтенный князь.

К сему – до последнего ногтя преданный Вам Юй Цзечин.  
Устье Зеи, июля 16 дня полной луны,  
1857 года – года железной змеи».

## ТОРГОВЦЫ

Утро следующего дня выдалось туманным, сумрачным, и смутное предчувствие чего-то дурного не покидало Бестужева, беспокоила задержка отставших барж. Наконец сверху показалась лодка под черным парусом, в ней Чурин в пунцовой рубашке. Лодка мчалась по течению быстро, неотвратимо, как недобрая весть. Увидев хмурое лицо Чурина, Бестужев спросил, что случилось.

– Неприятности, – выдохнул Иван, – кормщик, которого высекли, сбежал с одним рабочим, а главное... Митрофан утонул.

– Как?! Да не томи же душу – говори скорее!

– Шишлов подначивал всех, слушайте, мол, нового начальника: он еще в тот вечер с адмиралом спелся. Митрофан не знал этого, но чувствовал неприязнь, сам не свой ходил, Утром поехали с ним на крайнюю баржу, я поднялся наверх, а он полез да оступися, упал за борт, лодка перевернулась – уключина в голову, он даже не всплыл. Я приказал Пьянкову

снова взять командование и велел к полудню быть здесь.

– Ну как чуял! Места себе не находил, – Бестужев смотрел на бурные воды Амура, словно пытаясь увидеть там утопленника. Зайдя к себе в каюту, он достал бумагу, перо и начал писать.

*«Устье Зеи, 16 июля 1857 г.*

*Мои милые, мои добрые сестры, моя добрая Мери!*

*Это письмо, может быть, будет последнее из этой страны света, почем знать, может, последнее на этом свете... Не ждите от меня описаний красот природы, у меня недостает ни времени, ни спокойствия духа для этого. У меня одно на уме: вперед и вперед! А на каждом шагу препятствия, с которыми должен бороться. Николай Николаевич, живущий здесь чуть не полтора месяца, находится в постоянном раздражительном настроении. Пароход „Лена“ сидит на мели у Албазина, а „Амур“, видимо, возле Уссури.*

*Видел вчера здесь двух детишек Кешу и Гутю. Девочке три года. Она спала, и я представил на ее месте мою Леночку... Недавно видел во сне вас в окрестностях Селенгинска, в прекрасный вечер на лужку в Тугурене, покрытом зеленью и цветами. Дымился самовар, мальчишки бегали за жучками и бабочками. Я вообразил бог знает что и... проснулся.*

*Прощайте, мои сердечные! Теперь долго-долго от меня не будет писем. Поклонитесь от меня всем селенжанам. Любите и помогайте взаимно друг другу. Только союзом крепко и общество и семейство. Мои дорогие сестры, не оставляйте моих малюток! Мери, будь благоразумна как мать и крепка как член общего семейства. Целую всех вас без изъятия. Никак не мог предполагать, что так тяжело быть в разлуке с близкими сердцу!*

*Вас истинно любящий*

*М. Бестужев».*

Запечатав письмо, он пошел к Муравьеву сообщить о несчастье во флотилии и попросить о пересылке письма. Недалеко от пристани он увидел несколько джонок, прибывших из Айгуна с товарами для продажи. Маньчжуры ставили мешки с просом, овсом, открывая их, чтобы покупатели могли увидеть и пощупать зерно. Рядом красовались корзины, ящики с овощами, фруктами. Весов и сосудов для измерения почему-то не было. Когда Бестужев спросил о ценах, один из торговцев на ломаном русском языке объяснил, что все продается только в мешках, корзинах.

– Это двадцать копейка, – ткнул маньчжур пальцем в мешок проса, – это пять копейка, – указал на ящик огурцов, – яблок – шесть...

Покачив головой, Бестужев подумал, что, наверное, чего-то не понял. И тут сзади подошли посланные амбаня, а с ними – Сычевский. Раскланявшись с ними, Бестужев спросил Егшфана Ивановича о ценах. Поговорив с торговцами, тот сказал, что мешок овса и проса – по двадцать копеек, все овощи – по пятаку за ящик, а фрукты – по шесть. Курица – две копейки.

– Удивительно! А у нас они что покупают?

– Сахар, соль, мануфактуру. Особый спрос на простые ткани – грубый синий холст, сарпинку, ситец. Вон лавка, ее недавно открыл Паргачевский.

В это время к Сычевскому обратился «почтарь». Елифан Иванович перевел, что тот спрашивает о времени прибытия флотилии Бестужева в Айгун.

– Дня через три, – ответил Бестужев.

Один из торговцев начал что-то говорить, показывая на дома. Сычевский с улыбкой выслушал его и перевел:

– Он говорит, что они очень довольны торговлей и вообще рады, что русские поселились тут. Мы, говорит, знаем, что все это для того, чтобы побить ингри, то есть англичан, если они покусятся зайти в Амур и разорить Айгун.

– Верно, – кивнул Бестужев, – Передайте, пусть торгуют спокойно, англичан мы сюда не пустим.

Лицо «почтаря» озаряла подобострастная улыбка, но от Бестужева не ускользнуло, что

пока Сычевский переводил, тот что-то шепнул торговцу, из-за чего он сразу сник.

– Епифан Иванович, попросите, пожалуйста, отнести весь товар вон на ту баржу. Там урядник купит все оптом.

Услышав перевод, старик обрадовался и, опасливо покосившись на «почтаря», пошел к своим товарищам. Те засуетились, загалдели и стали собирать товар для доставки к барже.

Раскланявшись с чиновниками и Сычевским, Бестужев пошел к лавке. На одной из мазанок он увидел вывеску «Первая Амурская компания». Паренек-приказчик, не торопясь, важно взвешивал сахар, соль, отмерял аршином ткань, натягивая ее чересчур туго. Большая очередь теснилась у прилавка. Бестужев спросил, почему сахар. Продавец даже не глянул на него и не удостоил ответом. Одна из старушек сказала, что целковый за фунт.

– Сущая дербановка! Нешто это по-божески? – вздохнула она.

– Кто эту цену назначил? – спросил Бестужев.

– Какое тебе дело – кто? – только теперь приказчик косо глянул на Бестужева. – Езжай в Читу или Кяхту, там дешевле.

– Ну ладно, мы еще поговорим, – сказал Бестужев и направился к Муравьеву.

Тот писал что-то, когда Бестужев вошел к нему. Узнав о побегах рабочих и смерти Митрофана, он встал и начал быстро ходить от стола к выходу и обратно.

– Распустили вы людей! Все взываете к совести и разуму, но, уверяю вас, увещеваниями людей не пробудишь. Всякий стыд, совесть давно пропиты, проданы... На что у вас судовая полиция?

Бестужев не стал особенно возражать, но все же сказал, что дело не в полицейских мерах – сплавщики сбежали как раз из-за наказания. Пытаясь отвлечь внимание от своих бед, Бестужев добавил, что совесть продается и здесь, в Усть-Зее. Муравьев остановился, взглядом требуя пояснения. И Бестужев сказал, что в компанейской лавке сахар – по рублю за фунт. Муравьев тут же приказал вызвать приказчика.

– О, эти торгаши! Как только я вступил на пост генерал-губернатора, мне пришлось взяться за акцизно-откупные дела. Прежние правители Сибири брали взятки и на злоупотребления смотрели сквозь пальцы. Борьба с откупщиками кончилась тем, что я заболел, да так, что думал, не выберусь отсюда живым. Решил поехать в Европу на воды, сдал управление Зарину,<sup>18</sup> но тут мне посоветовали обратиться к агинскому ламе Сультому Бадмаеву.<sup>19</sup> Тибетские снадобья, иглоукальвания быстро подняли меня на ноги...

Через некоторое время показался Дадешкилиани, а за ним – испуганный приказчик. Сдернув картуз, тот сразу же пал на колени.

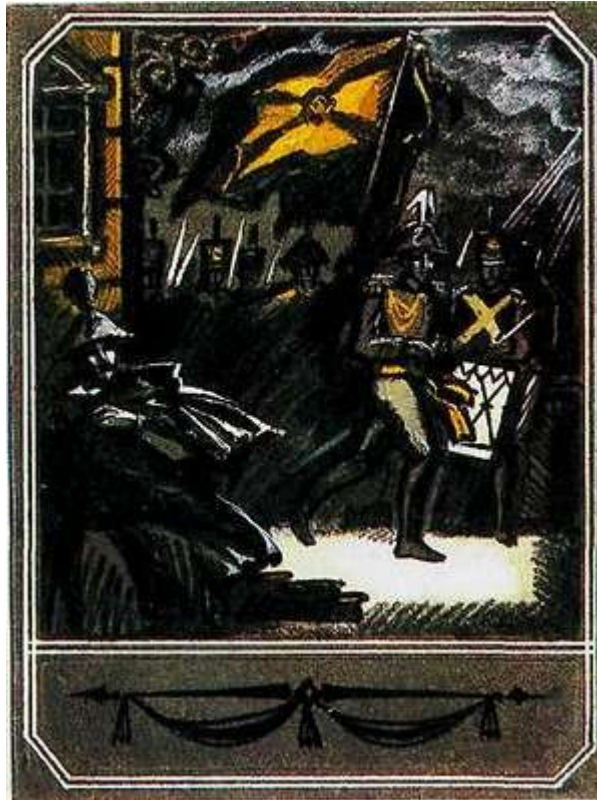
– Встать! – крикнул Муравьев. – Почему сахар в Чите?

– Червонец за пуд, – пролепетал приказчик.

---

<sup>18</sup> Гражданский губернатор Восточной Сибири.

<sup>19</sup> Позднее он и его племянник П. А. Бадмаев приняли православие и переехали в Петербург, став придворными врачами.



– То есть по двадцать пять копеек за фунт, – уточнил Бестужев. Приказчик с мольбой смотрел на него.

– Простите, Христа ради! Я думал, вы – поселенец!

– Поселенец ли, тунгус или маньчжур, не имеешь права заламывать вчетверо! Пошел вон! – брезгливо крикнул Муравьев. Приказчик на полусогнутых от страха ногах выбежал из шатра.

– Мерзкое отродье! – продолжал гневаться Муравьев. – Сколько зла могут принести такие, как этот, если дать им волю!

Успокоившись, Муравьев сказал, что получил проект устава новой Амурской компании, и попросил ознакомиться с ним. Бестужев взял пакет, отдал свое письмо и пошел к себе.

## «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Отряды Пьянкова и Шишлова прибыли лишь к концу дня. Усталые, измученные перегрузкой и стаскиванием барж, рабочие начали швартовку. Когда командиры явились к Бестужеву, вид у них был виноватый, настороженный. Не став пока отчитывать их, Бестужев приказал принять бочки, ящики, мешки с разобранной баржи и заняться шпаклевкой щелей. Сзади подошел Раевский. Глянув на него, Бестужев понял, что тот явился неспроста, и провел его в свою каюту. Войдя в нее, Юлий достал из кармана небольшую книжицу, на обложке которой бросились в глаза пять силуэтов и название – «Полярная звезда на 1856 год».

– Столько слышал о ней и вот только сейчас держу в руках, – Бестужев начал взволнованно листать книжку. На обороте обложки портрет Белинского, на первой странице – извещение о смерти Чаадаева, на третьей – начало статьи «Вперед, вперед!». Бестужев горячо обнял Раевского, тот смутился и сказал, что дает лишь до утра.

Как только он вышел, Бестужев принялся за чтение. Многие неизданные стихотворения Пушкина и Рылеева он хорошо знал. Как не помнить «Послания», которое привезла в Читу Александрина Муравьева! А стихий Рылеева он слышал из уст самого автора. И тем

приятнее было увидеть впервые напечатанные строки давно ушедших друзей. С Пушкиным, к великому сожалению, Бестужев не был знаком, но он хорошо знал о нем по рассказам братьев Александра и Николая, также со слов Льва Пушкина, с которым встречался у Рылеева, а последний раз видел его на Сенатской площади.

Начав читать главы из «Былого и дум» Александра Герцена, Бестужев поразился страницам о восстании и обстановке после 14 декабря.

«Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты... Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких... и у креста стояли одни женщины... Сестры, не имевшие права ехать, удалялись от двора...»

Дойдя до этих строк, Бестужев вспомнил, как мать и сестры, с трудом добившись разрешения выехать в Сибирь, продали усадьбу, имущество, доехали до Москвы, там их вдруг остановило письмо Бенкендорфа о запрете царя продолжать путь. Более изощренного, гнусного издевательства трудно было придумать. Мать, не выдержав потрясения, умерла. Оказавшись в незнакомой, чужой Москве без всяких средств, сестры остановились у дяди, Василия Сафроновича Бестужева, тогда уже старого, больного. Начав новые хлопоты о выезде в Сибирь, они добились разрешения лишь в 1847 году. С тех пор прошло уже десять лет. Как дружно, хорошо жили они тогда! Потом женитьба, рождение Лели, через два года – Коли. Мери часто болела, стала раздражительной. У сестры Елены характер с норовом, твердый, бестужевский. Коль не поладит с кем, то надолго, если не навсегда. Вот и появилось в доме отчуждение. Сестры Оля и Маша, добрые, душевные, красивые и видные, но их судьба тоже не сложилась, остались в девицах...

Когда стало темнеть, Бестужев зажег лампу и продолжил чтение. Вдруг на палубе послышались чьи-то быстрые шаги, и, едва он успел спрятать книгу, в дверях показался Муравьев.

– Ехал мимо, дай, думаю, загляну, – улыбнулся он, внимательно оглядывая стол, стены. – Неплохо устроились. Цветов столько! Только вот накурили. Зря увлекаетесь этим...

Бестужев с удивлением смотрел на генерал-губернатора, лихорадочно соображая, чем вызван столь неожиданный визит.

– Что вы так смотрите? Некстати явился? – усмехнулся Муравьев.

– Да что вы? Очень рад. Думаю вот, как плыть дальше?

– Чего думать? Вперед! Вперед!

«Вперед! Вперед!» – да это же название статьи...

– Теперь только идите, не стойте на одном месте, – продолжал цитировать Муравьев. – Что будет, как будет, трудно сказать, никто не знает...

Бестужев поражался не только тому, что Муравьев цитирует, но и его безупречной памяти. Однако разоблачать себя Бестужев не стал. Вдруг западня?

– Что вы пугаете? – улыбнулся он. – «Трудно сказать, никто не знает». Конечно, все мы ходим под богом, но, думаю...

– Ну как, начали читать? – глядя в упор, перебил Муравьев.

– Что? – похолодел Бестужев.

– Ну как так? Я же дал вам почитать...

– Ах да! – вспомнил Бестужев об уставе компании. – Уже прочитал, но решил написать замечания.

– Вот и хорошо, – улыбнулся Муравьев и, пожелав хорошего сна, удалился. Выйдя проводить его, Бестужев увидел, как он легко сбежал по трапу, вскочил на коня и поскакал вниз к Зее в сопровождении... Раевского. «Почему без Сандро? Куда так поздно – там ведь нет жилья? Вдруг... Но нет, Юлий тут ни при чем! Когда же Муравьев узнал о „Полярной звезде“? Какие крючки закидывал, как заманивал! Но как же я забыл об уставе? И чуть не попался».

На баржах никого не было – все ушли в станицу. Только два охранника с ружьями сидели у костра. Тусклые огоньки еле светились из окон новых домов. Звук балалайки

донесся, какая-то грустная песня. Тревожно шумел Амур.

Вернувшись в каюту, Бестужев взялся за устав компании, прочитал о целях и предназначении новой Амурской компании, условиях приема и членства. Понял, что этот устав мало чем отличается от давно действующего в Российско-Американской компании. Развитие торговли определялось возможностями внутреннего, в основном сибирского рынка. Взяв лист бумаги, он начал писать о местных промыслах и хозяйстве, без которых нельзя развивать внутреннюю и внешнюю торговлю, о необходимости собственного флота компании, о незамерзающих портах на Сахалине и на материке, южнее Николаевска.

Изложив свои соображения, он с нетерпением вернулся к «Полярной звезде». Один из читателей журнала предлагал делать ежегодные обзоры литературы, подобные тем, которые когда-то писал Бестужев-Марлинский. Как радовали Бестужева эти строки – люди помнят брата Александра, более того, чувствуется духовное родство Герцена с декабристами. Все это казалось невероятным. После тридцати лет полного забвения декабристов вдруг прямой призыв к борьбе за освобождение крестьян, за отмену крепостного права, просьба присылать статьи, письма, воспоминания о декабристах. Переписав лондонский адрес Герцена, Бестужев решил обязательно заехать к нему по пути из Америки.

В семь утра его разбудил осторожный стук в дверь: прибежал Кузьма и сказал, что ночью Шишлов выгрузил со своей баржи несколько бочек и ящиков мужикам из поселка. Сообщив это, Кузьма попросил не идти сейчас же к Шишлову, а то тот догадается, кто доложил, и ему будет плохо. Бестужев спросил, не обижают ли его сейчас, Кузьма помялся, потом сказал:

– Да есть... То стянут чего, то соли в чай насыплют, а наемни бычий пузырь с водой в постель сунули, он лопнул, как я лег, пришлось сушить матрац, а они кричат, будто я...

– Издеваются, – покачал головой Бестужев, – но погоди, что-нибудь придумаем.

Проводив Кузьму, он увидел, что к барже скачет Раевский. Когда тот приблизился, Бестужев спросил, что случилось вчера.

– Ничего. Сандро шашлык устроил на реке. Николай Николаевич хотел пригласить вас, но почему-то передумал. Выйдя от вас, он сказал: «Вперед! Вперед!» Известные штучки – это цитирование. Так же он делал в Иркутске, когда пришел первый номер журнала.

– А когда пришел сюда этот?

– По времени совпадает с приходом американца.

– Коллинза? Коммерсант в роли агента Герцена?!

– Вряд ли... Коллинз мог взять в Англии несколько экземпляров для знакомства с Россией.

– Что с его предложением о железной дороге?

– Из Петербурга ответили, что сооружение ее собственными силами и выгоднее и безопаснее. Николай Николаевич расстроен. Собственных сил у нас еще долго не будет, сказал он, пусть американцы пользовались бы нашими богатствами, зато у нас была бы дорога.

– Решительно не согласен. Представь себе, что стало бы здесь через сто лет, ведь именно об этом сроке шла речь. Хорошо, что отказали. Но ладно. Отчего Муравьев допускает чтение «Полярной звезды»?

– Вероятно, для того, чтобы подчиненные были в курсе событий.

– Но как это передается от одного к другому?

– При особом доверии. Но если что случится, никто не сможет обвинить его. Он скажет: «И знать не знал».

– Ох, Юлий, берегись. Все до поры. Кстати, этот экземпляр ты получил из его рук?

– От Сандро, – после небольшой заминки прошептал Раевский.

## ГНЕВ МУРАВЬЕВА

Пьянков и Шишлов ремонт еще не закончили. Рабочие стамесками вгоняли в щели



пучки моха, замазывая их горячей смолой. Бестужев приказал Пьянкову поторопиться: отплытие в полдень. С Шишловым говорить пока не стал, решил разобраться в пути.

Подходя к резиденции Муравьева, он увидел только что прибывших капитана «Лены» Сухомлина и Крутицкого, командира каравана плотов со скотом. Они навтыяжку стояли перед Муравьевым, который быстро ходил перед ними взад-вперед, отчитывая их. Потом он стал кричать, срываясь на фальцет, и вдруг начал стегать хлыстом Сухомлина по лицу. Когда тот поднял руки, чтобы защититься, Муравьев пнул его в живот. Сухомлин рухнул на землю. Генерал-губернатор подскочил к Крутицкому и начал бить его.

Зрелище было настолько дико и неожиданно для Бестужева, что он замер, как вкопанный, не доходя до места расправы. Крутицкий стойко переносил удары, даже не пытаясь защищаться. Лицо его вмиг покрылось полосами, кровь полилась по лбу и щекам. Тут только Муравьев опомнился и, хлестнув себя по голенищу сапога, быстро пошел в шатер. Сандро без обычной лихости последовал за ним.

Матросы подняли Сухомлина с земли. Крутицкий, прикладывая платок к лицу и вытирая кровь, пошел к плотам. Кукель, Буйвид, Раевский стояли бледные от волнения. Бестужев не мог заставить себя пойти к Муравьеву. Достав сигару, он откусил кончик и, раскурив ее, пошел на берег.

«Вот тебе и „Полярная звезда“! Вот тебе и „Вперед! Вперед!“» – думал он, глядя на струи, журчащие у берега. Сзади послышались шаги – подошел Раевский и молча сел рядом, свесив, как и Бестужев, ноги с обрыва.

– Часто ли с ним такое? – спросил Бестужев.

– Впервые вижу, – покачал головой Юлий.

– Ну ладно... Вот, передай, пожалуйста, ему устав компании. Надо бы, конечно, поговорить и попрощаться, но после этой сцены... И слов не подберешь – варварство, деспотизм.

– Не оправдывая его, скажу, что у Николая Николаевича приступ печени. Вчера выпил немного, шашлыка с острым соусом поел, маялся ночью и вот... Сейчас наверняка жалеет...

– Но капитанам от этого не легче. А как он к штабникам?

– Такого никогда не бывало. Но прикажет – умри, а сделай! В октябре прошлого года я выехал с пакетом из Николаевска в Иркутск. Амур еще не замерз, пришлось идти через Аян, Якутск. Места дикие, карт нет. Поднялась пурга, сбились с пути. Продукты кончились – стреляли рябчиков, зайцев. Потом их не стало – горная тайга на хребте Джугджур. Даже тунгус-проводник заболел. Олени пали один за другим. Только к декабрю вышли на Аян. Морозы начались, но все же ехать по Якутии было легче... И Мише Волконскому, Буйвиду, Кукелю приходилось так же. Помню, Муравьев вручил Мише пакет доставить из Иркутска в Аян, тот засомневался, сможет ли, дело весной было – распутица. А Муравьев сказал: «Пешком, ползком, но доставить вовремя!»

– И доставили?

– Конечно. Впрочем, Миша среди курьеров – самый быстрый. В прошлом году за пятнадцать дней из Москвы до Иркутска доскакал! Летел с вестью об амнистии, как на крыльях. Несколько лошадей загнал до смерти. И вот недавно Дмитрий Иринархович сказал мне, мол, слишком часто и по пустякам гоняют нас туда-сюда. Я ничего не ответил, но он не прав. Дела ведь государственной важности – военные, дипломатические. Вон какое сражение на Камчатке выиграли! И в этой победе есть и заслуга курьеров. Вот и попробуй не то что не доставить, а хотя бы опоздать чуток...

– Перед его гневом все равны – и курьеры, и адмиралы, – сказал Бестужев.

## ТАТЫГИР

Миновал место впадения Зеи в Амур, флотилия Бестужева начала проход по узким обмелевшим протокам. Вышедшие раньше баржи Пьянкова все до одной сели на мель в нескольких верстах от станицы. Павел приказал ему сниматься самому и нагнать их в

Айгуне. Шишлов же, несмотря на строгий приказ выйти из Усть-Зеи сразу после всех, почему-то задержался.

К сумеркам подошли к небольшому селению Татыгир, где их должны были ждать лоцманы. Причалив к берегу, Бестужев и Павел направились к ближайшей мазанке. Постучав в окно, заклеенное бумагой, Бестужев увидел, как она колыхнулась. Дверь приоткрыл старик с жиденькой седой бородкой.

– Мендэ! – приветствовал его Бестужев. Здраваться так посоветовал перед отъездом из Усть-Зеи Сычевский, это приветствие бытует у монголов и бурят наряду с «амар-сайн» и «сайн-байну». И все они означают «здравствуйте». Узнав от него, что маньчжурский язык сродни монгольскому и бурятскому, Бестужев обрадовался возможности объясниться и здесь: за долгие годы жизни среди бурят он научился довольно неплохо понимать их.

Старик присел на левое колено и, сложив руки на груди, ответил тем же «мендэ».

Внутри мазанки загорелся огонь, и Бестужев увидел, как трое ребятишек до самых глаз натянули на себя одеяло, не то сшитое из лоскутиков, не то сплошь покрытое заплатами. Чтобы не беспокоить семью, Бестужев не стал заходить в дом.

Во дворе старик расстелил перед остывшим очагом три овечьи шкуры и, пока гости усаживались, разжег сухой камыш, щепки, потом вышел со двора. Через некоторое время он возвратился с двумя стариками, один из которых немного говорил по-русски. Его звали Джумига. Раскланявшись, он сказал:

– Фунде-бошко<sup>20</sup> Найбао ожидай вас. Его скоро ходи сюда.

Со стороны села послышались какие-то выкрики, и старики сразу же встали, но Бестужев попросил их остаться, чтобы Джумига переводил. Тот послушался, однако чувствовалось, что он не меньше старика хозяина обеспокоен приближением начальника. Покрикивания становились все ближе. Наконец фунде-бошко появился в воротах двора.

Невысокий, полный, он быстро шел к костру, кривая сабля качалась на боку в такт его шагам. Не присев на колено, а лишь пригнув левую ногу, он стукнул каблуком в землю. Что-то петушиное было в этом движении. Хозяин постелил еще одну шкуру. Брезгливо глянув на нее и поморщившись, фунде-бошко молча уселся, поправив саблю и полы синего мундира. На конусе розовой шапочки сверкал начищенный медный шарик. Вслед за ним сели Бестужев с Павлом, но пришедший с ним лоцман Арсыган, а также хозяин с Джумигой остались на ногах. Бестужев попросил у фунде-бошко разрешения присутствовать здесь хозяину и Джумиге. Тот, выслушав перевод, сухо кивнул головой. Павел достал штоф. При виде водки глаза офицера блеснули: взгляд сразу же стал мягче.

– Предлагаю выпить за встречу и знакомство на гостеприимной земле Маньчжурии, – сказал Бестужев. Джумига перевел, фунде-бошко опять кивнул и разом вылил в рот водку, тут же подняв левую руку вверх. В ней, как по волшебству, оказался большой помидор – это Арсыган сунул его. Офицер с урчаньем впился в его красную мякоть.

Выпив первую чашку, он повеселел и что-то сказал. Арсыган и хозяин тут же побежали куда-то, а фунде-бошко поднял чашу и начал говорить. Когда он кончил речь, Джумига перевел ее очень кратко:

– Господина фунде-бошко Найбао говорите: очен рада презда господин Бес-ту-шин и хочет пить ваша здоровь!

Когда они выпили, во двор вбежали Арсыган и хозяин, волоча за рога большого барана. Тут же повалив его на землю, Арсыган надрезал ему живот и сунул руку внутрь. Начав бляеть, баран через мгновение дрыгнул ногами и перестал биться. Видя, как содрогнулся Павел, Бестужев сказал, что это самая короткая, немучительная смерть для животного. Буряты тоже так делают – рвут аорту у сердца. Гораздо лучше, чем резать горло.

Арсыган на удивление быстро разделал тушу. Хозяин тем временем поставил на костер котел с водой и положил в нее куски парного мяса и голову барана. Не дожидаясь, когда

---

<sup>20</sup> Офицер (маньчж.).

сварится мясо, фунде-бошко выпил без тоста еще чашу водки. Вскоре Арсыган достал баранью голову, положил на миску и передал офицеру. Тот, грузно поднявшись на ноги, взял миску в руки и что-то сказал, а Джумига перевел:

– Господина фунде-бошко говорита: голова – почетный гость.

Фунде-бошко передал голову Бестужеву. Видя его замешательство, Джумига, глядя в костер, шепнул, чтобы он дал офицеру и себе глаза, а чиновнику – ухо.

– Очень приятно, что господин фунде-бошко Най-бао с почетом встречает нас, – сказал Бестужев. – Один глаз я отдаю ему, чтобы он был зорким и метким на охоте, другой беру себе, чтобы хорошо плыть по Амуру. Арсыгану – ухо, чтобы внимательно слушал вас. А язык я поделю между всеми, чтобы мы и впредь говорили на языке дружбы.

Арсыган разложил горячие куски баранины. Тост следовал за тостом, а фунде-бошко успевал выпивать и между ними, жадно пожирая мясо, помидоры. В конце ужина он встал, пошатываясь, обошел костер, обнял Бестужева и начал что-то лепетать. Лицо его было потное, тело горячее от огня и водки.

– Господина офицера говорита: завтра надо ходи рано-рано.

Арсыган кликнул кого-то с улицы. Во двор вбежали люди с носилками, и, едва они оказались у костра, фунде-бошко рухнул в носилки. Арсыган засеменял вслед за процессией.

– Как ловко все! – восхитился Павел и поднял левую руку вверх. Джумига сунул в нее помидор, и все засмеялись. Хозяин с Джумигой, боясь офицера, почти не ели и не пили. Теперь, после ухода фунде-бошко, старики с удовольствием выпили и начали есть. Прощаясь с ними, Бестужев попросил принести утром несколько куриц и яблок. Баржа находилась недалеко. Бестужев с Павлом вернулись и легли спать.

На рассвете маньчжуры принесли битую птицу и пять ящиков яблок. Бестужев достал кошелек, но Джумига сказал, что это подарки.

– Би без мунгу абхымбоб!<sup>21</sup> – ответил Бестужев на смеси бурятских и русских слов. Маньчжуры все же поняли его. Но брать деньги наотрез отказались.

Вдалеке послышался стук колес и копыт, затем из тумана показались лошадь и дрожки, в которых сидели фунде-бошко, Арсыган и возчик. Офицер выглядел неважно. Опухшие веки, тоскливый взгляд, мятое лицо выдавали похмелье. Зайдя в каюту и увидя в шкафчике бутылку красного ликера, показал на нее. Бестужев налил ему тягучей розовой жидкости, настоянной на мяте. Фунде-бошко, не торопясь, с удовольствием начал смаковать ее мелкими глотками. Выйдя на палубу, он приказал Арсыгаиу и Джумиге, которого взяли как переводчика, сесть у носовой бабки, а сам пошел спать.

## АЙГУН

На пологом правом берегу лежало много перевернутых джонок. Еще больше их качалось на воде. За пристанью виднелись крыши глинобитных вышек наподобие каланчей, на которых висели флаги, шары, силуэты каких-то фигурок. Увидев на берегу группу офицеров в шапках с синими и белыми шариками, фунде-бошко сник. От его высокомерия не осталось и следа.

– Ну, братцы, не плошай! – крикнул Бестужев кормщику и гребцам. Осторожно подходя к пристани, чтобы не задеть джонки, они плавно подвели баржу к причалу. Большая толпа стала наседать на солдат, ограждающих спуск к пристани. Тех, кто особенно выступал вперед, они отгоняли палками. Бестужев, Павел и Чурин сошли на берег, за ними спустились фунде-бошко, Арсыган и Джумига.

В окружении чиновников стоял правитель города мейрен-джангин<sup>22</sup> Хуцумба. Он был

---

<sup>21</sup> Я без денег не возьму!

<sup>22</sup> Должностное лицо (маньчж.)

в курме темно-желтого цвета, на шапке – светло-голубой шарик и три собольих хвоста. Человек почтенных лет, с весьма умным выражением лица и пронизательным взглядом, он держался строго и с большим достоинством. Выйдя вперед, Ху цумба с легким поклоном пожал руку Бестужеву и его спутникам, затем представил своих помощников, среди которых оказался «почтарь». Тот и вида не подал, что знает Бестужева. Правитель начал говорить, Бестужев хотел позвать Джумигу, но того вместе с фонде-бошко и Арсыганом уже не было рядом, и переводить стал один из офицеров.

– Мейрен-джангин Хуцумба проси позволень сообщай ваш приезд амбань Джераминга и приглашай ходи тот дом.

– Скажите, что я позволяю это, – кивнул Бестужев.

Офицер прокричал что-то, и толпа раздалась в стороны. Солдаты, шедшие впереди, покрикивали на людей, замахиваясь палками. Торжественная процессия направилась по коридору из людей, которые с любопытством оглядывали трех высоких русских начальников.

– Смотрите, сколько женщин, – сказал Павел.

– Да какие хорошенькие! – отметил Чурин. Китайских женщин Бестужев не видел никогда.

В Кяхте и Маймачене, как и в других пограничных городах, им не разрешалось жить. И здесь он впервые увидел маньчжурок, которые показались ему гораздо красивее, выше буряток и тунгусок. Этому, вероятно, способствовали высокие прически: аккуратно зачесанные вверх волосы украшены цветами. Одеты они в синие платья или длинные курмы с широкими рукавами, а внизу узкие шароварчики с тесемками. Ноги у большинства длинные, стройные. Здесь явно нет обычая уродовать их колодками. Движения плавные, грациозные, глаза быстрые, живые. Чурин подмигнул одной из них, она смущенно зарделась, отвела глаза, но тут же лукаво, озорно глянула на него и Бестужева. Молодых мужчин в толпе совсем нет – большинство мобилизованы в армию. А старики и старухи в рубище и лохмотьях. Детишки босые, полуголые.

Солдаты выглядели настолько убого, что совсем не походили на военных. Одеты, как простые крестьяне. Вооружены палками и пиками. Кое у кого – щиты с изображением драконов. Пистолеты лишь у некоторых офицеров.

Пройдя улицу, они вошли в ворота небольшого дворика, сплошь уставленного орудиями пыток и казни. Тут и щипцы разных размеров, и барабаны, утыканные гвоздями, и доски с вырезами для зажима голов. За первым двориком оказался другой, внутри которого стояла конница. Всадники на маленьких монгольских лошадках. Как и солдаты, все в лохмотьях. Ружей нет, сабли не у всех, у большинства – длинные деревянные пики с железными наконечниками, луки со стрелами в колчанах. На возвышении у забора стояли пушки на деревянных лафетах, покрытые рогожей и отгороженные веревками.

Здесь их пригласили в глинобитный дом, над которым высились два столба с желтыми флагами и иероглифами. Внутри прохладно, сумрачно – бумажные окна плохо пропускали свет. Мейрен-джангин жестом пригласил гостей за стол, на котором стояли фрукты, овощи, пряности, какие-то коробочки, графины с напитками и шанси. В комнату вошел посыльный от амбана и, встав на левое колено, что-то сказал, глядя в пол.

– Амбань Джераминга рада ваш приезд, сыкоро ходи сюда, – перевел офицер. Показав на «почтаря», Бестужев спросил, не был ли тот в Усть-Зее. Переводчик спросил его, но тот отрицательно качнул головой. «Тоже мне, конспиратор, – подумал Бестужев, – и бог с ним, пусть шпионит».

– Посему адмирала без эполета? – перевел офицер вопрос мейрен-джангина.

– Мы везем мирный груз – товары для русских поселенцев.

– Однако на прошлы год такой товар водил военны, – не унимался Хуцумба, а вслед за ним переводчик.

– О господи ты боже мой! – улыбнулся Бестужев. – Разве плохо, что сплав ведут статские?

Тут в комнату вошел запыхавшийся посыльный.

– Амбань Джерампнга занят, его проси начинать без него.

Мейрен-джангин взял в руки бокал и начал речь, в которой передал слова амбаня о том, что считает новый сплав укреплением дружбы между Срединной империей и Россией, и предложил выпить за дружбу китайцев и русских.

– Хороший тост, – сказал Бестужев и выпил бокал. Тут «почтарь» передал Хуцумбе листок, и немного погодя тот спросил, знает ли Бестужев адмирала Путятина. Он ответил, что учился с ним в Морском корпусе. Затем его спросили, долго ли и где он живет в Сибири, чем занимается. Он ответил, что живет в Сибири ровно тридцать лет, последние годы – в Селенгинске, где производит тарантасы.

– Вы еся крупна фабрикант?

– На моих тарантасах ездят по всему Забайкалью, – ответил Бестужев, незаметно мигнув Павлу. Услышав перевод, офицеры с уважением закачали головами. Бестужеву надоели бесконечные расспросы, и он обратился к переводчику:

– Передайте господам, что если амбань не придет скоро, то мы продолжим наше плавание.

Эти слова почему-то вызвали беспокойство среди офицеров. «Почтарь» передал мейрен-джангину какой-то листок, тот косо глянул на него и начал что-то говорить. Переводчик пропел:

– Торопиза не надо. Амбань моги ходи сюда. Это неуважай амбань и все сыдес сидящи.

– При всем уважении к амбаню и всем здесь присутствующим мы не можем терять времени на эту, конечно, весьма милую беседу. Передайте амбаню глубочайшую признательность за великолепный прием, но нам пора в путь... Просим передать амбаню наши скромные подарки, часть которых вы можете разделить между собой...

В комнату внесли несколько тюков сукна, дабы,<sup>23</sup> ящик с ликером. Против ожидания Хуцумба не стал настаивать на продолжении приема, пожелал счастливого плавания и сказал, что в знак глубочайшего уважения они дарят им свинью...

Услышав это, Бестужев подумал, что переводчик, вероятно, ошибся и речь, видимо, идет о свинине. Но, выйдя из дома, они увидели на телеге большую свинью в клетке.

– Что называется, подложили свинью, – усмехнулся Павел.

– Подарок хороший – пудов десять, – сказал Бестужев.

Когда они вернулись на баржу, фунда-бошко, Арсыган и Джумига уже были на борту. Попрошавшись с начальством, Бестужев поднялся по трапу и велел Павлу принести ящик конфет и передать их детям. На берегу поднялась радостная суета. Баржа отошла от причала и начала быстро набирать скорость, дети побежали вдоль берега, замахали руками, закричали вслед...

«Верховному главнокомандующему всех войск Маньчжурии, Князю VI степени, господину Ишаню

Высококочтимый и достопочтенный князь!

Во время кратковременного пребывания в Айгуне (Сахалин Ула-Хотоне) господин Бес-ту-шин со своими спутниками был принят местной администрацией. Господин амбань Джерампнга не удостоил своим присутствием человека с темным прошлым и не совсем выясненным настоящим положением. К сожалению, мейреп-джангин Хуцумба не очень хорошо вел беседу, из-за чего не удалось глубже узнать отношение Муравьева к адмиралу Пу-тя-тин, новые данные о господине Бес-ту-шине, кроме того, что он живет в Селенгинске и занимается производством тарантасов. Судя по всему, он человек довольно набожный: часто повторяет „О господи ты боже мой!“, что примерно соответствует заклинанию „Ом мани падме хум!“.

Обладая прекрасной зрительной памятью, господин Бес-ту-шин узнал меня. Неверно

---

<sup>23</sup> Китайская бумажная ткань.

утверждение, будто все восточные люди для русских – на одно лицо, наподобие того, как для нас – их лица одинаковы.

На сей раз я еще больше склоняюсь к мнению, что и нынешний караван не представляет угрозы для Срединной империи. Однако есть опасения иного рода: низшие сословия всячески стремятся к сближению с русскими. Головные баржи были хорошо приняты жителями Татыгира. По моему приказу фунде-бошко Найбао был допрошен с пристрастием. Он заявил, что отнюдь не способствовал хорошему приему русских и что они специально напоили его, в чем я весьма сомневаюсь: Най\* бао известен как обжора и пьяница. Многие торговцы Татыгира и других селений научились изъясняться на этом ужасном по произношению языке.

Подарок – большая свинья, преподнесенная русским, вызвал у них странную реакцию, суть которой выяснить пока не удалось.

К сему преданный Вам до последнего ногтя

*Юй Цзечин.*

*Айгун (Сахалин Ула-Хотон) ,*

*июля 19 дня полной луны,*

*1857 года – года железной змеи».*

## **«СОБИРАЙТЕСЬ, МЕЛКА ЧЕРНЯДЬ...»**

Яркое солнце заливало берега и гладь Амура. Арсыган и Джумига сели на головные баржи и повели их по лабиринту проток. Фунде-бошко Найбао снова лег спать. Вид у него после Айгуна был еще более жалкий, видно, влетело за что-то от начальства.

– А фунде-бошко – мелкая сошка, – усмехнулся Чурин.

– В Айгуне – медиа вошка, а в Татыгире – царь и бог, – сказал Павел.

Бестужев сел под навес в центре баржи. Перед глазами все стояли толпы маньчжуров и войско амбаия. При всей отдаленности и различии обстоятельств и времени почему-то вспомнились толпы народа и царская гвардия на Сенатской площади. И там и тут для власть имущих народ – презренная чернь, безропотная чернядь, черпая кость. Но по какому праву их называют так? Придет ли время, когда эти слова исчезнут из лексикона? И так ли уж безмолвна чернь у них и у нас? Вон как сотрясается Китай от восстания тайпинов. Богдыхан боится их не меньше англичан и французов, высадившихся в Кантоне.

А люди, окружившие Сенатскую площадь? Тогда Бестужеву показалось, что они собрались из любопытства. Но по крикам одобрения, желанию присоединиться, помочь стало ясно, что многие понимают, ради чего Московский полк вышел к Сенату: не с просьбой, а с «грозьбой» – волю требовать народу за двенадцатый год! Именно так говорили люди после восстания.

Полиция, получив приказ разогнать «подлую чернь», оробела после того, как один из жандармов, въехавший в толпу, был избит до полусмерти. А когда правительственные войска стали оттеснять народ, их встретил град камней, палок, поленьев. К восставшим то и дело подбегали строители Исаакиевского собора, грузчики, возчики. Один из «волонтеров» крикнул: «Дайте нам ружья! Мы вам весь Петербург вверх дном перевернем!» И в самом деле перевернули бы. Как ту баржу на Шилке. Сколько могучей, лихой силы обнаружилось у людей на площади! Не испугались они и высоких чипов – забросали камнями генерала Воинова и принца Вюртембергско-го, едва не стащили с коня генерал-адъютанта Алексея Орлова. И стоило бы декабристам призвать на помощь толпу, кто знает, все могло бы обернуться иначе.

На одном из заседаний перед восстанием Якубович предложил привлечь помимо солдат и чернь, разбить кабаки, лавки, потом взять хоругви и идти к Зимнему дворцу. Но этот план был отвергнут. Рылеев, Трубецкой и Другие руководители общества, боясь буйства простоллюдинов, новой пугачевщины, решили действовать только силами своих войск, надеясь обойтись без кровопролития, принудить Сенат подписать и огласить

манифест о введении нового правления.

Несколько дней и ночей перед восстанием братья Бестужевы и Рылеев вели агитацию и в казармах Московского полка, и на заставах, и прямо на улицах. Останавливая солдат и прохожих, они говорили, что присягать Николаю – значит изменять истинному государю Константину, которого арестовали и не допускают к престолу за то, что он хочет дать волю крестьянам, снизить срок службы солдатам. Слухи об этом подняли, возбудили народ, который собрался на площади, полагая Сенат выше царя: как сенаторы порешат, так и будет!

Много лет спустя Бестужев услышал в Верхнеудинске, на перевозе через Селенгу песню, которую пели солдаты: «Собирайтесь, мелка чернядь, собирайтесь на совет...» Он уловил в ней отголоски событий 14 декабря, отражение плана восставших – захватить Сенат и принудить его «не в показанное время» вызвать царя и потребовать отречения от престола. Бестужев спросил запевалу, откуда он знает песню, тот ответил, что слышал на Енисее, а как она туда попала, не ведает.

Вот и безмолвная чернь! Как запомнила, отобразила все! И не только в той песне, но и в преданиях, где рассказывалось о бунте, поднятом Муравьевыми, Бестужевыми и другими офицерами, и о том, как казнили главарей, а остальных сослали на каторгу... Странно было Бестужеву слышать свою фамилию из уст безвестных бородатых мужиков в сибирской глуши. Светло и радостно становилось на душе от того, что народ хранит память о них. Хотелось верить, что песни и предания эти дойдут и до потомков.

## НАКАЗАНИЕ ШИШЛОВА

Вскоре Бестужев решил остановиться, чтобы обождать отставшие отряды. Лишь к концу дня сверху показались баржи Шишлова.

– В чем причина задержки? – спросил Бестужев и вспомнил, что точно так же к нему обращался Муравьев. Шишлов, только поднятый с постели, с опухшим от сна и выпивки лицом – явно пил не только вчера, но и сегодня, держался нагло, развязно.

– В Усть-Зее задержался из-за того, что не успел починить баржу, а потом пришлось помогать Пьянкову.

– А на что пил? Что пропил? – спросил Павел.

– Какое тебе дело? – зло ответил Шишлов. Спустившись в трюм баржи, Бестужев, Павел и Чурин стали осматривать ящики, бочки, мешки и поняли: узнать, что продал Шишлов, невозможно – товары беспрестанно перегружались с баржи на баржу. Но тут Бестужев увидел в углу под рогожей бочку вина и два ящика сахара, которых у них не было, и спросил, откуда они тут. Шишлов ответил, что купил в Усть-Зее на свои деньги.

– Свои ты пропил еще до Амура! – сказал Павел.

– Ладно. Сколько заплачено за это? – спросил Чурин.

Не ожидав такого вопроса, Шишлов замялся, прикидывая, сколько пришлось бы отдать, если бы он в самом деле купил все, потом сказал, что потратил два червонца.

– Ах, как просчитался, – все это стоит раза в два дороже, – усмехнулся Павел, – на что променял?

– Может, украл, но поди докажи!

– Унести вино и сахар! – приказал Бестужев.

– Не имеешь права! Тоже мне, адмирал каторжный!

Не выдержав оскорбления, Бестужев ударил его. Шишлов упал.

– Я буду жаловаться! Что я – рабочий?

– Ты хуже последнего рабочего! – Бестужев схватил палку и начал бить его. Тот побежал к лестнице, но Павел ударом свалил Шишлова на пол и хотел поддать еще. Однако Бестужев остановил его. Тяжело дыша от ярости, он смотрел, как ворочается, стонет на полу Шишлов. И хотя тот больше изображал боль, все это напомнило сцену с Сухомлиным.

Вернувшись к себе, Бестужев лег и словно провалился в бездну. Проспав остаток дня и всю ночь – двенадцать часов кряду, он не слышал ни стука шпаклевочных молотков, ни

разговора и ходьбы на палубе, а перед пробуждением увидел нехороший сон, будто он бьет Шишлова, тот падает, начинает корчиться на земле, Бестужев наклоняется и видит, что это не Шишлов, а дочь Леля плачет, мечется от боли. И тут он проснулся. Однако успокоиться не мог в течение всего дня.

После полудня показались наконец баржи Пьянкова. Бестужев приказал идти дальше без остановок и отправил к нему Джумигу. Выждав, когда пьянковские баржи уйдут подальше, он разбудил фунда-бошко. Тот нехотя сел у носовой бабки и достал веер. Бестужев подошел к нему.

– Не обижайся, Найбао, надо плыть. Теперь так: если влево, подними эту руку, а вправо – эту. Итак лево – тут, право – тут, – еще раз показал он.

Фунде-бошко понял, что от него требуют.

Берега Амура были по-прежнему пологими. Изредка на правом берегу виднелись берестяные чумы манегров и солонов, реже – мазанки маньчжуров с небольшими, хорошо ухоженными огородами. Судя по компасу, они плыли прямо на юг. Нестерпимо пекло солнце. Туча оводов и слепней роилась над баржей, фунда-бошко отмахивался от них веером. Как ни странно, он неплохо знал путь.

– Левотут! – раздался его крик. Кормщик не понял и спросил Бестужева, чего он кричит, тот усмехнулся и пояснил. Через некоторое время Найбао крикнул «Правотут!» и поднял правую руку. Павел засмеялся:

– Вот и «божко» сгодился!

– Какая славная рощица! – показал Чурин на правый берег. – Деревца одно к одному, будто в один год посажены.

– Так и есть, – подтвердил Бестужев. – Паргачевский говорил, лес тут посажен от сильных ветров с востока.

– До чего трудолюбивый народ! – сказал Павел. – И к нам хорошо относится.

– Никак не пойму, – сказал Чурин, – чего богдыхан не уразумет, что от дружбы с Россией им только польза. На юге бои гремят, а тут – пушки под рогожей.

– Вот я не военный и не стратег какой, – сказал Павел, – но на месте богдыхана вступил бы в союз с Россией, а то не дружба, а тружба получается, – вспомнил он, как произносили это слово в Айгуне.

– Вот кого надо было послать в Пекин, – улыбнулся Чурин, – вместо Пу-тя-тин.

– Братцы, а фунда-бошко все понимает, – сказал Павел, увидев, как тот повернул голову при упоминании Путятина.

– Вот и хорошо, если так, – сказал Бестужев. – Пусть доложит начальству, что мы говорим тут о дружбе...

– Левотут! Правотут! – вдруг крикнул Найбао, показывая на баржи, застрявшие сразу в двух протоках.

– Слезай, приехали, – вздохнул Бестужев.

## ПРОЩАНИЕ С МАНЬЧЖУРАМИ

Причалив к берегу, Бестужев с Павлом пересели в лодку и поплыли к Пьянкову. Павел сказал, что и с ним надо что-то делать. Сколько можно терпеть? И люди его разболтались совсем.

– Он слишком добр...

– Извините, Михаил Александрович, и вы такой же, – сказал Павел. – Люди должны бояться, иначе нельзя – вся Россия кулаками и розгами держится!

– То-то и страшно, что кулаками и розгами, – вздохнул Бестужев. – Вспомни, высекли кормщика – сбежал.

– Зато с Шишлова слетело нахальство, и сейчас бы надо.

– Что ты предлагаешь?

– А вот дозвольте. Без битья – истинный крест!



Бестужев ничего не ответил, а Павел, видимо, принял это за согласие. Проверив другие баржи, Бестужев огорчился – больно крепко они сели. Вернувшись к себе, он увидел, что фунда-бошко укладывает свои пожитки. Джумига сказал, что дальше они плыть не могут, и попросил перевезти их на правый берег, где находился маньчжурский пограничный пост. Бестужев решил проводить их, сел на корму большой лодки, фунда-бошко разместился на носу, Арсыган с Джумигой взялись за весла. Для помощи на обратном пути Бестужев пригласил Кузьму.

Быстрое течение начало сносить лодку. Правя чуть поперек течения, Бестужев повел ее к острову. За ним пересекли еще одну протоку и увидели глинобитную фанзу в лесочке. Когда они причалили ниже ее, Кузьма снял ичиги, закатал штаны и побрел по воде, потянув лодку бечевой.

– Ой че браво-то! – блаженно шлепал он по теплomu песку.

Но тут Джумига показал на следы больших когтистых лап на берегу: «Амба ходи». Кузьма не понял и переспросил. Бестужев пояснил, что это следы тигра. Паренек обеспокоенно оглядел заросли, спросил, заряжен ли штуцер, и без прежнего удовольствия потянул лодку вверх.

Через некоторое время они вышли к большой поляне, посреди которой стояла фанза, огороженная плетнем. Джумига сказал, что здесь живет бывший хафан<sup>24</sup> Мангири. Хозяина дома не оказалось, но ждать пришлось недолго. Вскоре он появился верхом на лошади в сопровождении двух собак. Это был высокий старик в ярком халате.

– Очень рад дорогой гость.

– Вы хорошо говорите по-русски, – сказал Бестужев.

– Четыре года назад Сычевски учил меня первы русски слов, потом кажды год тут ходи ваши караван.

Бестужев попросил старика проводить их до Бурей, тот сразу же согласился, сказав, что за домом посмотрит сын, который сейчас на охоте. Кузьма спросил, правда ли, что тут есть тигры. Мангири улыбнулся и сообщил, что ходит здесь один.

– Если встыречай, спокойно разговаривай – его уходи, – посоветовал он.

Договорившись с Мангири, что он подъедет к баржам через два дня, Бестужев распрощался с маньчжурами, заплатив им деньги, и поплыл с Кузьмой на левую сторону Амура.

## КОМАРИНАЯ КАЗНЬ

На фоне догорающей зари над водой кружились тучи комаров и мошкары. Их звон и писк сливались в монотонное гудение. Кузьма, занятый веслами, время от времени шлепал себя по шее и щекам, убивая и отмахиваясь от них.

Переправившись на другую сторону, Бестужев предупредил людей о возможном появлении тигра и приказал бдительнее нести охрану. Ночью он долго не мог уснуть из-за комаров. А когда задремал, ему снова пригрезилась плачущая Леля. Только стенала она почему-то мужским голосом, тяжело, глухо. Очнувшись от кошмара, он понял, что сна теперь не будет, и закурил. Чурин спал с покрытой одеялом головой. Павла в каюте не было.

Немного погодя ему снова почудился не то хрип, не то стон. Беспокойство от непонятных звуков напомнило о тигре, и он, проверив пистолет и взяв штуцер, спустился на берег.

– Не знаешь, что там случилось? – спросил он охранника.

– Видно, напился кто-то и буянит, – ответил тот. – Токо больно долго.

Бестужев сел в оморочку и поплыл вниз по течению. Над водой стенания стали слышнее. Но вскоре послышались другие странные звуки – плеск и шумное дыхание.

---

<sup>24</sup> Начальник пограничного поста (*маньчж.*).

Перестав грести и глянув на светлую полоску воды, он увидел, как на нее выплыло что-то темное. Ветер дул снизу, и огромный зверь, не чуя человека, продолжал плыть к барже, мерно и сосредоточенно сопя над водой. «Это же тигр!» – наконец догадался Бестужев. Не зная, что предпринять, он не двигался, и течение стало сближать его с тигром.

Вспомнив совет Мангири, он решил окликнуть зверя:

– Эй, мужик!..

Продолжая плыть, тигр повернул голову и, увидев человека, перестал грести лапами. Огромные глаза, излучающие желтоватые, как у кошки, огни, леденили душу. Бестужев даже почувствовал смрадный запах из пасти зверя.

– Слышь-ка, иди отсюда подобру-поздорову, – боясь, как бы тигр не бросился на него, он взял в руки штуцер. Зверь фыркнул и поплыл сначала вниз по течению, а потом к правому берегу. Вскоре силуэт головы растворился во тьме, но было слышно, как тигр выбредал на отмель, а затем в несколько прыжков достиг суши. Затрещали кусты, и все стихло.

– С кем это вы? – послышался голос Павла с баржи.

– С тигром, – ответил Бестужев и снова услышал стон. – Что у вас тут?

– Поднимайтесь, увидите, – в голосе Павла звучало нечто вроде удовольствия.

На барже загорелся фонарь. Бестужев причалил, взобрался наверх и оказался возле мужика, привязанного руками назад к кормовой бабке. Подняв его голову, он увидел на лице сплошную массу разбухших от крови комаров, а вокруг кружил еще больший рой насекомых, готовых сразу же занять освободившееся место. Во рту торчала тряпка. Бестужев выдернул ее и стал очищать лицо, шею несчастного. Тряпка сразу же покрылась кровью.

– Развяжи руки! – приказал он Павлу, – Да побыстрей!

Павел поставил фонарь и начал разматывать бечеву. Кормщик был без чувств. Бестужев попросил принести воды и стал обмывать лицо мужика. Кормщик пришел в себя и попытался открыть глаза, но веки опухли так, что он не мог этого сделать, однако по голосу узнал Бестужева.

– Спасибо, адмирал, – прохрипел он, – век не забуду... И ирода этого навек запомню! Лучше б высек, чем так, – и вдруг заплакал от бессильной злобы, обиды. Бестужев гневно глянул на Павла, хотел что-то сказать, но тут кормщик начал яростно расчесывать в кровь лицо, шею, горевшие от нестерпимого зуда. Бестужев с помощью Павла отвел кормщика вниз. Там он смочил платок водкой и начал протирать лицо и руки страдальца. Тот застонал от боли, но зуд сразу же поутих. Бестужев велел соседям делать так же, как только тому опять станет хуже.

Тем временем начало светать. Бестужев приказал Пьянкову разбудить людей. Впрочем, многие так и не спали от криков и стенаний кормщика. Бестужев сел в лодку и выговорил Павлу:

– И это называется – без пролития крови? Изверг ты!

– Не сердчайте, зато всем наука, – оправдывался тот.

– Какая наука? Бояться будут, но ненавидеть – еще больше! Еще немного – и тигр съел бы.

– Какой тигр?

– На всю округу стоны, вот тигр и подплыл к нему.

– Как же вы отогнали его? Я выстрела не слышал.

– Не все решается пулями и розгами!

– Надо было б убить, шкуру сняли бы.

– Шкура понадобилась! О своей теперь побеспокойся!

## МАНГИРИ

Два дня шла работа по разгрузке и снятию барж с мелей. К концу второго дня к ним прибыл Мангири. Сын его, юноша лет шестнадцати, высадив отца, сразу же отправился обратно.

Мангири много лет мирно жил на берегу Амура. Чиновники из Айгуна не очень привечали его как единственного хафана – неманьчжура. Зато солоны, основная часть жителей этих мест, уважали и любили своего сородича. Мангири не стремился показать свою власть, не тиранил и не облагал жителей поборами, чем отличались его коллеги на соседних заставах. Главное же, он совершенно не пил спиртного, всегда был ровен, спокоен, интересно рассказывал он о первой своей встрече с русскими в 1854 году.

Приближение огромной флотилии с несметным, как говорили, войском кинуло в панику не столько население, сколько чиновников провинции. Поступило распоряжение жителям покинуть свои дома, и для того пустили слух, будто русские убивают и грабят всех. Но первые же встречи убедили жителей в полном миролюбии русских. Манегры, солоны стали нести все, что можно было продать или обменять. Узнав, что русские берут со своих подданных – тунгусов, якутов – всего по десять белок, тогда как маньчжурский ясак был в десять раз больше, солоны, дауры, манегры решили переехать на левый берег Амура и принять русское подданство. Однако власти запретили это...

Во время рассказа в каюту вошел Павел и сообщил, что кормщику плохо. Узнав, в чем дело, Мангири достал из своей сумки два небольших флакона и попросил отвести к больному. Увидев его, он покачал головой. Лицо, покрытое струпьями, опухло еще больше и стало гноиться. Мужик впал в беспамятство, тяжело дышал. Мангири откупорил бутылочку с темно-зеленой жидкостью. Густая, вязкая, как смола, мазь тягучей струей потекла на чистую тряпку, смоченную жидкостью из второго флакона. Мангири, как лаком, покрыл ею лицо и шею.

– Руки надо вяжи, а то мазь стирай. Утром пройдет, – пообещал он. – Это желчь медвежа, а тута – женьшень.

К удивлению всех, утром опухоль действительно сошла, и кормщику стало лучше. Смазав еще раз струпья, Мангири сказал, что скоро заживут и они.

– Ох, дед! – стал благодарить кормщик. – Век за тебя молиться буду.

Отправляя отряды Пьянкова и Шишлова, Бестужев попросил Мангири быть впереди. Целый день шли хорошо, но к вечеру все передовые баржи сели на мель. Мангири сказал, что на этот раз никто не виноват – другого пути нет, караваны всегда ходили только здесь. Но ждать у моря погоды не хотелось, Бестужев решил преодолеть мели по следам. И хотя лес находился в семи верстах, он направил туда несколько человек зая жердями, а остальным приказал разгружать баржи.

Жерди доставили лишь на следующий день, а река за: это время обмелела так, что одна из барж полностью оказалась на суше. Сделав под нее подкоп, рабочие настелили слеги саженой на сорок. Уклон был небольшой, но достаточный для стягивания. Более ста человек, почти половина сплавщиков трех отрядов, участвовало в опе-Ч рации. Одни взяли за канаты, другие приготовились толкать сзади.

– Раз-два, взяли! Еще взяли! – командовал Павел.

Баржа дрогнула от напора и, тронувшись с места, медленно заскользила по следам. Все, кто мог, продолжали тянуть ее. Набирая скорость, она шла все быстрее, подминая своей тяжестью слеги. Достигнув воды, она подняла бурн, и люди закричали «ура», будто не баржу стянули с мели, а новый корабль спустили со стапелей. Другие баржи были ближе к воде, и их удалось стянуть быстрее.

## **ВСТРЕЧА С РАДДЕ**

Четвертого августа в четыре часа утра при свете убывающего полумесяца они снялись и пошли под Хинганской горловине. Амур, стиснутый здесь до трехсот саженой, нес свои воды быстро, стремительно. Ни одного мыска, ни островка на пути. Клокочущая, бурлящая толща воды зримо передавала огромную мощь даже наполовину убывшего Амура. До чего же любо было мчаться без остановок после сонной одури мелей и илистых проток. Амур здесь походил на человека, который вдруг решил показать все, на что он способен.

Лишь в девять вечера, пройдя щеки Малого Хингана, они стали причаливать для ночлега. И увидели человека, машущего им с берега. Это был Густав Иванович Радде.

– Наконец-то, – бросился обнимать он Бестужева, – Отряды Иванова и Никитина прошли месяц назад, а вас все нет и нет.

Радде повел гостя вверх, и через полверсты они оказались на пологой поляне, где высился большой дом.

– Знаете, из чего построен он? – спросил Радде. – Из бревен вашего плота! Как же я благодарил вас и в пути, и здесь, когда ставил этот замок. А сейчас баню и конюшню строим. Мне помогают три казака и тунгус Горонга, которого нанял тут. Недавно он крестился и стал называться Иваном. Прекрасный помощник! Неделю назад он увидел, кто-то плывет с той стороны. Темнело, как сейчас. «Барин, медведь, – шепчет мне, – Стрелять, нет?» «Конечно, – отвечаю, – только пусть из воды выйдет...» Сопит, будто близехонько. Вышел из воды, отряхивается – ба, да это кабан! И здоровущий такой! Двумя прыжками хват в кусты. Горонга выстрелил в угон и говорит: «Ну, барин, зря не стрельнули раньше, а теперь ушел». Пошли в кусты, может, ранили и догоним по крови. Смотрим, а кабан лежит, не дрыгается – наповал убит. Ну, жирный парень – девять пудов мяса да пуд жира из потрохов натопили...

– Слушаю вас и удивляюсь – совсем по-сибирски говорите.

– А чем я не сибиряк, даром, что ли, год на Байкале прожил?

Войдя в дом, Бестужев оказался в просторной комнате, заваленной множеством коробок с насекомыми, чучелами птиц и животных. Огромная голова тигра, снятая вместе со шкурой, лежала на полу.

– Этот господин за нами охотился. Мы сидели на берегу, а он начал к нам красться. Явно людоед. После прошлой зимы, когда погибло много наших, тигры и медведи стали людоедами, так что будьте осторожнее...

Бестужев сказал, что знает об этом, и рассказал своей встрече с тигром. На книжной полке лежали определители растений, «Синописис» Коха, «Зоография» Палласа, у изголовья постели – «Фауст» Гете и томик Шиллера.

– Гете и Шиллер всегда со мной, и на Кавказ возил, и на Байкал. А вы взяли что-нибудь с собой?

– Томик Лермонтова, – ответил Бестужев...

Тут в комнату вошел высокий статный казак. Густав Иванович представил его – Николай Бородин. Тот с достоинством поклонился и сказал, что пора ужинать.

– Неси кабанятину, а я растоплю печь, – приоткрыв дверцу, Радде показал в глубь печи на вытисненные в кирпичках фамилии – Радде, Бородин, Кухтин, Номохонов. – Решили память оставить о себе, найдет кто-нибудь в будущем веке развалины дома и вспомнит нас... Эх, были бы деньги, я бы не год, а несколько лет провел здесь. Такой край, столько нового – девятьсот видов чешуекрылых, пятьсот видов жуков собрал всего за полтора месяца. Но на днях горе случилось. Поймали редкостного барсука, закрыли в клетку, а он ночью землю подкопал и был таков.

– Какое же это горе? – улыбнулся Бестужев.

– Как же? Вдруг не найдем такого же?

После ужина Бородин вышел, и Радде стал нахваливать его.

– За что бы ни взялся – все сделает. Такой сметливый да ловкий. Жил себе в Забайкалье, нигде не учился, но так удивляет порой. Закрепляю парус в лодке, а он говорит: «Барин, еще шесть градусов левее...»

– Повезло вам с помощниками.

– Не совсем, Бородин и Горонга хороши, а Кухтин и Номохонов – ленивцы.

Бестужев спросил, различает ли Радде местные племена. Тот ответил, что народности, языки – не его специальность, но он невольно изучает, сравнивает их.

– Тут все перевито, как в джунглях. Смотришь ствол – яшень, но листья другие, потянешь ветку – а это лианы. Так и у местных племен. Способы охоты, рыбалка, обычаи, язык – все переплетено, перекручено. Судя по всему, все они – потомки чжурчженей. Это

была могучая империя, занимавшая Приамурье, Сахалин, Приморье, часть Кореи и Маньчжурии. Чжурчжени имели свою письменность, плавил металл, строили корабли, на которых ходили в Японию, Китай...

– Куда же они делись?

– Чингисхан уничтожил. Его полчища разрушили юрода, увели жителей в плен, многих убили, а те, кто уцелел, разбежались по глухим падям, перешли на охоту, рыбную ловлю, не смогли восстановить прежнее хозяйство, одичали.

– Но неужели никаких следов от целого народа?

– Есть, даже в этой вот комнате, видите, где проходит дым из печи? – показал Радде на теплые нары.

– Но это же китайская печь, видел такую в Татыгире.

– Нет! Это изобретение чжурчженей, а от них печь перешла к маньчжурам и китайцам. На Уссури и здесь я видел на останках древних городищ дымовые ходы, подобные этим. А в низовье Амура и на скале Тыр обнаружены древние письмена, совсем не похожие на китайские. Это наверняка автографы чжурчженей. Следы навыков предков я ощутил и у Горонги, ведь глину нашел, лепил кирпичи и обжигал их он. Золотые руки! О том, как он стреляет, вы знаете по истории с кабаном, но рыбачит он еще лучше. Вот этих осетров, которых мы едим, он ловит по нескольку в день. Вообще-то это не осетр, а калуга – наиболее крупный вид осетровых. Есть особи до шестидесяти пудов, – видя изумление Бестужева, Радде улыбнулся, – это не рыбацьи сказки, а научный факт, зафиксированный Ричардом Мааком...

До самого утра не сомкнули глаз гость и хозяин, не заметив, как наступил рассвет.

## ПАРОХОД «АМУР»

Вечером шестого августа отряд прибыл к устью Сунгари. Ее мутно-желтые воды двумя рукавами вливались в Амур. На левом мысу – небольшая маньчжурская деревушка. Из-за поворота появился пароход; шум парового двигателя, клубы дыма из высокой трубы, равномерный плеск воды под плицами колес, возвышающихся над бортами, множество огоньков на палубе и в каютах – все это после долгого плавания на грубых, неуклюжих баржах меж диких берегов казалось каким-то сном.

Возле трубы взвилась белая струйка пара, затем донесся хриплый протяжный гудок, далеким эхом раскатившийся по Амуру и Сунгари. Люди на баржах замерли, завороченно глядя, как подходит сияющий огнями корабль. «Амур» был гораздо больше и красивее «Лены». Пассажиров было немного, и все они вышли на палубу. Капитан встретил Бестужева у трапа и, пожав руку, провел в кают-компанию.

– Муравьев, не дождавшись вас, отправился вверх на «Лене», – сообщил Бестужев, – но без Сухомлина, которого отстранил за опоздание.

– Видно, и меня ожидает то же, – вздохнул капитан.

– Думаю, обойдется. Сейчас он плывет вверх, увидит сам, каков путь. А вы что везете?

– Кроме пассажиров, партию иностранных товаров. Нынче их много – в Николаевск заходили «Беринг», «Мессанджер Байрд» из Бостона, «Льюис-Перро», барк «Барухам», шхуна «Дженерал-Пурс» из Гонконга и барк «Оскар» из Гамбурга...

– Прямо-таки международный порт, – улыбнулся Бестужев.

У окна кают-компания остановилась какая-то пара. Девушка, разговаривая с молодым офицером, то и дело поглядывала на Бестужева. Увидев их, капитан сказал, что это его племянница, и позвал их жестом. Девушка, ее звали Сима, была очень юна и мила: в светлом платье с накидкой на плечах, в розовом капоре, белых перчатках и с веером в руках.

– Инженер-поручик Сергей Шатилов! – козырнул офицер.

Бестужев спросил Симу, как она отважилась на такое путешествие. Она ответила, что маменька не пускала, но дядя уговорил ее, а папа просил вернуться до конца вакаций в Иркутск.

– Вашего брата Николая Александровича видела, когда он приезжал к Персиным. Столько портретов сделал! И меня писал. Я этот портрет родителям в Верхнеудинск отправила.

– Теперь придется заехать, посмотреть работу брата.

– Обязательно. Папа и мама будут рады познакомиться с вами, а живем мы на Батарейке, над Удой..

– Красивое место, бывал там, – сказал Бестужев и обратился к офицеру: – Ну а вы куда держите путь?

– Из Николаевска в Николаев. Отец умер – раздел наследства.

– Печальный повод... И давно вы на востоке?

– С прошлого года, когда этот вот пароход из Америки привел.

– И мне предстоит плавание туда. Есть там гидравлические движители?

– Не слышал, – удивился офицер – Каков их принцип?

– Идея пришла мне еще в Читинском каземате. Там ведь у нас была своего рода академия, – улыбнулся Бестужев. – Торсон рассказывал о кругосветном путешествии, брат Николай читал лекции по истории русского флота. И вот как-то зашла речь о защите паровых колес от ядер. Я послушал и сказал: «Что вы привязались к этим колесам, неужели нельзя придумать другого? Надо скрыть движитель в подводной части корабля». «Критиковать легко, творить трудно», – сказали мне. Самолюбие мое было задето – всю ночь я думал и к утру предложил такой вот проект. – Бестужев взял перо и стал чертить схему. – На корме два цилиндрических отверстия. Поршни попеременно всасывают и выталкивают через них струи, а они, упираясь в воду, движут судно вперед.

– Удивительно, я – инженер, впервые слышу об этом.

После ужина капитан провел его по пароходу. Чистота и порядок не только на палубах, переходах, но и в машинном отделении. Металлические части надраены, начищены, обильно смазаны маслом.

– Скоро ли начнем делать такие? Почти вся Сибирская флотилия составлена из иностранных кораблей, – сказал Бестужев.

– Осмелюсь возразить, – улыбнулся Шатилов, – «Новик», «Стредок», «Опричник», «Пластун», «Наездник», «Джигит», «Разбойник» построены в Петербурге и Архангельске, да и здесь начали – «Аргунь» в Петровском Заводе, «Шилку» в Сретенске. И в Николаевске предстоит закладка первой шхуны.

– Рад, – сказал Бестужев. – Этого я не знал. Прощаясь с ним, капитан сказал о том, что ниже по течению орудует шайка беглых каторжников. Десять лет назад сюда, на устье Сунгари, прибыл адъютант Лаодунского викария миссионер де Лабрюньер. Местные власти предупредили, что спускаться по Амуру нельзя – территория России, да и разбойники шастают. Однако адъютант не послушал, поплыл дальше и как в воду канул вместе с проводником.

– Мог и вправду просто утонуть, – сказал Бестужев.

– Но кроме него еще несколько купцов исчезло. И хоть в последние годы стало спокойнее, советую быть начеку. Если же встретитесь с беглыми, передайте приказ Муравьева – явиться с повинной, тогда их примут на службу, поставят на довольствие...

## **БАНДА НИКИФОРА**

Рано утром бестужевский караван тремя эскадрами пошел вниз. Встречный ветер гнал огромные валы по реке, тормозя движение барж. У некоторых началась морская болезнь. Особенно плохо переносил качку Чурин, который к тому же простыл. Бестужев напоил его чаем с малиной, укрыл двумя одеялами.

Норд-ост пригнал и осенний холод. Постояв на палубе, Бестужев замерз и пошел одеваться. Надев полушубок, зимнюю шапку, толстые шерстяные носки, из-за чего ноги еле вошли в сапоги, он снова вышел на палубу. Вершины угрюмых гор скрывались за пеленой

тумана. Что-то недоброе, грозное таилось в глухих лесистых берегах, навевая тревогу и беспокойство. Беспреданно моросил дождь.

Ночью ветер усилился и дождь стал проливным. Волны качали баржи, грозя сорвать их с якорей. Уснуть никто не мог, и речь зашла о том, что всех беспокоило.

– Слава богу, у острова стоим, – сказал Чурин, которому полегчало. – Да и погода – никто не подойдет.

– Как раз самая варначья, – возразил Павел и предложил проверить посты.

Спустившись с баржи, Бестужев пошел с ним вдоль острова. Охранники не спали, окликая их. Подойдя к последней барже, Бестужев спросил, все ли в порядке. Там ответили, что слышали какие-то посвисты, и каждый раз все ближе. Войдя в будку на барже, Бестужев с Павлом сели у оконца, а охранник – у двери. Через некоторое время на волнах показалось что-то темное, плывущее от левого берега.

– Может, стрелим? – шепнул Павел. Бестужев помолчал и отрицательно качнул головой. Тем временем стали видны три силуэта в лодке. Бестужев попросил Павла незаметно спуститься в трюм, разбудить людей и, как только послышится голос, выставить стволы. Нагнувшись, тот вышел из будки, тихо открыл люк и спустился вниз.

А лодка уже скрылась за кормой баржи. Охранник тревожно глянул на Бестужева, тот приставил палец к губам. Чуть позже у трапа возникла чья-то голова, потом другая. Когда двое поднялись на палубу, Бестужев приоткрыл дверь и спокойно спросил:

– Что, братцы, в гости пришли?

Пришельцы вскинули ружья, но тут с треском откинулись дверцы люка, и из трюма показались три ствола.

– Не стрелять! – приказал Бестужев. – А вы – оружие на пол!

Охранник зажег фонарь. Мужик, что повыше, поздоровее, подал свое ружье соседу, тот наклонился и положил ружья и нож. А первый взялся за конец лезвия своего ножа и метнул его в палубу. Вонзившись в пол, он задрожал, закачался.

– Куда ж вы с кремневками? – увидев ружья, усмехнулся Бестужев. – А где там третий?

– Эй ты! Давай сюда! – крикнул Павел. Тот молча поднялся на баржу. Явно моложе, совсем еще юнец. Ни бороды, ни усов, худощав.

– Что на дожде стоять? – сказал Бестужев. – Какие-никакие, а гости. Пошли вниз.

В трюме зажгли еще две лампы. И тут Бестужев рассмотрел разбойников. Внешне они мало отличались от рабочих каравана, но в облике их была какая-то одичалость. Глаза настороженные, видящие и оценивающие все разом и вовсе не испуганные. Разбойники явно не теряли надежды на выход из положения. Старшему лет пятьдесят, среднему – около сорока, а безусому – лет семнадцать. На более ярком свету проглянули тунгусские черты – глаза и волосы темные, скуласт, но узколиц.

– Ну, сказывайте, кто вы, откуда? – спросил Бестужев. Те, что помоложе, глянули на пожилого. Поняв, что это – старшой, он обратился к нему – Как тебя звать-то?

Тот глянул с прищуром. Ну и глазищи! Явно убивец! Потом качнулся на ногах, словно решая, стоит ли говорить.

– Никифор, – наконец хрипло буркнул он.

– Давно бы так. А меня – Михаил Александрович. – Бестужев протянул руку. Никифор удивленно глянул на нее, потом неуверенно подал свою. Средний назвал себя Архипом, а младший – Семеном.

– Вот и познакомились. Садитесь, в ногах правды нет.

– А где она есть-то? – молвил Никифор, садясь на лавку.

– Знакомые речи правдолюбцев, в грешники подавшихся, – сказал Бестужев. – Давно ли в тайге?

– Так вам и скажи! – видя, что расправы не будет, Никифор осмелел. – Эвон народу сколько, а я тут исповедуйся.

– Не нравится здесь, идем ко мне.

– Михаил Александрович – укоризненно произнес Павел.

– Не бойся! Я им слова генерал-губернатора передам: явитесь с повинной – все грехи долой.

– Ну уж! Грехов-то наших не счесть. – Ладно, пошли! – встал Бестужев.

– А вдруг сбежим?

– И бог с вами! Я вас и так отпущу. Зачем вы мне тут? Работники, правда, нужны, но ты же не согласишься. Да и надо, чтоб ты слова Муравьева другим передал. – Спустившись с баржи, Бестужев пошел впереди, за ним – трое прищельцев, а сзади Павел. Охранников, которые хотели сопроводить их, Бестужев не взял.

– Ну, барин! – громко сказал Нпкпфор. – А вдруг дружки мои тебя да конвойного на мушке доржат?

– И пусть держат, – спокойно ответил он. – Порох-то небось отсырел. А сзади не конвойный, а помощник мой.

Сказав так, Бестужев все же почувствовал себя не очень уютно, но виду не подал и даже предупредил о колоде, лежащей на пути. И пока они шли, он несколько раз слышал птичий посвист, но это были явно не птицы, а дружки Никифора, дававшие знать о себе. Поднявшись на свою баржу, он ввел гостей в каюту, разбудил Чурина, попросил его растопить печку.

– А вы раздевайтесь, одежду посушите, промокли ведь.

Более всего озадачивало Никифора спокойствие Бестужева. За долгие годы разбоя он испытал всякое – и отчаянный отпор, и смертельный страх жертвы. Но видя самое простое, почти дружеское обхождение, Никифор не знал, как быть дальше.

– Может, выпьем для сугрева? – спросил Бестужев. Гости в недоумении переглянулись. – Павел, подай-ка чам.

Тот, ворча что-то, достал штоф, рюмки, закуску.

– Давненько не пивали нашу, расейскую, – сказал Никифор, – только шанси, будь она неладна.

– А когда пил нашу, поди, и забыл? – спросил Бестужев.

– Нет, это точно помню – в двадцать девятом в Зерентуе.

– Погоди, а не знал ли ты Сухинова?

– Как не знать? Из-за него все и началось! Я дружков его расстреливал, – видя, как изменился в лице Бестужев, Никифор начал оправдываться, что, мол, не по своей воле, солдатом был – приказали. Но Бестужев попросил подробно рассказать все, как было.

– Этак вот, как сейчас помню, стоят пятеро. Один-то, шестой, уж мертвый был, его сразу в яму столкнули. Так вот, привязывали по одному к столбу. Пальнут по команде, но ружья, сами знаете, какие... Упадет приговоренный, кровью истекает. Офицер велит штыками добивать, чтоб не мучились. Наклонился я над одним, он лежит, стонет, молодой такой. Глаз от меня не отводит, прямо на меня смотрит. – Никифор крутнул головой. – До гроба не забуду. Сколь раз уж спилось! И ткнул штыком... Грех-то какой!.. А потом пересуды среди солдат, кто этот Сухинов да за что его с дружками к смерти приговорили. Узнал, что он против царя в Петербурге вышел...

– Не там, на Украине, – поправил Бестужев.

– А в Петербурге как раз Бестужев с братьями войско вывел, – показал Чурин на него.

– Так вы – Бестужев?! – оторопел Никифор. – Припоминаю, и вашу фамилию называли. Вот че деется-то! Опять судьба свела!

– Кольцо сомкнулось – с Сухинова началось, на мне кончится. Но об этом после, дальше рассказывай.

– Да вот... Этого Сухинова пешком в Сибирь пригнали. В кандалах больше года шел. Ноги до костей избил, а пришел сюда и говорит: царь нарочно их сразу не порешил, чтобы в пути да в Сибири сгноить. И надумал Сухинов по Амуру вниз убечь, но выдал их один. После расстрела нам водки, денег дали. И запил я – грех свой залить хотел. Службу нести плохо стал – сквозь строй прогнали. Лежу в лазарете, кое-как выжил и вспомнил мысль сухиновскую – Амуром убечь. Подбил пятерых солдат да стоко же каторжных. Айдате,



говорю, вниз, авось бог поможет. Сели мы в лодки и поплыли. Провизии, конешное дело, едва до Стрелки хватило. Прибили там чью-то корову и дальше, но мясо быстро протухло – жара стояла. Увидели тунгусское стойбище, пугнули их – они от нас. Да что брать-то у них – рыбы вяленой и сушеного мяса чуток. А дальше... вспоминать тошно...

Выпив рюмку, Никифор продолжил рассказ.

– Дальше, известное дело, ввадишься – не отвадишься. И пошли грабежом жить. Но до поры не убивали, нет. Прошли Зею, Бурею, Сунгари. Дошли до Биры, а дело к осени, как щас вот. Пора, думаем, на зиму став повиться. Вырыли землянки, корьем накрыли, землей закидали. Охотиться не умели, рыбалить тоже. Тут-то и пошли грехи пострашнее. То стойбище тунгусское разорим, то купца с товарами изловим, а концы, ко нешное дело, в воду. Мужикам, известно, баба нужна. Стали мы на их охотиться. Лет семнадцать назад увели трех тунгусок, ну и... этот Семейка появился, – кивнул он на паренька. – Живем этак, стареем, звереем, а дружбы промеж нас никакой: из-за баб дрались, из-за добычи после грабежа. Трех сами зарезали, двое погибли в набеге, одного тигр задрал, трое народилось, да токо Семейка и выжил...

– Сколько же вас сейчас?

– Опять же десять. Приплыли пятеро с Аргуни и Шилки.

– Не вы ли убили Лабрюньера?

– А кто его знает. Когда это было?

– Десять лет назад исчез вместе с проводником-тунгусом.

– Десять годов, с тунгусом? Нет, чужой грех брать не буду, своих хватает. В последние годы трудно стало, купчишки по одному не ходят, да вооруженные. А как ваши сплавы пошли, совсем худо стало. Ден двадцать назад плоты, баржи прошли...

– Это наши передовые отряды, – сказал Бестужев.

– Ну, думаем, другого такого раза не будет. Догнали их, но как-то нескладно все получилось, не поднялась рука на своих. А вот сегодня решились. Куда деваться? Зима на носу – опять с голоду пухнуть?

Вдруг с палубы донесся какой-то шум.

– Наверняка мои на помощь пришли, – усмехнулся Никифор.

Дверь распахнулась, грянул выстрел. Лампа, сбитая метким выстрелом, разлетелась вдребезги. Запахло керосином.

– Не стрелять! – заорал Никифор. – Чуть все не испортили, – спокойнее добавил он. – Мы тут по-доброму решаем.

– Сами отдадут товар? – спросил кто-то из-за двери.

– Сами, сами, – ответил Бестужев.

Зачиркало кресало, посыпались искры, заалел трут. Павел зажег кусок бересты и запалил фитиль лампы. Мужики вынули кляп изо рта часового и молча вошли в каюту с ружьями в руках.

– Ружья-то поставьте, – сказал Бестужев, – не понадобятся. Ну что, Никифор, может, пойдете с нами?

– Нет, адмирал, сразу не решусь.

– Ладно, неволить не буду. Напишу про вас записку. Подымитесь к Иннокентьевке, это ближайшая русская станица, найдите там Кукеля, передайте записку, он примет к себе. А на дорогу провизии дадим. Договорились?

Никифор неопределенно мотнул головой.

– Я уж говорил тебе, повторяю при них, – Бестужев кивнул на вошедших. – Генерал-губернатор требует вашей добровольной сдачи. Сейчас решается вопрос о границе по Амуру, и вы тут, как бельмо в глазу. Ничего вам не будет, более того, возьмут на довольствие. А сейчас ешьте, пейте...

Бестужев подошел к конторке и начал писать. Молчание воцарилось в каюте, слышно лишь, как жадно едят, пьют голодные гости. Павел разогрел второй самовар, заварил еще один чайник.

– Господи! Чай-то какой! – вздохнул один из разбойников.

– Вот вам записка, – Бестужев подал лист Никифору. Тот начал читать про себя, медленно шевеля губами. Закончив чтение, он не знал, то ли согнуть лист, то ли скрутить трубкой. Бестужев взял у него записку, сложил и заклеил в конверт.

– А печати нет? Важная для нас бумага, – сказал Никифор.

– Нет, но могу припечатать своим перстнем, его тут все знают. – Растопив в банке сургуч, Бестужев капнул на середину конверта и по углам и начал прикладывать перстень к остывающей массе.

– Интересный перстенок, – прищурился Никифор, – по золотой и не серебряный, а блестит.

– Он железный – из моих кандалов.

Массивная печать крест-накрест переплетена жилками металла и напоминала тюремное окно.

– Точно, из железа. А звон – следы от кандалов, – увидев рубцы на запястьях рук Бестужева, Никифор с уважением посмотрел на него, мол, свой брат, каторжник.

– Ну все, – сказал Бестужев, – Светает уж, пора в путь. И пораскинь мозгами, Никифор, да кончай свое варначьё гнездо!

Выйдя на палубу, гости увидели, что рабочие спустили с баржи бочку солонины, два мешка муки и крупы. Никифор ошалело глянул на Бестужева.

– Это все вам, – подтвердил он. – Только вот распишись, имя, фамилию укажи. – Бестужев протянул квитанцию, которую подготовил Чурин. Никифор взял перо и, прислонившись к ящику, с трудом выцарапал буквы.

– Ну, барин, не знаю ишшо, что да как выйдет, но век тебя не забуду, – потом вдруг улыбнулся. – А бог тебя бережет! Ты в сам-деле на прицеле был. Стоило мне токо свистнуть!

– И на том спасибо! – усмехнулся Бестужев.

## УССУРИ

Крепко уснув после бессонной ночи, Бестужев проспал до трех часов пополудни. Погода по-прежнему стояла пасмурная. Дождя, правда, не было, но встречный ветер пронизывал насквозь. Взяв в руки карту и прикинув время, Бестужев понял, что они приближаются к Уссури. В сумерках, пройдя мимо высокого утеса, баржи ошвартовались у его подножия.

– Удивляет меня, как вы с людьми язык находите, – сказал за ужином Павел, – и с тунгусами, и с маньчжурами, и с губернатором, и с этими вот варнаками. Кто бы мог подумать, что их можно взять, и чем – словом?

– Ох, сомневаюсь в Никифоре, – сказал Чурин. – Глянешь – оторопь берет, ну чистый вурдалак!

– Полжизни разбоя – это, брат, так не проходит, – сказал Бестужев.

– И я о том же. Легко ли теперь за соху взяться?

– Возьмутся, деваться им некуда...

Отправив вперед отряды Пьянкова и Шишлова, Бестужев выжидал, когда они уйдут вперед. И тут сверху показались плоты со скотом.

– Встреть их Никифор раньше нас, – сказал Павел, – половину скота отбил бы, а концы, как он говорит, в воду.

Увидев Бестужева, Крутицкий остановил плот, сошел на берег. На лице еще видны следы от плети Муравьева.

– Слава богу, настиг вас, – сказал он, – Провиант кончился. Муравьев дал для завершения сплава полмесяца и продуктов – на этот же срок, а нам еще плыть да плыть.

Бестужев распорядился выдать ему продукты и подошел к плоту. Тучи оводов и слепней кружились над ним. Коровы, шумно дыша, мотали головами, били копытами по животам, отмахиваясь хвостами. Спины и бока их почти сплошь покрыты шарообразными

пузырьками. Бестужев подошел к одной из коров, надавил пальца ми вокруг разбухшей ранки и, подцепив ногтями, извлек личинку из-под кожи, брезгливо бросил ее в воду.

Крутицкий сказал, что и дегтем мазали, и керосином – ничто не помогает. В это время одна из корон одурев от укусов, боднула другую в бок, та шарахнулась проломила ограду из жердей и упала в воду. Мужики бросились в лодку, поплыли за ней. Но было поздно: уйдя во время падения с головой под воду, корова захлебнулась. Крутицкий вздохнул и сказал, что это уже двести пятнадцатая, те пали от болезней и истощения.

Погрузка продуктов на плот закончилась, Бестужев взял у Крутицкого квитанцию, распрощался с ним и пошел в каюту. Чуринов хмуро глянул на расписку.

– Сколько их уже! Примут ли? Эту еще куда ни шло, а вот Никифоровскую. Гляньте, подпись – ничего не разберешь. Кстати, как его фамилия?

Бестужев глянул в квитанцию, и действительно, ничего не мог понять, только первая буква чем-то напоминала букву В.

– Чего ж сам-то не спросил? Напиши – Васильев.

– Написать-то напишу, но кто оплатит квитанцию? Не возьмет компания эту филькину грамоту.

– Ничего, поговорю с Муравьевым, – сказал Бестужев, но голос его прозвучал неуверенно.

## У ГОЛЬДОВ

После впадения Усури Амур был очень широк и быстр. Но из-за встречного ветра баржи шли медленно. Потом ветер усилился настолько, что вовсе остановил их. Выждав несколько часов, когда он стихнет, отряд тронулся в путь и в сумерках подошел к селению Дондон.

Едва баржи причалили к берегу, со всех сторон сбежались гольды. У мужчин голова спереди обрита, сзади волосы заплетены в косичку, а в ушах – большие серебряные серьги. У женщин серьги были в носу. Один гольд принес несколько корзин свежей рыбы. Чуринов вынес старую рубаху. Гольд пощупал ее, сказал что-то жене. Та показала на три корзины, заполненные сазанами, стерлядь.

Чуринов удивился. Гольд истолковал это по-своему и добавил еще одну корзину.

– Почти что даром, – шепнул Чуринов, – рубаха-то дырявая.

Но гольд был доволен обменом. Прикинув ее на себя, он завернул рубаху и отдал жене. Увидев это, другие гольды побежали к чумам и принесли рыбу. До самой тьмы шла бойкая мена. Один из рабочих обменял блестящую пуговицу на большого осетра.

– Ну, брат, обнаглел, – укорил его Бестужев.

– А чо! Он, как увидел, сам вырвал ее.

– Не знают цены своему товару, – покачал головой Павел.

Ужин получился на славу.

Вечером серп месяца закатился, облитый кровавым цветом. Глянув на узкую в просвете туч полосу зари, Чуринов сказал, что на Байкале такие закаты к буре. И буря действительно пришла. Во втором часу ночи ветер сорвал с якоря бестужевскую баржу и понес ее от берега. К счастью, якорь вскоре вновь зацепился за дно.

А под утро разразилась гроза. Бестужев несколько раз выходил на палубу и при свете молний пытался пересчитать баржи, но из-за дождя ничего не видел. Утром, когда ветер и дождь утихли, выяснилось, что одну из ньянковских барж унесло. Бестужев послал Пьянкова на поиск, а сам решил подождать отставшего Шишлова. Тут к барже подошли гольды. На этот раз кроме рыбы они принесли связки собольих шкурок, за которые просили серебряные монеты. Стоили они в пять раз дешевле, чем у Хиигана.

– Жаль, все серебро оставил у Радде, – вздохнул Бестужев.

Часа в три подошли баржи Шишлова. Бестужев велел ему наменять рыбы и идти дальше. А Пьянкова все не было. Тут снизу показался какой-то маленький пароходик,

который с трудом шел против течения. И ветер, как на грех, дул навстречу. От места, где он появился, до барж он шел целых пять часов. Вблизи все увидели его название – «Шилка». Словно стесняясь за свой пароход, капитан даже не поприветствовал баржи гудком и причалил верстой выше. Вскоре оттуда пришел человек и сказал, что Пьянков нашел свою баржу и ждет их в десяти верстах ниже. Но плыть уже было поздно.

Ночью снова разыгралась буря с грозой. Чтобы избавить Чурина от морской болезни и новой простуды, Бестужев решил отвести его к гольдам. Подойдя к ближайшему чуму, они увидели внутри горящий костер.

– Дождем покрыто, ветром огорожено, – мрачно пошутил Чурин.

Пожилой гольд обрадовался поздним гостям. Бестужев объяснил, что болеет товарищ, и попросился па ночлег. Старик глянул на Чурина и сказал, что здесь ему будет плохо и предложил пойти в зимнюю юрту.

Версты три пришлось пройти под дождем и ветром, но, войдя в зимник, они поняли – шли не зря. Отверстия вверху юрты не было, дождь не капал сверху. Дым из печурки выходил по таким же нарам, которые Бестужев видел у Радде. Здесь жили сын старика с женой и детьми. Молодые встали, приготовили еду, а детишки спали крепким сном.

Четыре высоких столба посреди юрты внизу соединялись площадкой, на которой лежали две собаки. Они, как ни странно, равнодушно встретили незнакомцев, даже не облаив их. Из-под настила слышалась какая-то возня, звон цепи, и вскоре оттуда показалось что-то темное, мохнатое. Бестужеву показалось: еще одна собака, но это был медвежонок. Чурин спросил, зачем они держат его. Хозяин растолковал, что дети играют с ним, а когда он вырастет, продадут гилякам, а те устроят в честь него праздник. Выяснив, что во время этого праздника медведь будет убит, Чурин усмехнулся: «Ничего себе – в честь!»

– У многих племен в этих местах есть такой обычай, – сказал Бестужев.

Гости с удовольствием поужинали печеной рыбой. Потом хозяева уложили Чурина на теплые нары, уступив ему свое место. Ветер шумел над юртой, дождь барабанил, а они спали, укрытые легкой оленьей шкурой.

Утром Бестужев проснулся от возни детей с медвежонком. Иван еще спал, хозяев не было дома. Выйдя из юрты, он увидел большую толпу гольдов. Один за другим они входили в центр круга, кланялись кому-то и уступали место другим. Подойдя ближе, он увидел недавно убитого огромного тигра. Хозяин юрты, в которой он ночевал, сказал, что амба ночью приходил сюда, а утром его нагнали по следам.

– Так он мог и нас придавить? – спросил Бестужев.

– Мог, мог, его лапа рядом ваш след был.

Бестужев спросил, где отец, сын показал в толпу. Старик как раз подошел к тигру, низко поклонился и сказал что-то.

– Его говори: извиняй нас, господин амба, ты сам виноват, что сюда ходи...

## **МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ**

Погода стояла солнечная, теплая, ничто не напоминало о недавнем холоде, дождях, ветрах. Рабочие даже купались.

Однако в ночь на двадцатое августа разразился новый, более грозный шквал. Канаты размочалились, не держали ни якорей, ни лодок. Утром снова стало так холодно, что люди оделись в полушубки и душегрейки. Весь день дождь лил как из ведра. Ливень-косохлест промочил всех до нитки. Многие захворали. Чурина вновь пришлось отвести к гольдам.

Поздно вечером на баржу поднялся какой-то человек в брезентованном плаще. Бледный, с воспаленными глазами, он трясся от озноба и кашлял. Это был горный инженер Носов, ехавший на Сахалин на ломку угля.

– Опрокинулись позавчера, попали в воду, – сказал он и закашлялся. Бестужев достал из шкафчика порошки и предложил остаться на барже. Павел развел огонь в печурке, поджарил рыбы, картошки. После ужина Носов почувствовал себя лучше, кашель поутих. И

тут он вспомнил, что у него есть письмо, которое ему передали для Бестужева еще в Чите. Прочитав письмо от родных, шедшее ровно два месяца, Бестужев был утешен, как ребенок, – все здоровы, дела дома шли неплохо.

А Носов стал рассказывать, как жил в Луганске, не зная горя, и вдруг вызвал начальник шахты: распоряжение из Петербурга найти горного инженера и отправить на Сахалин.

– Переглянулись инженеры, а начальник смотрит на меня, мол, я моложе других, семьи нет. Кому, как не мне...

– Жалеете теперь?

– Что вы! Сибирь, Сахалин посмотреть надо. Такие чудеса о них рассказывают, будто уголь там прямо наверху, хоть с берега скалывай. Но я не верю. Уж как он достается, хорошо знаю. Все глубже лезем – до полуверсты в Луганске, а в Макеевке и того дальше.

– Вас это удивляет, а я лично видел выходы пластов в Забайкалье, у Гусинога озера. Это месторождение описал мой брат Николай в «Вестнике естественных наук».

– Не читал, а почему не в «Горном журнале»?

– Он писал не только об угле, но и о хозяйстве быте бурят.

До полуночи шла беседа. Затем Бестужев уложил гостя, снова перечитал письмо из дома и не мог уснуть. Выйдя на палубу, он услышал взрыв смеха в трюме. Подойдя к открытому люку, увидел, что сплавщики сгрудились у печурки, слушая Евдокимова. Этот крещеный татарин в начале пути был совсем незаметен, но потом оказался в центре внимания, он знал великое множество баек, былей и небылиц.

Сегодняшняя история показалась удивительно знакомой. Евдокимов рассказывал про то, как он изгонял домового, мучавшего семью одного купца. Домовой сдергивал одеяла ночью, сек розгами сына, щекотал служанку, отчего та хохотала до икоты, прятал белье, прибавал кафтаны к дверям. В доме и горшки с кашей сами двигались в печи, и тесто пыхтело человеческими вздохами, а лампы ни с того ни с сего вдруг вспыхивали и тут же гасли. Ни полицейский, ни частный пристав не могли помочь беде, пока Евдокимов, наконец, не раскрыл загадку домового.

Выслушав его до конца, Бестужев понял, что тот пересказал эпизоды из повести брата Николая «Шлиссельбургская станция». Спустившись вниз, он спросил, откуда он знает эту историю. Евдокимов побожился, что все это было лично с ним, и начал новую историю.

– Зашли в селенье у Ангары на постой к старикам. Они чаем напоили, постель на полу постелили, а Тимоха больным прикинулся, на печь попросился. Накрыл его старик своей шубой, а утром Тимоха отпорол рукава, надел их под штаны и ушел. Потом возвратился, шубу, говорит, забыл. Какую еще шубу? Не было у тебя, я ведь тебя своей накрыл. А Тимоха говорит, что была, без рукавов. Глянул дед, в самом деле лежит такая – и отдал...

Выждав, когда стихнет смех, Бестужев спросил.

– Но ты ли тот самый Тимоха? Стариков-то не жалко?

– Могу ли я такой грех совершить?

– То себе приписываешь, то отказываешься.

– Вот истинный крест – не я шубу украл!

– И за домового побожишься?

– За него нет. Ту байку в иркутском кабаке один солдат рассказывал, а я запомнил. Нельзя разве?

– Это-то можно, а вот с шубой... Сибиряки – народ добрый, привечают всех, а вы воруете, а потом еще и смеетесь. Не вздумайте вытворить такое здесь. Мы ж не бродяги какие! Гольды, гиляки, нивхи по нас о всех русских судить будут.

– Понятное дело! Да и грех их обижать. Добрый народ, и так бедно живут. Когда рыбы нет, воду пьют, дровами закусывают.

– Вот и хорошо, что понимаешь, – сказал Бестужев и пошел к себе. А Евдокимов завел про то, как в доме, построенном из обугленных бревен с пожарища, по ночам стали светиться стены. Но эту историю Бестужев знал давно.

Засыпая, он с улыбкой вспоминал и строки письма из дома, и рассказ о домовом.

Повесть брата, нигде не напечатанная, уже гуляет по свету, и он вдруг услышал ее отголоски здесь, в немыслимой глуши, на Амуре.

Две недели бушевала буря. Вода поднялась так, что затопила часть селения, и гольды еле успели перенести свои чумы подальше от берега. Мутные, грязные пенистые потоки несли вывороченные деревья, кусты, корье, остатки чумов, смытых наводнением на Апное и других притоках Амура. И все это время измученные бессонницей, спасательными работами, болезнями сплавщики находились между жизнью и смертью.

Чурин, едва оправившись от болезни, вновь занемог. И даже здоровый как бугай Павел тоже простыл. Чурин удивлялся, как же так, он – молодой, двадцатилетний парень, выдавший всякое на Байкале, расхворался от простуды и морской болезни, а Бестужев, годный ему в деда, чуть ли не единственный из всех переносит все – жару, холод, сырость, бессонницу?

– Из какого же теста, на каких дрожжах замешен он?

– И меня это удивляет, – говорил Павел. – Уж восемнадцать лет знаю его по Селенгинску. Когда он решил пойти в сплав и пригласил меня, я подумал, куда ему, не выдюжит, и согласился только затем, чтобы присмотреть за ним. Селенжане так и наказывали мне, смотри, мол, сбереги нам Михаила Александровича. Знал бы ты, как они уважают и любят его! И вот, не выдюжил я, а ему – хоть бы хны!

Много бед принесла буря – погнили от сырости некоторые товары и продукты, унесло несколько лодок. Но человеческих жертв, к счастью, не было. А вот плоты Крутицкого бросило под утес под Богородском, и там утонуло сразу двести шестьдесят коров. Двести сорок пало в пути от истощения, и в Николаевск дошло всего триста голов. Крутицкий впал в ипохондрию, хотел удавиться, но его успели вытащить из петли.

– Если б мы не переждали бури в Дондоне, – сказал Чурин, – и нас бросило бы на скалы. Бог спас нас от этого.

– Не бог, а Михаил Александрович, – сказал Павел. Сдав половину груза в Мариинске, Бестужев вел последние баржи уже при заснеженных сопках и ледовых припаях на берегах. В Николаевск они прибыли лишь в конце сентября.

*«Наконец после трудного, позднего, мучительного плаванья или, лучше сказать, сухохождения по дну Амура, – писал он родным, – я прибыл на самый край нашей обширной родины... Не хочу обмакивать перо в смеющиеся краски радуги... Вы поймете мое положение из следующих слов: я зазимовал в Николаевске... Три дня, как глубокий снег выше колена выпал после грозы с громом, дождем и молнией, а у меня еще и половина груза не сдано в казну...»*

## ЕЛИЗАВЕТА

Подходя к дому адмирала Казакевича, Бестужев увидел, как с крыльца сошла молодая, красиво одетая женщина и быстро направилась в гору. Взавшись за ручку двери, он заметил, что она оглянулась и тут же ускорила шаг, стуча каблучками по дощатому тротуару. Мужик с кистью в руках сказал, что пока дом не достроен, Казакевич живет на даче, но сейчас его нет и там – уехал к устью Амура. Пол был завален стружками, пахло краской, лаком, известью.

Выйдя на крыльцо, Бестужев постоял, потом решил осмотреть городок. Пустынные улицы-просеки тянулись вдоль реки. Лишь кое-где катались дети на санках. Морозец стоял небольшой. Недавно выпавший снег таял, капель сочилась с крыш. И в воздухе было что-то весеннее. Дойдя до поперечной улицы, он увидел за углом женщину, которую недавно встретил у дома Казакевича. Едва он показался, она устремила к нему.

– Михаил Александрович, извините, что не подошла сразу, – она подняла вуаль, и только тогда он узнал в ней Елизавету Шаханову. Она совершенно преобразилась в хорошей одежде и шляпке с вуалью. Но было в ее улыбке, взгляде что-то беспокойное. Он спросил, чем она встревожена, она замаялась и, не ответив, в свою очередь спросила, где он

остановился. Он сказал, что в заезжем доме Амурской компании, и пригласил ее в гости. Она пообещала прийти вечером.

Вернувшись к себе, он прибрался в комнате и начал готовить ужин. Когда стемнело, зажег керосиновую лампу, хотел закурить, но до прихода гостыи решил не дымить и вышел во двор. Вскоре послышался скрип снега за воротами. Кто-то в полушубке, шапке, валенках открыл калитку и неуверенно двинулся в глубь двора. Догадавшись, что это Елизавета, он спустился с крыльца и подал ей руку.

Клубы холодного пара ворвались в избу через распахнутую дверь. Он помог ей снять полушубок, шапку и спросил, что это за маскарад. Она почему-то не ответила. Он пригласил ее к столу, на котором стояли лагун со льдом и шампанским, разные закуски. Она с удивлением разглядывала прекрасную сервировку, аккуратно нарезанные ломти кеты, осетрины, строганину, обложенную кольцами лука, ананасы, купленные у американского купца.

– Вам кто-то помогал? – спросила она.

– Нет, все сам, – улыбнулся он. – Это доставило мне удовольствие...

– Смотрю на вас и думаю: откуда среди купцов такой?

– А я не купец. Просто подрядился доставить грузы.

– Где же вы служите?

– Погодите, давайте сядем. Я не служу, я – ссыльный поселенец.

– Вы шутите! Вот я действительно ссыльная.

– Не шучу. Более того, я – бывший каторжанин. Тогда она предположила, что он был офицером и сослан за убийство на дуэли. Он сказал, что за такое на каторгу не ссылали: самое страшное – Кавказ.

– Постойте, – вдруг осенило ее, – не из «секретных» ли вы? Из тех, кто в двадцать пятом году против царя вышли?

– Вы знаете про это? – удивился он.

– Как не знать, в Чите после амнистии столько разговоров было и о «секретных», их женах тоже. Но почему вы не вернулись?

Бестужев сказал, что у него семья, дети, и спросил, почему она не попала под амнистию. Она ответила, что не выдержала домогательств охранников, совершила побег, но ее поймали, а беглецы амнистии не подлежали.

– Такого натерпелась за эти годы. Берегла, берегла себя, да конвойные...

– Ладно, Лиза, не надо, – сказал Бестужев, заметив, что у нее навернулись слезы. В это время раздался стук в двери. Он вышел в сени. Почтовый чиновник протянул конверт. Вернувшись в избу, он увидел, что Лиза лежит на диване, укрывшись шалью.

– Я испугалась, не хочу, чтоб меня здесь застали. Ведь я у Казакевича горничная, но...

– Не надо об этом, – нахмурился он. – Погодите, я прочту.

Почерк на конверте был незнакомый. Он сорвал печати и увидел вензель генерал-губернатора.

*«Милостивый государь Михаил Александрович!*

*Специу уведомить вас, что ваше плавание в Североамериканские соединенные штаты ввиду позднего прибытия в Николаевск не представляется возможным. Заказ и покупка кораблей поручены другим лицам, которые отправятся в Америку из Кронштадта. Решение принято и с учетом письма вашей супруги, обратившейся ко мне с убедительной просьбой не посылать вас в столь далекое плавание.*

*Примите заверения в искреннем к вам уважении.*

*Н. Муравьев».*

Письмо ошеломило Бестужева. Мери-то зачем вмешалась? Впрочем, дело, наверное, не в ней и не в позднем прибытии. Это просто предлог. Видимо, Муравьеву не по нраву поддержка Бестужевым мнения Невельского о южных портах. Ну да бог с ней, с Америкой.

– Что-то неприятное? – спросила Лиза.

– Пожалуй, наоборот. Скоро вернусь домой.

– Я много думала, даже жалела, что не утонула тогда. Но все, что ни делается, к лучшему, Спасибо вам за все...

Утром кто-то постучал в дверь. Это пришел Чурин и сказал, что скоро сюда придет адмирал Казакевич. Бестужев проводил Елизавету и начал прибираться в комнате.

## ПРОВОДЫ «КАМЧАДАЛА»

Казакевич пришел в сопровождении двух морских офицеров. Бестужев давно знал его, тот не раз заезжал в Селенгинск. Это был крепко сбитый, энергичный человек лет сорока. Небольшие усы, волевой подбородок, обветренное лицо. Обняв Бестужева, Казакевич представил спутников: заведующего лоцманской и маячной службами Бабкина и командира шхуны «Пурга» Шефнера.

– Жилье у вас не очень уютное, – сказал Казакевич. – Переезжайте ко мне.

– Удобно ли стеснять вас?

– Буду рад. Идемте, проводим корабль и – ко мне.

У причала собралась большая толпа народа. Парусный тендер «Камчадал», выдавший виды корабль, уже готов к отплытию.

– Поздно высылаем, – сказал Казакевич. – Но Удской острог остался без продуктов. «Князь Меншиков» из-за шторма не прошел туда...

На пирсе командир «Камчадала» подпоручик Алексеев прощался с родителями. Мать совала ему свою теплую шаль. Сын отказывался. Увидев адмирала со свитой, Алексеев отдал честь.

– Не отказывайтесь от того, что дает матушка, – сказал Казакевич.

– Спасибо, Петр Васильевич, – старушка приложила платок к глазам.

– А вот плакать ни к чему, – сказал адмирал.

– Знаю, – улыбнулась старушка, – но ничего не могу поделать.

– Будя, мать, – строго буркнул старик, – не на век прощаешься.

Шефнер шепнул Бестужеву, что отец Алексеева – бывший моряк, недавно прибыл с женой-старушкой из Кронштадта, сейчас служит смотрителем в госпитале.

– Будет туго, не рискуй, иди обратно, – Казакевич тепло, по-отечески обнял Алексеева, потом отдал честь. Попрощавшись с родителями, капитан поднялся по трапу на корабль.

Грянул «Амурский марш». Мать-старушка заплакала, уткнувшись в грудь мужа. Матросы быстро подняли якоря, сняли концы с кнехтов и подняли паруса. Ветер тут же наполнил их, и корабль двинулся от причала. Люди махали руками с берега. Матросы и солдаты, отправленные на Сахалин на ломку угля, отвечали им. Выйдя на стремнину, «Камчадал» быстро пошел вниз по течению Амура.

Торжественное и вместе с тем тревожное чувство охватило Бестужева. Глядя на удаляющийся корабль, на высокие берега Амура, покрытые лесом, он подумал, как не схожи эти проводы с теми, что видел в Петербурге и Кронштадте. Там все более парадно, чопорно – офицеры в белоснежных мундирах, нарядные дамы, кареты у гранитного парапета...

Бестужева удивило великое множество людей. Николаевск, казавшийся до этого тихим, пустынным, на проводах корабля вдруг предстал в ином виде, тут и моряки, и рабочие судоверфи, и инвалиды из госпиталя, и юнги из Морского училища, и ребятишки, бабы, старики. И хоть плавание предстояло не столь уж далекое, все понимали сложность, опасность его.

Проводив корабль. Казакевич и Бестужев подошли к баржам. Вереницы грузчиков спускались по трапу с мешками на спинах и несли их по мосткам в амбары. Из трюма баржи доносились какие-то крики, ругань, удары. Бестужев спросил подошедшего Чурина, что там происходит.

– Да крысы... Сивые, крупные, как кошки.

– Перебейте обязательно, – нахмурился Казакевич. Пройдя чуть ниже, они оказались у небольшой яхты.



Мичман и матрос вытянулись в струнку.

– Вольно! – отдал честь адмирал и представил мичмана Осипа Баснина и матроса Эмиля Шершнева. Пожав им руки, Бестужев удивился имени матроса и тому, как тот похож на кумира его детства моряка Лукина, служившего с отцом. Шершнева сноровисто поднял парус, оттолкнул яхту от причала.

– Откуда у него такое имя? – спросил Бестужев.

– Вообще-то он Емельян, – ответил адмирал. – Эмилем стал после плена. Служил на «Охотске», вражеская эскадра окружила его. Капитан, высадив экипаж на шлюпки, взорвал корабль. Французы захватили несколько шлюпок. Так Эмиль оказался в плену, а после заключения мира вернулся из Франции сюда...

Заговорив с мичманом, Бестужев узнал, что он сын Василия Николаевича Баснина, доброго знакомого из Иркутска. Брат Николай рисовал многих из этой семьи, а Михаил посылал Василию Николаевичу семена нахимовской акации.

## **«ПОКА СЕРДЦА ДЛЯ ЧЕСТИ ЖИВЫ...»**

Проплыв вниз по течению, они причалили к высокому левому берегу, поднялись в гору, где у самого обрыва стоял большой дом с двумя сараями и конюшней. Несколько солдат пилили и кололи дрова, складывая их в поленницу. Из трубы валил дым. Все выглядело мирно, по-деревенски. Но идиллическую картину нарушал часовой у ворот и будка выше двора, в которой сидел наблюдатель. Ниже, у самого обрыва, Бестужев не без труда заметил пушки, направленные на реку. Невдалеке от них, в лесочке, стояла изба, где жили артиллеристы. Это была та самая батарея, которую установил Невельской и из-за которой шумел Муравьев.

В доме было тепло и уютно. На столе и этажерке множество книг, на стене – большая карта Амурского лимана с северной оконечностью Сахалина. Даже при беглом взгляде Бестужев убедился, что сделана она прекрасно. Казакевич сказал, что это работа топографа Афанасия Ванина. Увидев выше залива Счастье мыс Перовского, Бестужев спросил, в честь какого из братьев Перовских назван он. Казакевич ответил, что в честь Льва Алексеевича, бывшего министра внутренних дел, который очень помог Невельскому, когда Нессельроде, министр иностранных дел, препятствовал Амурской экспедиции.

Бестужев знал братьев Перовских как членов первых тайных обществ. Еще до войны 1812 года, в училище колонновожатых, они вошли в юношеское братство, которое решило создать свободное государство на Сахалине. Казакевич, не знавший об этом, с интересом выслушал рассказ Бестужева о встрече его с Василием Перовским накануне восстания.

В ночь на 14 декабря 1825 года Бестужев с подпоручиком Кудашевым поехал к Нарвским воротам, чтобы задержать или арестовать великого князя Михаила Павловича, ибо тот мог расстроить план декабристов, которые агитировали войска не присягать Николаю.

На Нарвской заставе дежурили солдаты Московского полка, которыми командовал подпоручик Андрей Кушелев. Узнав от часовых, что в караульной находится какой-то полковник, Бестужев не стал заходить туда, а вызвал Кушелева на улицу. Тот сказал, что у них сидит адъютант Николая Павловича Василий Перовский, которого прислали встретить и срочно доставить в Зимний дворец Михаила Павловича, чтобы тот подтвердил отречение Константина. Бестужев хотел было вступить в переговоры с Перовским и склонить его на свою сторону, а если не удастся – арестовать. Он был настроен решительно. Уж если ему поручили арестовать великого князя, то взять адъютанта все-таки легче. Но Кушелев заколебался и сказал, что операция может оказаться ненужной и даже помешает делу – вдруг великий князь так и не появится в Петербурге, а из-за Перовского может подняться шум.

Лишь в Сибири Бестужев узнал от союзников, что оба брата Перовские были членами тайного общества, но потом отошли от него. А если бы он знал об этом, в ту ночь, то, пожалуй, попытался бы перетянуть Василия Перовского на свою сторону.

Перовские хорошо знали и уважали Александра и Николая Бестужевых. Позднее, в

тридцатых годах, Василий Перовский, будучи оренбургским генерал-губернатором, попросил царя перевести Александра Бестужева-Марлииского в подведомственный ему край, чтобы тот описал жизнь и быт кочевников, но получил ответ, что Марлинскому следует быть не там, где он полезнее, а там, где он безвреднее.

Узнав, что Лев Перовский во время восстания находился за границей, Казакевич спросил, не мог ли тот, оказавшись в Петербурге, примкнуть к восставшим. Услышав это, Бестужев невольно усмехнулся: точно так же во время следствия генерал-адъютант Чернышев спросил Михаила Назимова. Тогда даже Бенкендорф не выдержал и сказал Чернышеву, мол, нельзя спрашивать о том, что является делом совести. Позднее, говорят, царь Николай задавал Пушкину такой же вопрос. Но что значит время и место! Из уст Казакевича вопрос звучал совсем иначе.

Бестужев ответил Казакевичу, что Лев Перовский вряд ли вышел бы на площадь, так как уже отошел от общества. Когда дело дошло до серьезного, дрогнули многие, поняв, что в случае успеха восстания они не получают особых привилегий и выгод, тогда как неудача грозила явной опалой, если не гибелью. Сколько Чацких, переболев либерализмом, превратилось в Фамусовых! Не случайно ведь Пушкин писал: «Пока свободой горим, пока сердца для чести живы...» Но почему «пока»? Куда уносятся «души прекрасные порывы»? Взять тех же лицеистов, какое братство, какие мечты! Но как их развела судьба рукой железной! Из них на гребне лишь Горчаков, Корф и, пожалуй, Матюшкин. Когда весть о восстании дошла до Петропавловска, Матюшкин был на Камчатке и вообразил, будто его друзья овладели властью в Петербурге, и стал возбуждать экипаж «Кроткого».

– А оказавшись он в Петербурге, – сказал Казакевич, – наверняка вышел бы на площадь. Но, слава богу, был в плавании, а то и он бы погиб. На мой взгляд, ваше восстание принесло не столько пользы, сколько вреда. Судите сами, столько прекрасных людей было вырвано из жизни общества! Кроме повешенных – Муравьевы, Волконский, Трубецкой, Пущин, Якушкин. А сколько моряков ухнуло в бездну – Михаил Кюхельбекер, Торсон, Романов, Чижов, вы с братьями Николаем и Петром. Как не хватало вас и в Морском корпусе, и на флоте! Ведь ваши места за кафедрами и у штурвалов кораблей заняли те, из-за которых наш флот оказался в столь плачевном состоянии. Но самый страшный урон, принесенный вами, в том, что вы озлобили государя. Да, он поступил с вами жестоко, стал мнительным. Но кто, как не вы, сделали его таким? Извините, Михаил Александрович, я глубоко уважаю вас лично и многих ваших товарищей, но таково мое мнение, не обессудьте. Зря вы заварили кашу...

– Мы не могли иначе. Народ, сломивший нашествие Наполеона, освободивший Россию и Европу, достоин лучшей доли, и он остался в рабстве. В своем донесении Следственная комиссия сделала все, чтобы исказить истинные причины восстания, мол, его подняли безумцы, развратные смутьяны, которые лишь из честолюбия решили свергнуть царя и взять власть в свои руки...

Разгорячившись в споре, Бестужев несколько увлекся и чересчур откровенно говорил с Казакевичем, забыв, что перед ним не просто старый знакомый, а контр-адмирал, губернатор Приморской области, командир Сибирской флотилии.

К счастью, Казакевич перевел разговор на хлопоты о клубе, который задумали в Николаевске, чтобы занять офицеров гарнизона предстоящей зимой. Взносы при вступлении довольно большие – пятнадцать рублей, не считая сборов на особые торжества. Бестужев согласился вступить в клуб, посоветовав проводить не только ужины и танцы, но и лекции, а по возможности – концерты и спектакли. Казакевич сказал, что вряд ли удастся найти людей, способных организовать это, и спросил, не взялся бы Бестужев за театр. Тот ответил, что не сумеет найти времени – предстоят большие хлопоты по ревизии, отправке товаров и составлению отчета о плавании. Главное, о чем Бестужев конечно же не сказал, – он решил сесть за воспоминания.

## ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТРАСТИ

В комнате Казакевича долго горел свет, он что-то читал перед сном. Бестужев, возбужденный спором, невольно продолжал мысленно полемизировать с ним, и сон никак не шел к нему. Тогда он стал обдумывать план воспоминаний, решив начать их не с восстания, а с рассказа о себе и своих братьях, о том, что побудило их выйти на площадь, вывести за собой войска. Но как же много предстоит тогда описать – и детство, и Кронштадт и службу в Архангельске.

Кстати, когда Казакевич попросил его помочь в организации театра, он чуть было не согласился, ведь примерно в таком же глухом гарнизоне, в Архангельске, где он служил более трех лет – с 1819 по осень 1822 года, он посвятил театру три долгие зимы, близкие по тем широтам к полярным ночам.

Бестужев прибыл туда сухим путем под командованием капитана первого ранга Руднева. Ходил в плавания по Белому и Северному морям. Однако главной задачей 14-го флотского экипажа, в составе которого прибыл он, была подготовка к встрече императора Александра, решившего первым из всех государей после Петра Великого посетить Архангельск, чтобы укрепить этот форпост России на Ледовитом океане. Город не имел тогда особого значения ни в торговом, ни в военном отношении. Удаленность от столицы, отсутствие ревизий, полная бесконтрольность привели к тому, что порт стал одним из худших в России. Полусгнившие причалы, не чиненные со времен Петра, отсыревшие, обомшелые амбары, кишасщие крысами, которые обнаглели до того, что и среди бела дня перебегали дорогу людям. Портовые лиходеи с нахальной ухмылкой оглядывали гвардейцев экипажа и их командиров: надолго ли их тут хватит.



Бестужев ехал сюда, как в ссылку. Брат Николай утешал его, мол, настоящему моряку надо познать все, и на всякий случай дал множество рекомендательных писем как к знакомым офицерам, так и к малознакомым купцам.

Отбыв из Петербурга по льду Невы, Ладоги, Онеги, 14-й экипаж прибыл в Архангельск на последней неделе великого поста. Бестужева разместили в отдельной бревенчатой хибаре. Первое, что он сделал, оставшись один, – сжег рекомендательные письма, решив просить

перевода в другое место службы. Почти силой друзья-офицеры увели его на бал в клубе, где собрался весь цвет Архангельска.

Среди дам заметно выделялась одна, которую звали Екатериной, Катрин, Кети. Ее муж ушел на корабле, кажется, в Англию и зазимовал там. Катрин же не умела и не хотела скучать. Она была неотразима: хороша собой и вольна в поведении. Кавалеры соревновались за право очередного танца с нею. Однако Бестужев не торопился, чем вызвал легкое недоумение, если не сказать, удивление примадонны. И тогда она сама пригласила загадочного мичмана на вальс. Но и после того он не спешил становиться рекрутом в армии ее обожателей, чем окончательно уязвил самолюбие чаровницы. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не театр, в котором принял участие Бестужев.

Тяга к сцене появилась у него еще в детстве, когда брат Александр привлек и его и Петрушу к постановке своей пьесы «Очарованный лес», которую он написал и поставил в Академии художеств, где служил отец. Это самое первое произведение Саши, к сожалению, погибло после восстания в числе прочих бумаг в пламени камина. Пьеса была большой, в пять актов, со множеством действующих лиц – храбрый князь и княжна, оруженосец и его наперсница, шут и трус, Зломир и добрая волшебница Злата, охотники, черти, русалки. Все это происходило в заколдованном замке, в глубине глухого леса.

Все декорации и куклы нарисовал Саша, а Мишель и Петруша вместе с воспитанниками Академии художеств делали, а затем водили их. Позднее Саша, учась в Горном корпусе, организовал там театр, в котором стал декоратором, костюмером и исполнителем главных ролей. Особенно ему удалась роль Фрица в комедии Коцебу «Пажеские шутки».

И брат Николай, служа в Кронштадте, тоже устроил офицерский театр. Мишель помогал ему в постановках комедий и драматических пьес. Известный оперный певец Василий Самойлов специально приезжал из Петербурга, чтобы полюбоваться игрой Николая, и говорил, что многим записным режиссерам и актерам следовало бы ездить в Кронштадт учиться у Николая Бестужева ставить спектакли и играть роли.

И вот, идя по стопам старших братьев, Мишель решил организовать театр и в Архангельске. Первый спектакль «Пажеские шутки», хорошо знакомый по Кронштадту, рождался трудно. Бестужев еще не знал, кто на что способен, а сослуживцы встретили его затею скептически: мыслимо ли тягаться с Кронштадтом, там и гарнизон втрое больше, и Петербург под боком. Однако Бестужеву удалось уговорить нескольких офицеров и матросов попробовать себя.

Начав репетиции и поняв, что спектакль возможен, он принялся за оформление декораций, костюмов, научился и стал учить других накладывать грим, делать парики, бороды. И в январе состоялась премьера.

Бестужев взял себе роль колченогого солдата. Старая шинель, седые усы и борода, шепелявая с хрипотцой речь настолько изменили его, что никто не мог узнать в облике инвалида щеголеватого мичмана. И когда зрители стали вызывать актеров, Бестужев вышел, подволакивая ногу и гримасничая, чем снова рассмешил всех, а потом неожиданно скинул шинель, отклеил бороду и представился как режиссер. И тут только зрители узнали его, наградив бурей рукоплесканий. Особенно восторженно аплодировала – Мишель это хорошо видел – Катрин. С той поры он окончательно покорила ее сердце и стал фельдмаршалом среди ее поклонников.

Ему конечно же были приятны аплодисменты, но он подтрунивал над собой: на безлюдье и Фома дворянин. И все же самолюбие его было утешено. Он жалел лишь об одном: никто из братьев не стал свидетелем его сценического успеха. Позднее он, правда, чуть не сыграл роль колченогого солдата и в Кронштадте, где на сей раз уже младший брат Петр возглавил офицерский театр. Но незадолго перед премьерой Мишель перешел из флота в гвардию.

Сколько же воспоминаний связано с театром!

Осенью 1822 года, когда Бестужев вернулся из Архангельска в Кронштадт морским

путем вокруг Скандинавии, Петербург потряс скандал в Большом театре. 18 сентября в трагедии Озерова «Поликсена» роль Пирра исполнял Василий Каратыгин, роль Гекубы – Екатерина Семенова, а роль Поликсены – ее ученица Мария Азаревичева, побочная дочь директора театра Аполлона Майкова, деда известного поэта. По окончании спектакля публика начала вызывать актеров. Семенова вывела с собой Азаревичеву, которая сыграла довольно посредственно, в зале раздалось шиканье, Катенин закричал: «Не надобно их! Каратыгина!» В ложах присутствовали генерал-губернатор Петербурга Милорадович, Майков, князь Гагарин, за которого Семенова позже вышла замуж. Милорадович написал рапорт государю, находившемуся в Вероне. Подумать только – писать о такой мелочи царю за границу! И Катенина выслали из Петербурга.

Столь крутая расправа поразила даже противников Катенина. Один из них пошутил: «Буря разбила его у Гагаринской пристани». А друзей и поклонников таланта Катенина возмутило столь редкое несоответствие наказания проступку. Как же мала, ничтожна перед гневом сильных мира сего личность человека! Даже такого незаурядного, как Катенин. Пушкин писал о нем, что прекрасный поэтический талант не мешает ему быть и тонким критиком. Высоко ценя его переводы, он осмелился упомянуть изгнанника в «Евгении Онегине»: «Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый».

Впервые Бестужев услышал о Катенине от своего дальнего родственника актера Борецкого в 1818 году, когда Петербург взволновало столкновение между драматургом князем Шаховским и офицером Преображенского полка Катениным. Поводом к нему стал незначительный, незаметный для многих случай. Начав учиться актерскому мастерству у Шаховского, никому не известный тогда Каратыгин неожиданно оставил его и стал брать уроки у Катенина.

Такое в театральном мире не прощалось. Сколько язвительных насмешек, злых анекдотов услышал Бестужев от Борецкого о каком-то офицеришке, который, не желая угождать никаким авторитетам, «вечно кипел, как кофейник на конфорке». Подумать только – осмелился тягаться с самим Шаховским, кумиром зрителей, актеров, режиссеров. Брат Александр говорил Мишелю, что Катенин действительно вел себя не просто экстравагантно, а сплошь и рядом дерзко. «Мочи нет сидеть с ним в театре, – говорил Саша, – судит и рядит все и всех так, что беги вон... Нет, надо постегать этого театрального диктатора!» – и написал критику на перевод Катенина «Эсфири» Расина. Дело едва не кончилось дуэлью.

В то же время братья Бестужевы знали, что Катенин, превосходно владевший древними и европейскими языками, был незаурядным поэтом и переводчиком. Участвуя в спорах членов тайного общества о цареубийстве, он перевел и опубликовал отрывок из трагедии Корнеля «Цинна» об убийстве римского императора-тирана. Позднее Бестужев узнал, что Катенину принадлежит перевод строк, которые могли бы стать революционным гимном:

Отечество наше страдает  
Под игом твоим, о злодей!  
Коль нас деспотизм угнетает,  
Мы свергнем и трон и царей.

Тайная полиция наверняка была в курсе всего этого. И потому истинной причиной опалы Катенина была не выходка в театре, а вполне определенный образ мыслей.

Только через три года Катенину разрешили выехать из своего костромского имения. Вернувшись в Петербург осенью 1825 года, он не принял участия в подготовке восстания. Но от общества отошел не из-за ссылки. Он перегорел в нетерпении еще во время споров, до высылки.

Вспомнив все это, Бестужев подумал, что не так уж безобидны были стычки и конфликты между драматургами, актерами, зрителями. Сколько скрытых интриг, тайных страстей тлело за кулисами театра! Немногим было дано знать истинные причины

перепалок, которые выдавали себя зловещим отблеском в глазах недругов и неожиданными языками пламени на страницах газет и журналов.

Даже в мирном свете свечей, радужном переливе хрустальных подвесок на люстрах и канделябрах, блеске золота и серебра на орденах сановников Бестужева чудилась опасность.

Вспомнился выход в театр с Анетой Михайловской. Они сидели в пятом ряду партера. Неподалеку оказались Крылов, Ггеедич, Оленин. В креслах ложи сидели Милорадович и Жуковский. Мелькнули сзади них улыбающиеся, подобострастные лица Булгарина и Греча, нашедших повод показаться на глаза вельможам. Бестужева невольно вспомнились стихи Грибоедова: «Здесь озираются во мраке подлецы, чтоб слово подстеречь и погубить доносом».

И тут в зал вошел брат Саша с автором этих стихов. Элегантно одетый Саша раскланялся с сидящими рядом, послал кому-то воздушный поцелуй, а потом, заметив Мишеля с Анетой, приветливо махнул им. Грибоедов тоже обернулся, привстал, поклонившись с улыбкой, отчего Анета зарделась в смущении – множество лорнетов и биноклей сразу же проследили, с кем это так любезно раскланялись два знаменитых Александра.

Знакомство их произошло летом двадцать четвертого года. Поначалу Саша отнесся к Грибоедову сдержанно, рассказы о дуэли Шереметева и Завадовского, в которой Грибоедов был секундантом последнего, были переданы Саше в черном свете, мол, именно Грибоедов, увезший балерину Истомину к Завадовскому, стал причиной гибели Шереметева и ссылки на Кавказ его секунданта Якубовича. На самом же деле «поджогой» в этой дуэли оказался Якубович. И вот это «храброе и буйное животное», как называли его, поклялось отомстить не только Александру I, но и Грибоедову. Судьба свела их в Тифлисе, как только Грибоедов приехал туда. На этот раз дуэль, к счастью, кончилась лишь легкой раной Грибоедова в левую ладонь. Он долго не мог играть на рояле, а позднее выяснилось, что мизинец бездействует, и Грибоедов был вынужден заказать для игры особую аппликатуру.

Но как только Александр Бестужев познакомился с отрывками из «Горя от ума», он поскакал к Грибоедову и сказал:

– Все наветы пали пред стихами вашей комедии. Сердце, которое диктовало их, не может быть тускло и холодно.

Грибоедов дружески пожал руку Бестужева.

– Очень рад вам. Так и должны знакомиться люди, которые поняли друг друга.

Было это вскоре после знаменитого наводнения. Менее полугода, с ноября по апрель, когда брат Саша уехал в Москву, а Грибоедов чуть позднее – в Киев, длилась эта дружба, но какой горячей оказалась она! Сблизившись с Грибоедовым, Саша сразу же привел его к Рылееву на один из русских завтраков. Кондрат в привязанности ко всему русскому устраивал их довольно оригинально – водка, черный хлеб, кислая капуста, соленое сало. Брата Александра, любившего соленое и кислое, такой стол очень устраивал. Но дело, конечно, не в этом, а в разговорах, спорах.

Михаил Бестужев тоже любил эти завтраки, и как только была возможность, спешил в дружную семью литераторов отдохнуть душою и сердцем от убийственной шагистики. Позднее он встречался с Грибоедовым на квартире Одоевского, который снимал ее в доме Булатова на Исаакиевской площади – целый этаж, комнат восемь. Именно там Михаил услышал впервые чтение Грибоедовым «Горе от ума». Брат Петр, приехав из Кронштадта, уговорил Мишеля взять его с собой. С разрешения автора некоторые стали записывать текст. К ним присоединились и братья Бестужевы.

Когда Михаил долго болел и лежал в квартире Рылеева, Грибоедов навещал его. И тут Бестужев увидел его совсем не таким, каким представлял прежде. Рассказни и сплетни о Грибоедове рисовали его как ловеласа, бретера, любителя не столько театра, сколько актрисок. Такое, мол, творил во время службы в армии! На спор въехал верхом на коне на второй этаж дома, где шел бал. И там же, в Брест-Литовске, он якобы забрался на хоры католического собора, где припугнул или уговорил органиста уступить место за клавишами

и превосходно симпровизировал Баха. Отклонение от канонов было сразу же замечено пастором и прихожанами, но прирожденный музыкант и композитор не мог исполнять что-либо без своих вариаций. А в конце службы Грибоедов вдруг сыграл «Камаринскую». И хотя мелодия, говорят, звучала весьма торжественно, величаво, скандала избежать не удалось. К счастью, до Петербурга дело не дошло.

Справившись о самочувствии Михаила, Грибоедов заговорил о брате Николае, о его статьях «Гибралтар», «Об удовольствиях на море», книге «Плавание фрегата „Проворного“». Высоко отозвавшись обо всем, что ему удалось прочитать из написанного Николаем Бестужевым, Грибоедов отнес его к числу редких литераторов, которые не довольствуются одним лишь вдохновением, а используют свои ученые познания, тогда как многие собратья по перу не желают изучать науки.

– Байрон, Гете, Шиллер оттого и вознеслись выше многих, – сказал Грибоедов, – что их гений равнялся их учености.

Когда Грибоедов спросил, пишет ли он и его младшие братья, Михаил ответил, что считает литературу своим призванием, а братья Петр и Павел тоже пробуют перо. И, воспользовавшись случаем, показал свой очерк о наводнении в Петербурге. Грибоедов не стал брать рукопись домой, а начал читать прямо у постели Бестужева. Читая, он то и дело покачивал головой и, закончив чтение, назвал описание потрясающе верным. Тут Михаил узнал, что Грибоедов едва не погиб во время наводнения. И если бы не Одоевский, он не сидел бы сейчас здесь. Когда он спросил, не пытался ли Михаил опубликовать это, тот ответил, что попытка была пресечена на корню: морской министр де Траверсе заявил, что в описании слишком много истины...

– Зачем же было показывать? Надо ставить перед фактом! Впрочем, что это я? – усмехнулся Грибоедов, махнув рукой.

Заговорив как-то о «Горе от ума», он мрачно сказал, что вряд ли увидит комедию опубликованной, и неожиданно улыбнулся:

– Однако театральное училище взялось поставить пьесу.

Мишель знал об этом от брата Александра, который бывал на репетициях вместе с Грибоедовым. Как радовались они, видя героев комедии в лицах! Костюмы у актеров были неважные, и Саша предложил для исполнителя роли Скалозуба свой мундир. Однако официальный шпион театра, числившийся реквизитором, донес о репетициях графу Милорадовичу, и тот объявил грозный фирман. Так Грибоедову и не удалось увидеть своей пьесы, даже в ученическом исполнении.

Но все это – репетиции и запрет постановки – было позднее, а в те дни, когда Грибоедов навещал Михаила, они говорили не столько о пьесе или бедах государства, сколько о литературе, музыке.

Странно было слышать из уст этого энциклопедиста, музыканта, знатока пяти европейских, а также персидского и арабского языков, что он не успевает работать и следить за тем, что происходит в науках, изучать их, чтоб не отстать от жизни.

– Время летит, а я еще ничего не сделал для словесности.

– Зачем грешить против истины? – возразил Мишель. – Вы человек Возрождения.

Однажды Грибоедов задержался у Рылеева после того, как разошлись все чужие и остались только члены тайного общества. «Неужели он посвящен в наши дела?» – подумал Бестужев. Споры, разговоры, по обыкновению, шли острые, и когда за полночь дом покинули последние гости, Мишель спросил Рылеева о Грибоедове, а тот коротко ответил: «Он наш». Бестужев обрадовался этому, но тут же выразил обеспокоенность общением Грибоедова с Булгариным. Рылеев ответил, что и его беспокоит эта связь, он даже имел особый разговор, но, несмотря на предостережения об опасности и ущербе репутации, Грибоедов наотрез отказался рвать с Булгариным, дав понять, что общается с ним «из медицинского интереса». Но дело конечно же было не в этом. Странно, но лишь Булгарину удалось опубликовать в «Русской Талии» часть пьесы Грибоедова, разве может автор забыть такое.

Сколько надежд, мечтаний было связано у него с этой комедией, а вместо того он вкусил лишь горькие разочарования. В том, что он еще надеялся увидеть ее на сцене, Мишель убедился после одного эпизода в доме Рылеева. Как-то Анета пришла навестить больного друга, а Грибоедов, сидевший у него, вдруг стал рассматривать ее так пристально, что смутил девушку, а у Мишеля шевельнулась ревность: «Как же можно любоваться ею в моем присутствии?» Однако дело было вовсе не в том. Грибоедов спросил, не собирается ли Анета стать актрисой, и, услышав отрицательный ответ, огорченно вздохнул:

– Какая жалость – такая славная Софья была бы из вас!

Грибоедов уехал из Петербурга в мае 1825 года, но в начале следующего года был арестован на Кавказе и доставлен в Петербург. О том, что он член общества, заявили Трубецкой и Оболенский, но Александр Бестужев и Кондрат Рылеев сумели опровергнуть их показания, в результате чего Грибоедова освободили с очистительным аттестатом. Выйдя на свободу, он чем только мог способствовал облегчению участи Бестужевых. Не без его хлопот брата Александра перевели из Якутска на Кавказ. А затем он помогал там же и Петру и Павлу. Вот почему Петр называл Грибоедова: «Общий друг наш и благодетель».

## КНИГА КОРФА

За завтраком Казакевич вдруг заговорил о междуцарствии и причинах восстания. Видя изумление Бестужева, он сказал, что ночью читал книгу, присланную из Петербурга. При этих словах он протянул довольно большого формата, но не очень толстую книгу. Бестужев увидел золотое тиснение на обложке: «Восшествие на престол Императора Николая I». На титуле помета крупным шрифтом: «Издание третье, первое для публики, Санкт-Петербург, 1857». Быстро пробежав предисловие, Бестужев узнал, что впервые книга появилась в 1848 году, а переиздана в 1854-м, оба раза по двадцать пять экземпляров. Все ясно: написана лишь для царя и его августейшего семейства. Можно ли ждать бесстрастного разбора?

Увидев, как Бестужев заинтересовался книгой, Казакевич неожиданно предложил ему остаться на даче и почитать в спокойной обстановке. И хотя Бестужев стал ссылаться на то, что ему надо бы проследить за разгрузкой и сдачей товаров, Казакевич настоял на своем и уехал в город, оставив гостя на даче.

В предисловии говорилось, что книга написана «по самым достоверным фактам», чтобы «восполнить для будущего историка России такой пробел, которого не простило бы нам потомство».

«Современники стареют и умирают, предания исчезают, в самих свидетелях и очевидцах память былого тускнеет, и к истине, искажаемой изустными рассказами, примешиваются постепенно вымыслы и прикрасы, которые так легко прививаются ко всякому великому происшествию, много занимавшему собою умы».

Иллюзию непредвзятости создавало подробное перечисление материалов, служивших источниками. Помимо записок членов императорской семьи, упоминались заметки «свидетелей и деятелей 14 декабря» генерал-адъютанта Орлова, графа Левашова, Перовского, Засса и генерала Ростовцева.

– «Деятели» 14 декабря! – усмехнулся Бестужев.

Уже в предисловии бросались в глаза раболепный, лакейский тон изложения, передержки, искажения фактов. Искусно подтасованные и замаскированные, они создавали впечатление правдивости лишь для непосвященных.

«„Если буду Императором хоть на один час, то покажу, что был того достоин“ – так говорил незабвенный Император Николай I утром 14 декабря 1825 года, – писал Корф, – и торжественно оправдалось это первое державное Его слово! Тридцать лет среди благоволений мира и громов войны, в законодательстве и суде, в деле внутреннего образования и внешнего возвеличения Его России, везде и всегда Император Николай I был на страже ее чести и славы, ее отцом и вместе первым и преданным из ее сынов. Человек не может всего; Николай исполнил все, что возможно одному человеку».



Ай да Корф! Ай да Модинька! Как бы отнеслись к этим словам его лицейские друзья Дельвиг, Пушкин, Кюхельбекер, которых извел Незабвенный? Наверняка с брезгливостью и презрением.

Далее Корф начал объяснять причины междуцарствия не борьбой за престол между сыновьями Павла I, а их нежеланием власти. Получалось, что от короны отказывались не только Николай и Константин, но и Александр еще при жизни своего отца Павла I. Для доказательства этого цитировалось письмо Александра от 10 мая 1796 года:

«Придворная жизнь не для меня создана... В наших делах господствует невероятный беспорядок... грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изогнан отовсюду...»

– Ну чем не наши дни, – вздохнул Бестужев. Далее Александр писал, что исправить укоренившиеся злоупотребления выше сил не только человека, одаренного, подобно ему, обыкновенными способностями, но даже и гения.

Затем Корф привел беседу 1819 года, когда государь сказал Николаю, что Константин с врожденным отвращением к престолу решительно отказывается ему наследовать, к тому же у того тоже нет наследника. «Мы оба видим на тебе явный знак божьей благодати, даровавшей тебе сына, так знай наперед, что призываешься к императорскому сану». Николай, пораженный, как громом, стал в слезах отказываться, мол, никогда не готовился к сану императора.

В 1823 году был написан манифест об отречении Константина и положен в ковчег алтаря Успенского собора в Москве, а копии отосланы в Государственный совет, Синод и Сенат. Обнародовать его Александр не стал, то ли надеясь на рождение своего наследника, то ли щадя самолюбие Константина. Не сообщил он об этом и на смертном одре в Таганроге.

Весть о его болезни пришла в Петербург 25 ноября. Николай тотчас поехал к матери, которая сейчас испытывала отчаяние из-за того, что никто не знал об отречении Константина и восхождение на престол Николая может вызвать непредсказуемое.

27 ноября во время молебна в церкви Зимнего дворца за здоровье Александра пришло сообщение о его смерти. Мария Федоровна лишилась чувств, а Николай приказал всем присягнуть Константину и сам первый дал присягу.

Корф торжественно писал, что история – не что иное, как летопись человеческого властолюбия. У нас же она отступила от вечных своих законов и представила «пример борьбы неслыханной, борьбы не о возобладании властью, а об отречении от нея!». Но умиление Корфа было лицемерно, как и тогдашнее поведение сыновей Павла I. Не великодушие и не благородство двигали ими, а страх отцовской участи: не удушили бы.

Подробно изложив ситуацию, Корф начал рассказ о заговоре: «Горсть молодых безумцев, незнакомых ни с потребностями Империи, ни с духом и истинными нуждами народа, дерзостно мечтала о преобразовании государственного устройства; вскоре к мысли преобразований присоединилась и святотатственная мысль цареубийства». Оказывается, Александр I впервые услышал о заговоре еще в 1818 году, но сохранил это в тайне. Однако доносы Шервуда и Майбороды, полученные в Таганроге в 1825 году, истощили меру его долготерпения, и государь отправил курьеров в Варшаву и Петербург с приказом захватить главных злоумышленников.

В рапорте начальника Главного штаба Дибича были названы Рылеев и... один моряк, который специально перешел из флота в армию. Узнав себя, Бестужев от неожиданности встал из-за стола:

– Здравствуй, Мишель! Здравствуй, молодой безумец! А вам, Модест Андреевич, спасибо за встречу! Только почему вы не назвали меня? – начав быстро листать страницы, он увидел фамилии Пестеля, Одоевского, Якубовича. А из братьев был назван только Александр. И понял: названы только те, кого уж нет. – Боже мой! Какая гуманность по отношению к живым!

А что же Незабвенный не арестовал Рылеева и его? Ведь он прекрасно знал, что именно Михаил Бестужев перешел из флота в гвардию, фактически став телохранителем великого

князя – моековцы дежурили во внутреннем карауле Зимнего дворца.

Как раз накануне получения рапорта Дибича – в ночь на двенадцатое декабря – Бестужев командовал ротой москвичей. При смене караульный офицер передал секретный приказ: от вечерней до утренней зари производить смену часовых у покоев его высочества лично самому капитану. Во втором часу ночи Бестужев направился с часовым к дверям спальни его высочества. Он велел солдату идти, не печатая шаг. Однако длинный коридор, освещенный посреди лишь одной лампой, заполнился ритмичным стуком сапог, рослый гвардеец, многими годами службы приученный к жесткости шага, не мог идти по-иному. Тогда Бестужев приказал ускорить шаг и подошел к дверям спальни быстрее обычного. В щели дверей виднелся свет – великий князь, будущий император еще не спал.

Сходя с круглого коврика, часовой в полумраке скрестил свое ружье с ружьем сменного. Железо резко звякнуло в тишине гулкого коридора. Дверь спальни почти сразу же отворилась, и в ней показалось бледное, испуганное лицо Николая.

– Что случилось? Кто тут? – спросил он дрожащим голосом.

– Караульный капитан, ваше высочество.

– А, это ты, Бестужев! Что ж там такое?

– Ничего, ваше высочество, часовые сцепились ружьями.

– И только? Ну, если что случится, дай мне тотчас знать.

Как же дрожал Николай в ту ночь и в те дни! Небось из-за быстрых шагов и лязга железа пригрезилось, что пришли за ним. И если бы Бестужев сказал ему, что он арестован, то Николай наверняка бы без сопротивления последовал бы за ним, куда бы ему ни приказали. Спал ли в ту ночь Николай, Бестужев не знал, по в половине шестого утра в Зимнем дворце появился полковник Фридерикс, прискакавший из Таганрога со срочным пакетом от генерала Дибича для передачи в собственные руки императора. Барон Корф живо изобразил недоумение Николая, ведь император Константин в Варшаве, а Николай пока всего-навсего – великий князь. Известия об окончательном отречении Константина тогда еще не было.

«Вскрывать пакет на имя императора – был поступок столь отважный, – цитировал Корф воспоминания Николая, – что решиться на сие казалось мне последней крайностью, к которой одна необходимость могла принудить человека, поставленного в самое затруднительное положение, и – пакет вскрыт!»

Только узнав о пространном заговоре, охватившем всю империю от Петербурга и Москвы до Украины и Бессарабии, Николай в полной мере почувствовал всю тяжесть положения: не имея ни власти, ни права на оную, он мог действовать только через других, без уверенности, что его совету последуют. Призвав к себе Милорадовича, распорядившегося полицией, и начальника почтовой части Голицына, который контролировал связь столицы с империей, Николай ознакомил их с рапортом Дибича.

Решено было узнать, кто из поименованных заговорщиков находится в столице, и немедленно их арестовать. Милорадович, обещав сделать это, ушел, а позже сообщил, будто никого из них в столице нет. Раздумывая, почему генерал ввел в заблуждение Николая и отказался от арестов, Бестужев понял, что тот вел какую-то свою игру. Видимо, ему было выгодно держать Николая в страхе, и заговорщики, как ни странно, помогали в этом.

Около полудня 12 декабря из Варшавы прибыл курьер с окончательным отказом Константина. «И Николай Павлович заставил умолкнуть в Своем сердце, пред святым долгом к отечеству, голос самосбережения и себялюбия: с душою, исполненной благоговейного доверия к Промыслу, Он покорился его предначертаниям». Манифест о вступлении Николая на престол помогали писать Карамзин и Сперанский.

Что ни страница, то новость! Карамзин, хорошо знавший старших братьев Бестужевых, особо высоко ценил Николая. И вот почтенный, всеми уважаемый историк, оказывается, помогал Незабвенному в составлении Манифеста, а в день восстания его видели на Сенатской площади рядом с императором. Говорят, тогда он сильно простыл, и болезнь ускорила его смерть. А Сперанский был в близких отношениях с Батеньковым, Трубецким. В

случае успеха восстания его даже прочили в состав Временного правительства. Как много сделал он для Сибири! Еще больше мог бы сделать для всей России, если бы стал во главе нового правительства! Интересно, какие чувства испытывал он, работая над Маш фестом, ведь он точно знал о готовящемся перевороте при успехе которого с гораздо большим рвением наш сал бы Манифест совсем другого толка?

«Обнародование Манифеста и принесение присяги Николаю было назначено на 14 декабря, – писал Корф, – Все это делалось втайне. Происшедшая перемена (наследника) и день, определенный для присяги, не остались сокрытыми только от заговорщиков. Никто их не знал, но сами они знали все».

Явное преувеличение вызвало усмешку Бестужева. Действительно, они знали многое. Главными поставщиками новостей были Трубецкой, имевший связи при дворе и в кругах дипломатов, и Оболенский – от генерала Бистрома, у которого он был адъютантом. Знали многое, но далеко не все. Кое-что открывалось перед Бестужевым только сейчас, тридцать два года спустя.

Прочитав подробное описание всего происходившего 12 декабря в Зимнем дворце, Бестужев вспомнил, что в эти самые часы он отдыхал после ночного дежурства, но поспать толком не удалось – на квартиру Рылеева, которая превратилась в штаб готовящегося восстания, один за другим приходили офицеры разных полков, а потом прибыл посланный из дома с сообщением, что в Петербург из Сольцов приехали матушка и сестры. Вырваться домой, на Васильевский остров, удалось лишь поздним вечером.

А в Зимнем дворце состоялся торжественный молебен. «Благословение на предстоящее было испрошено, – писал Корф, – из другого мира». После этого Николай с супругой поехал в Аничков дворец, где бывшая великая княгиня «припала в теплой молитве перед бюстом почившей Ея родительницы». В Зимний дворец Николай Павлович и Александра Федоровна вернулись уже новой императорской четой.

Тревожный день, начавшийся с донесения Дибича, закончился визитом и не менее страшным для Николая доносом Ростовцева. Корф обрисовал 22-летнего подпоручика благородным, прекраснородушным юношей, который случайно узнал от своего товарища, то есть Оболенского, о злоумысле мятежников, тщетно пытался облагородить его, но, видя, что это не удастся, с риском для жизни предостерег Николая о грозящей опасности. Не надеясь на то, что его примут, Ростовцев заготовил письмо.

«В народе и войске распространился уже слух, что Константин Павлович отказывается от престола. Следуя редко влечению вашего доброго сердца, излишне доверяя льстецам и наушникам, вы весьма многих против себя раздражили.

Для вашей собственной славы погодите царствовать.

Против вас должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге, и, быть может, это зарево осветит конечную гибель России.

Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть, и Литва от нас отделятся. Европа вычеркнет раздраемую Россию из списка держав своих и соделает ее державою азиатскою, и незаслуженные проклятия вместо должных благословений будут нашим уделом...

Всемиловнейший Государь! Ежели вы находите поступок мой дерзким – казните меня... Ежели вы находите поступок мой похвальным, молю вас, не награждайте меня ничем; пусть останусь я бескорыстен и благороден в глазах ваших и моих собственных!»

Прочитав письмо, Николай позвал Ростовцева в кабинет, обнял и несколько раз поцеловал его со словами: «Вот чего ты достоин». На вопрос о заговорщиках Ростовцев ответил, что никого не может назвать.

– Может быть, ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их, думая, что это противно твоему благородству – и не называй! – сказал Николай. – Константин отрекся, а он мой старший брат. Впрочем, будь покоен. Нами все меры будут приняты... Ежели нужно умереть, то умрем вместе! – тут он обнял Ростовцева, и оба прослезились.

Далее Корф написал, будто Ростовцев сообщил о визите к Николаю лишь на другой

день, но на самом деле сказал об этом Оболенскому в тот же вечер.

По словам Николая Бестужева, Ростовцев поставил свечку и богу и сатане. Действительно, получалось так, что кто бы ни взошел на престол – Константин или Николай, Ростовцев в выигрыше. А на случай, если победят заговорщики, он явился к Оболенскому и признался в своем доносе, намекнув, что он сделал это, чтобы запугать Николая и чтобы междуцарствие затянулось на более долгий срок, а это, мол, на пользу тайному обществу.

Так это было или иначе, судить трудно. Когда Рылеев сказал, что если бы Ростовцев назвал их, то их бы уже арестовали, Николай Бестужев возразил: Ростовцев наверняка выдал всех, но арестовывать государь не стал лишь до присяги.

– Что же делать? – спросил Рылеев.

– Не говорить никому о доносе и действовать. Лучше погибнуть на площади, нежели в постели. Пусть люди узнают, за что мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайно исчезнем и никто не узнает, где мы и за что пропали.

– Я был уверен в твоем мнении, – Рылеев бросился к Николаю и обнял его. – Итак, с богом! Судьба наша решена! Мы погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы Отечества!

Вспомнив все это, Михаил отложил книгу и задумался. Даже сейчас, тридцать два года спустя, он не мог точно выразить свое отношение к Ростовцеву, но тогда мнение руководителей общества было единодушным: Ростовцев – доносчик, предатель.

За месяц до восстания Михаил вместе с братом Александром, Рылеевым, Оболенским, Штейнгейлем был в гостях у Ростовцева, который пригласил их на чтение своей трагедии «Пожарский», написанной для «Полярной звезды». После этого Оболенский решил, что Ростовцев полон любви к Отечеству и презрения к самовластью, и принял его в общество.

Вечером 12 декабря, еще до известия о доносе Ростовцева, на квартире Рылеева сошлись главные военные руководители восстания – полковник Трубецкой, избранный диктатором за три дня до этого, полковник Булатов и капитан Якубович.

Рылеев и Булатов вместе учились в кадетском корпусе. Кондрат был лишь на два года моложе и вступил на службу артиллеристом в 1814 году, успев принять участие в нескольких сражениях во Франции. А Булатов, служа в лейб-гвардии Гренадерском полку, участвовал в походах 1813–1814 годов. Став полковником, он был назначен командиром 12-го егерского полка в Пензенской губернии.

Однако семейная жизнь Булатова складывалась трудно. Женившись против воли отца-генерала, он лишился наследства. Но когда год назад у Булатова умерла двадцатидвухлетняя жена, оставив двух крохотных дочурок, отец переписал завещание, выделив ему долю, а весной 1825 года умер. Приехав в Петербург по разделу наследства, Булатов встретился с Рылеевым, тот сказал ему о заговоре и вовлек столь нужного для тайного общества боевого полковника.

Поселившись в доме отца на Исаакиевской площади, где снимал целый этаж Одоевский, Булатов увидел и познакомился с квартирантом лишь на совещании у Рылеева. Узнав, что молоденький корнет – один из активнейших заговорщиков, Булатов удивился, как мало в обществе весомых людей. Однако Рылеева это вроде бы не смущало. Организовав несколько встреч с лейб-гренадерами, он сумел убедить Булатова в том, что они не только хорошо помнят, но и любят своего прежнего командира, готовы пойти за ним, куда бы тот ни приказал.

И вот на совещании 12 декабря Рылеев предложил Булатову во главе лейб-гренадеров занять Петропавловскую крепость, Якубовичу вывести Гвардейский экипаж и Измайловский полк, взять Зимний дворец и захватить императорскую семью. А общее руководство восставшими возлагалось на Трубецкого. Видя, что из военных все, кроме Трубецкого, ниже его по званию, Булатов спросил, есть ли в обществе кто посерьезнее и какие войска примут участие в восстании. Рылеев ответил, что сейчас собрались далеко не все – должны подойти полковники Моллер и Тулубьев из Финляндского полка, а в восстании примут участие также артиллеристы и кавалерия.

Выслушав это, Булатов заявил, что возьмется за дело, если ему вручат полк – сам он поднимать никого не будет. Рылеев обещал, что Панов и Сутгоф выведут лейб-гренадеров к Троицкому мосту напротив Марсова поля.

Михаил Бестужев пришел к Рылееву в тот вечер, когда совещание военных руководителей подходило к концу, и совершенно отчетливо почувствовал нервическое возбуждение его участников. В приоткрытые двери он слышал голос Трубецкого, звучавший твердо, внушительно. Эта внушительность тона, как выяснилось позже, не понравилась Булатову и Якубовичу, которые в тот вечер впервые увидели диктатора. Им показалось, что он хочет использовать переворот в личных целях и уже как бы примеряет на себя шляпу Бонапарта.

Проводив Трубецкого, Рылеев сказал, что они избрали достойного начальника. Булатов с иронией заметил, что Трубецкой держится с важностью монарха. Якубович с усмешкой поддакнул: «Да, он довольно велик!», имея в виду, кроме всего, огромный, около двух метров рост Трубецкого. Но заметив, как встрепенулся Рылеев, они обратили все в шутку.

На каторге Бестужев узнал от Якубовича, что именно это заблуждение насчет Трубецкого стало причиной неприязни Булатова к диктатору и к целям, намерениям всего общества. Выйдя от Рылеева, он сказал Якубовичу, будто Кондрат еще в кадетском корпусе настраивал всех друг против друга, сталкивал лбами, и вообще Рылеев, мол, рожден для заварки каши, расхлебывать которую всегда приходится другим.

Бестужев пришел в негодование. Кого-кого, но только не Кондрата – человека, поистине святого в любви к отечеству и преданности друзьям, можно обвинять в интриганстве. Мишель знал Рылеева как одного из верных товарищей, готового скорее принять на себя чужую вину, чем выдать кого-то или столкнуть лбами. Особенно обидно было оттого, что слова, бросающие тень на друга, не поддавались проверке – ни Рылеева, ни клеветника не было в живых. После заключения в Петропавловскую крепость Булатов, доведенный до отчаянья, перестал есть, а потом разбил голову о стену каземата.

Булатов страдал непомерным самомнением и самолюбием, что, кстати, и учел Рылеев, вовлекая его в общество. Но попав туда и убедившись, что в нем полно юнцов, вроде квартиранта Одоевского, Булатов, вероятно, обиделся, оказавшись под командованием Трубецкого, менее искусного, по его мнению, в военном ремесле. Не потому ли он предложил Якубовичу действовать независимо от Трубецкого и Рылеева, поддерживать лишь друг друга, надеясь, что затем восставшие, оценив истинные достоинства Булатова, передадут ему диктаторство?

Рассуждая так, Бестужев понял, что именно Булатов из-за своего болезненного самолюбия поступил как интриган и втянул Якубовича в оппозицию, сыгравшую зловещую роль в день восстания...

За чтением и воспоминаниями Бестужев не заметил, как наступили сумерки. Казакевич вернулся позже ожидаемого и сказал, что разгрузка барж идет хорошо, охрана надежная, за товары можно не беспокоиться. Узнав, что чтение книги еще не закончено, он сказал, что Бестужев может остаться еще на день.

За ужином адмирал заговорил о междуцарствии и о Константине, чувствовалось, что он испытывает к нему некоторую симпатию – давние отголоски популярности прежнего цесаревича, на что, кстати, и опирались заговорщики. Бестужев сказал, что Константин был гораздо проще, прямодушнее, чем его братья Александр, Николай, Михаил. Внешне он более походил на Павла I, да и характером тоже – вспыльчив, капризен, но отходчив. Популярности Константина способствовало введение конституции в Польше, снижение срока службы в войске польском до восьми лет против двадцати пяти в России.

– Он не терпел династических и прочих условностей, – сказал Казакевич.

– Дело не в этом, просто он жил в свое удовольствие.

## **НАКАНУНЕ ВОССТАНИЯ**

Перейдя к описанию Корфом того, что происходило в Зимнем дворце 13 декабря, Бестужев невольно час за часом восстановил, как он провел то воскресенье. Тогда он командовал караулом по второму отделению, но ему удалось вырваться на обед домой, где впервые за минувший год и, как оказалось позже, последний раз в жизни собралось все семейство Бестужевых.

Старушка-мать со слезами на глазах благодарила бога за милость свидеться после долгой разлуки со всеми сыновьями, будущее которых казалось ей таким радужным. А они бодрились, стараясь не показывать озабоченности и тревоги из-за предстоящего выступления. Бедная матушка не могла и гадать, что не пройдет и суток, как ее золотые надежды сменятся горестной действительностью. Однако сыновья тогда очень надеялись на победу и лишь на всякий случай договорились не вовлекать в дело младших – Петра и Павла. Для этого Николай попросил Петра сопроводить в Кронштадт Степовую, а Павлу велел пораньше отправиться в свое Артиллерийское училище.

Время от времени, когда появлялись гости, Николай уводил их в свою комнату, обсуждая последние новости и принимая решения. Фактически квартира Бестужевых стала одним из штабов восстания. Перед уходом на дежурство Мишель узнал от Николая, что присяга назначена на завтра и что полковник Финляндского полка Моллер отказался участвовать в заговоре. Накануне он дал честное слово, но, побывав у своего дяди – морского министра, видимо, посоветовался с ним и пошел на попятную.

При первом же вопросе о его намерениях Моллер резко ответил, что не желает быть орудием в деле, где не видит успеха, и не хочет быть четвертованным. Вслед за ним отказался и полковник Тулубьев. Урон был невосполним – еще до восстания заговорщики потеряли почти две тысячи солдат. Главное же – батальон Моллера в день выхода заступал в караул Зимнего дворца.

Поехав из дома проверять караулы, Бестужев приказал дежурным офицерам, если они наутро не застанут свой полк в казармах, вести солдат прямо на Сенатскую площадь. Тогда-то он и заехал вечером в дом Михайловских.

Столько езды, встреч, столкновений было в тот день, но то, как он ехал от Анеты, потрясенный расставанием с ней, запомнилось навсегда. Перед затуманенным взором Мишеля встало бледное лицо Анеты, играющей на арфе. Лицо ее пересечено струнами – он сидит с другой стороны, но видит, как из полуприкрытых глаз Анеты текут слезы и пальцы нервно щиплют струны. Потом руки вдруг бессильно опустились вниз, а струны, задетые ими, загудели нестройно. Все – конец! И под это тревожное гудение арфы Бестужев въехал во двор казармы Московского полка.

Взяв с собой Щепина-Ростовского, Бестужев поспешил к Рылееву. Щепин не был членом общества, но Бестужев взял его на совещание, чтобы проверить, не отступит ли он.

Двери дома Российско-Американской компании беспрестанно отворялись. Шинели и шубы не умещались на вешалке и складывались на сундуке и креслах в передней. Бестужева удивляло и множество незнакомых лиц, и то, как до сих пор сюда не залетели пташки Фогеля, начальника тайной полиции Петербурга. Милорадович наверняка сообщил ему, а тот – своим агентам о заговорщиках и о том, где их искать.

Только что узнав об отказе Моллера и Тулубьева, Трубецкой хмуро оглядел собравшихся и спросил, где Булатов и Якубович. Рылеев заверил, что с ними все договорено – они выйдут на площадь, да и сегодня должны зайти сюда. Наступило молчание, похожее на затишье перед бурей. Бестужев хорошо понимал состояние Трубецкого: кое-что из замысленного уже сорвалось, остальное – в неясности.

Тут в дверях показался внушительного вида офицер с эполетами капитана. *Все* сразу стихли, некоторые прапорщики, поручики даже лривстали не то как перед старшим по званию, не то подумав, что за ними пришаи. Но Рылеев вышел навстречу, пожал вошедшему руку и сказал:

– Господа офицеры, это наш! Командир эскадрона коннопионеров Михаил Пущин. Я его знаю с детства – учились в кадетском корпусе.

Приглядевшись, Бестужев заметил, что тот походит на своего старшего брата Ивана Пущина, которого здесь пока не было. Не дождавшись Булатова и Якубовича, Трубецкой глянул на часы и начал совещание. Первыми должны были выйти моряки, поэтому он обратился к Арбузову. Лейтенант флота Антон Арбузов, один из самых солидных по виду и возрасту, сказал, что почти все офицеры экипажа настроены не присягать и выйдут на штурм дворца.

Подпоручик Измайловского полка Нил Кожевников заявил, что он и его товарищи решили умереть, нежели присягать Николаю, и, если за ними зайдут, они выведут весь полк. Поручик Александр Сутгоф заверил, что он и Панов выведут свои роты и вручат их Булатову. Трубецкой глянул на представителя Финляндского полка Репина и отвел взгляд, дескать, и так все ясно – Моллер и Тулубьев отказались участвовать в деле, но Репин сказал, что солдаты настроены не присягать и он с Розепом попытается вывести их.

– Ну, давай-то бог, – только и вздохнул Трубецкой. Когда очередь дошла до Московского полка, Бестужев заявил, что за свою роту он спокоен, но если другие не выйдут и станут препятствовать, положение может осложниться. Щепин-Ростовский с укором посмотрел на него, отчего тот не говорит о его роте.

– И мои фузелеры выйдут! – выкрикнул он с вызовом.

В глазах Трубецкого мелькнула тень усмешки из-за столь неожиданной горячности, он с любопытством взглянул на ретивого штабс-капитана.

– И все же как быть, если другие роты станут препятствовать? – спросил Бестужев.

– Поддерживать отказ солдат от присяги, и как только услышите о выходе других войск, присоединяйтесь к ним, – сказал Трубецкой.

Но тут Михаил Пущин выразил сомнение в том, что младшие чины смогут вывести солдат вопреки приказу старших офицеров.

– Хотел бы видеть того прапорщика, который вопреки моей воле попытался бы вывести мой эскадрон!

– А если на вас со штыками и саблями? – спросил Щешга.

– Только через мой труп! – твердо сказал Пущин. – И после услышанного здесь весьма сомневаюсь в успехе предприятия. Другое дело, если бы во главе стоял, допустим, генерал Милорадович или другое известное высокое лицо.

Полковник Трубецкой усмехнулся при этих словах – камень-то пущен в его огород.

– Но ведь ты обещал вывести эскадрон! – вспыхнул Рылеев.

– А я и не отказываюсь! А сказал так для примера.

– Слава богу! – облегченно вздохнул Кондрат, чем вызвал общий смех.

– Ну вот что, господа офицеры, – твердо сказал Трубецкой, – шансы у нас все-таки есть. Если моряки и измайловцы выйдут, то к ним присоединятся другие полки, а если нет, придется отставить выступление.

– Ну нет! – вскочил Рылеев. – Как ни малы будут силы, надо вести их к дворцу!

– Но это же верная гибель! – возразил Трубецкой.

– И все-таки пути назад нет. Мы слишком далеко зашли. Нам, может, уже изменили!

– Но выходом мы себя не спасем, а к тому же погубим солдат.

– Можно, конечно, принести себя в жертву, – поддержал диктатора Пущин, – но губить других бесчестно.

– Но почему губить? – возразил Рылеев. – Ведь можно отступить в Старую Руссу, поднять там военные поселения и возвратиться в Петербург с более грозным войском!

– А кто даст ретироваться по петербургским улицам? – спросил Пущин. – Вы же в прошлом артиллерист, имеете понятие – два-три выстрела картечью, и все кончено!

Все снова затихли, только сейчас поняв, как далеко зашло дело. И вдруг в тишине послышался хриловатый голос Семена Григорьевича Краснокутского. Он хоть и статский, но воин бывалый – прошел от Бородина до Парижа, а сейчас – действительный статский советник, обер-прокурор Сената. Кто и как вовлек его в общество, Бестужев не знал.

– Позвольте мне. Такие страсти разгорелись, но зачем паниковать до времени? Ведь все

можно решить тихо, мирно, без кровопролития. Не обязательно идти к Зимнему, там-то уж точно стычки не избежать. Выведите войска к Сенату, пришлите депутацию, а я уговорю сенаторов подписать и конституцию, и манифест об отречении царя от престола.

– Ах, как все просто! – иронически воскликнул Рылеев. – Без взятия Зимнего дворца и ареста царской фамилии не обойтись! Возможно, даже придется вывезти ее в Кронштадт, а окажут сопротивление – истребим!

– Тогда надо выступить ночью, – предложил Каховский.

– Неужто мы уподобимся ночным татам, чтобы творить святое дело во тьме? – выкрикнул кто-то из задних рядов.

– Надо бы запугать двор, а для этого уведомить царя, – сказал Корнилович, – что на юге стотысячная армия только и ждет сигнала, чтобы выйти сюда.

Скользнув по нему взглядом, Трубецкой сказал:

– Войска нужны сейчас, немедленно! И не сто тысяч за тысячи верст, а хотя бы пять-шесть тысяч в ближайших казармах!

Прикинув количество наличных войск, Трубецкой поддержал мнение Пущина: шансы есть, но поручиться за успех трудно. Рылеев снова повторил, что отложить задуманное нельзя, и показал копию письма Ростовцева. Бестужев понял отчаянный шаг Кондрата: поначалу он не хотел пугать заговорщиков, а теперь предъявил это письмо как доказательство того, что путь отрезан. Когда Рылеев закончил чтение, Александр Бестужев воскликнул:

– Переходим за Рубикон, руби все! По крайней мере, о нас будет страничка в истории.

– Так вы за этим-то гонитесь? – сухо спросил Трубецкой.

– Как бы эта страничка не замарала нашу историю и не покрыла нас вечным стыдом, – сказал Михаил Пущин, – но я выведу свой эскадрон, если выйдут соседи-измайловцы...

Перед уходом Трубецкой сказал Рылееву, что, если войск будет мало, действовать смысла нет. Кондрат стал уверять, что он спать не будет, а сделает все, чтобы поднять как можно больше солдат. Очень не понравились Бестужеву слова Трубецкого, его хмурый вид и настроение. А то, что он ушел, не дождавшись Булатова и Якубовича, ввело в недоумение как можно уйти, не убедившись в окончательном согласии и расположении духа ближайших помощников?

После ухода Трубецкого, Краснокутского, Репина пришли Одоевский, офицеры Генерального штаба Палицын, Коновницын, Искрицкий, а затем наконец явился Якубович. Узнав, что Трубецкого уже нет, а Булатов еще не пришел, Якубович сказал:

– Почти весь день я провел... С кем бы вы думали? С Милорадовичем! В гостях у Шаховского среди актерской братии. Граф не отпускал меня, слушая мои рассказы о Кавказе! Сейчас он поехал на заседание Государственного совета, а я – сюда...

– Мог бы и пораньше приехать, – с упреком сказал Рылеев, – Трубецкой не дождался ни тебя, ни Булатова.

– А чего ждать – у нас все договорено.

– Но многое ведь не ясно – одни темнят, другие дрогнули.

– Кто эти подлые трусы?! – вскричал Якубович.

– Отказались Моллер и Тулубьев.

– О, эти тыловые крысы! Их бы на Кавказ! Да я их... Александр Бестужев прервал его вопросом, не подведет ли он?

– Не извольте беспокоиться! И вот какая идея пришла: вывести войска со знаменами под барабанный бой, а простолудинов увлечь, разбив кабаки, лавки. Хоругви из церкви возьмем. Вот будет шествие! И царь не осмелится стрелять в народ.

– Под прикрытием черни брать дворец? – спросил Рылеев.

– А вдруг она разбушует, как и кто ее остановит?

– Не хватало нам пугачевщины! Все решительно отвергли эту затею.

– А как ты поведешь экипаж? Где с ним встретишься? – спросил Рылеев. Эти вопросы повергли Якубовича в легкое замешательство. Тогда Кондрат попросил Александра



Бестужева отвести Якубовича к морякам, показать все ходы и выходы, а главное, назначить место ветре чи с офицерами.

Незадолго перед этим Пушин, выйдя от Рылеева, лицом к лицу столкнулся с Моллером. Тот сказал, что хоть и отказался днем, но честное слово, данное им ранее, мучает его и он решился на вывод войск. Однако Михаил Пушин, подробно рассказав о совещании, сообщил о своих сомнениях и тем самым окончательно разубедил Молл ера.

Когда почти все разъехались, Рылеев подошел к Михаилу Бестужеву и Александру Сутгофу.

– Мир вам, люди дела, а не слова! Вы не беснуетесь, как некоторые, но уверен, что сделаете свое дело.

– Мне подозрительна бравада Якубовича, – сказал Мишель. – Поверь, он ничего не исполнит...

– Как можно предполагать, чтобы храбрый кавказец...

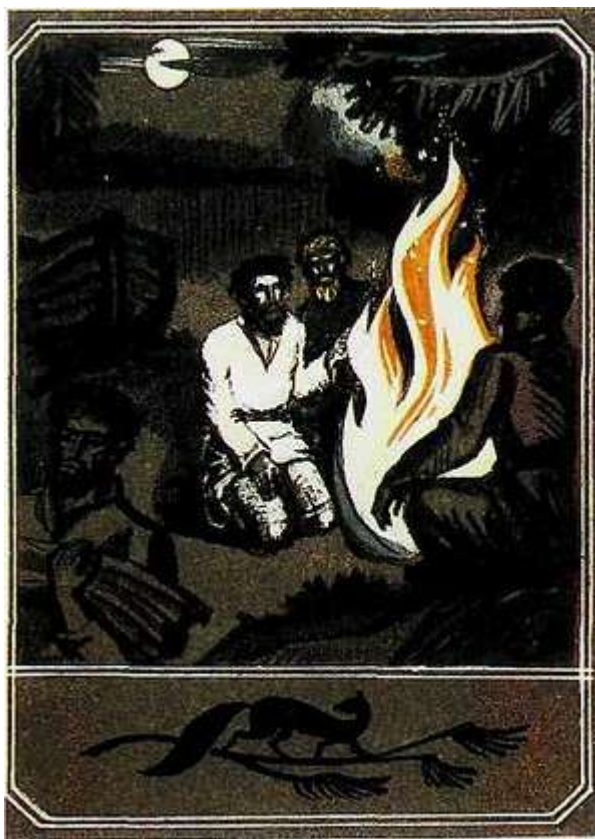
– Но храбрость солдата не то, что храбрость заговорщика. Одним словом, я не буду ждать его, а выведу свои роты.

– А что скажете вы? – обратился к Сутгофу Рылеев.

– То же самое: выведу своих солдат, если соберется хоть часть войск.

Сын генерала Николая Ивановича Сутгофа, шведа по происхождению, и Анастасии Васильевны Михайловой, Александр родился в Киеве, учился в частном пансионе в Москве. В шестнадцать лет стал юнкером лейб-гвардии Гренадерского полка, дослужился до поручика. Характером Саша был настолько русский, что иностранная фамилия казалась недоразумением...

Около полуночи Мишель зашел к Сомову, жившему в одном доме с Рылеевым, и встретил там... брата Петра. Тот бросился с мольбой не говорить старшим братьям о том, что он вернулся из Кронштадта, – ему тоже хотелось принять участие в деле. Успокоив его, Мишель вернулся к Рылееву и увидел входящего Булатова.



Вид у него был странный – лицо бледное, глаза ввалились.

– Что случилось? – бросился к нему Рылеев, подозревая, что тот пришел с отказом.

– Друзья мои! – тихо сказал Булатов. – Я сделал то, что тяжелее всего на свете – простился с милыми моими сиротками, – и слезы покатались из его глаз.

– Боже, неужели Отечество не усыновит нас? – сказал Александр Бестужев, только что вернувшийся из экипажа.

– Оставим это, – вздохнул Булатов. – Давайте о деле. Какие силы примут участие?

Рылеев перечислил войска, назвав несколько большее число полков. С удивлением выслушав его, Булатов спросил, точно ли выйдут они. Рылеев ответил, что ручается за них, и попросил Булатова явиться на Троицкий мост к восьми утра, так как на семь у лейб-гренадеров назначена присяга.

– Но выйдут ли они после нее? – засомневался Булатов, – если войск будет мало, то рисковать детьми и своим добрым именем не стану...

После ухода Булатова Мишель сказал, что и он особой надежды не внушает. Рылеев же упорно твердил:

– И все-таки надо! Все-таки надо!

Тогда Бестужев предложил перехватить великого князя Михаила, который должен вернуться в Петербург, а для этого взять надежных офицеров и поехать к Нарвской заставе, чтобы любым способом задержать или даже арестовать его, иначе вся агитация за Константина пойдет прахом. Рылеев одобрил намерение.

Заехав в казармы, Бестужев решил взять с собой не Щепина-Ростовского, который был слишком возбужден и мог испортить дело, а подпоручика Кудашева. Быстро проскакав верхом по ночному городу, они прибыли к Нарвской заставе, но оказавшийся там Василий Перовский помешал осуществить задуманное.

Вернувшись в полк, Бестужев хотел лечь, чтобы хоть немного отдохнуть перед завтрашним днем, но поспать не удалось. Щепин, еще не остывший после совещания у Рылеева, все порывался пойти по казармам и поднять всех на ноги.

Они знали друг друга давно, еще с Морского корпуса. Дмитрий был сыном капитана из знатного дворянского рода. В их усадьбе в Ярославской губернии насчитывалось триста душ. В сравнении с Бестужевыми Щепины-Ростовские были и богаче, и более знатные – из князей.

Дмитрий был на два года старше Мишеля и раньше его стал мичманом, затем лейтенантом. Но, уволившись из флота, он лишь год спустя вернулся на службу, теперь уже в армию, стал поручиком, затем штабс-капитаном. Так судьба снова свела их вместе в одном полку и уравнила в звании. А позже они многие годы провели бок о бок на каторге.

Мишель оказывал на Дмитрия заметное влияние. И когда он рассказал о том, что Константина незаконно отстраняют от престола, Щепин-Ростовский настолько, возмущился коварством Николая, которого не любил и ранее, что начал возбуждать сослуживцев. Совещание у Рылеева настроило его еще более решительно. Не зная ни о существовании тайного общества, ни о его целях, он оказался более активным и неистовым, чем многие ветераны заговора, накануне и в день восстания.

Вспоминая о том, как трудно было уговорить Щепина, Бестужев подумал, что тот, как и Каховский, был прав: выступить следовало ночью! Подвели бы к Зимнему дворцу полк или батальон, а может, хватило бы двух рот. Под видом укрепления караула Одоевский пропустил бы заговорщиков внутрь, и они спокойно арестовали бы Николая. Тот вряд ли оказал бы сопротивление, ведь он, как стало ясно из книги Корфа, был готов и к худшему.

## ВЫХОД

Надеясь на прибытие великого князя Михаила, Николай Павлович назначил чрезвычайное заседание Государственного совета на восемь часов вечера 13 декабря. Брат был необходим ему для подтверждения отречения Константина и законности новой присяги. Двадцать три члена Совета собрались в назначенный час, но великие князья все не показывались. Тревожное недоумение, растерянность царили в зале. Никогда еще не

заставляли сидеть в столь долгом, неясном ожидании почтенных государственных мужей, среди которых находились Аракчеев, Мордвинов, Нессельроде, Канкрин, Сперанский, Татищев, Милорадович и другие высокопоставленные лица.

Часы пробили полночь, и только тут наконец в коридоре послышались шаги свиты. Однако Николай вышел к столу один. Лицо его было бледно. И хоть он держался спокойно и даже как бы величественно, в жестах и облике чувствовались неуверенность и огромное внутреннее напряжение.

Внимательно оглядев членов Совета, он сел и сказал, что выполняет волю брата Константина Павловича. Потом взял и руки и начал читать Манифест о своем восхождении на престол. Поняв, о чем речь, все сразу встали. Услышав неожиданное движение, Николай настороженно глянул в зал, но, убедившись, что это – знак уважения, успокоился, тоже встал и продолжил чтение.

«Никогда, ни прежде, ни после, Совет не имел ночных заседаний, – торжественно писал Корф. – Ночь эта – начало новой эры в нашем бытописании». Далее говорилось, что запись в журнале Совета об этом заседании начиналась с титула «Его Высочество», а закончилась – «Его Величеством».

«Начало понедельника – дурное предзнаменование для первого дня царствования», – заметил Корф и сообщил о том, что во внутреннем карауле Зимнего дворца перед дверями комнаты императрицы «стоял... случайно один из заговорщиков – князь Одоевский, беспрестанно расспрашивая прислугу о всем происходящем».

Бестужев вспомнил, что именно в те самые минуты он с князем Кудашевым так же «случайно» скакал к Нарвской заставе, чтобы перехватить великого князя.

Сколько таких «случайностей» можно было назвать тут!

Едва задремав под утро, Бестужев услышал в пять часов стук в дверь: посыльный передал приказ явиться к полковому командиру Фридериксу. Когда они с Щепиным пришли к генералу, там уже сидели командир первой гренадерской роты капитан Федор Моллер, брат того самого, из Финляндского полка, командир второй фузелерной роты поручик Алексей Брое, командир пятой фузелерной роты штабс-капитан Владимир Волков и командир четвертой роты капитан Александр Корнилов.

Со всеми из них, кроме Моллера, Бестужев находился в самых добрых отношениях. К Моллеру он не мог преодолеть неприязни из-за его родства с морским министром, которого Бестужев ненавидел за развал флота. Главное же, Моллер, как и предшественник Бестужева Мартьянов, жестоко обращался с солдатами, шомполами и розгами добываясь от них выправки и рвения.

Родители Брое жили в Новоладожском уезде, знали матушку и сестер Бестужевых, бывали в гостях. И Мишель считал Алексея не просто земляком, а чуть ли не родственником. Близко знал он и семейство Корниловых. Когда Мишель стал лейтенантом, младший брат Александра Корнилова Владимир только что окончил Морской корпус и начал служить в Кронштадте. Его мать просила Мишеля не оставлять советами «милого нашего Володю», который позже стал адмиралом и геройски погиб при защите Севастополя. А тогда мичман Корнилов ушел в кругосветное путешествие, Бестужев перевелся в Московский полк, где служил старший брат Володи Александр, с которым Мишель сразу сошелся.

Александр Корнилов учился в Царскосельском лицее вместе с Пушкиным, Дельвигом, Пуциным, Матюшкиным, Кюхельбекером. С удовольствием слушая рассказы об их братстве, Мишель так много узнал о лицеистах, что ему порой казалось, будто и он учился с ними. Корнилов уверял, что междуцарствие окончится согласием Константина, а когда пошли слухи о том, что того незаконно отстраняют от власти, он поклялся Бестужеву сделать все во имя Константина: «Я позволю тебе застрелить меня, но не присягну другому».

Манифест о восхождении Николая на престол настолько поразил Корнилова, что он побледнел и после совещания у генерала Фридерикса, спускаясь по лестнице, пошатывался и держался за перила. Мишель нагнал и остановил его:

– Ну как теперь ты намерен действовать?

- Я не могу быть с вами и беру свое слово назад.
- Но ты забыл свое условие, – Бестужев показал пистолет.
- Ну что ж, убей меня, но участвовать в беззаконии не буду.
- Для чего же умирать? Живи! Но не мешай нам...

– Обещаю, – сказал Корнилов и сдержал свое слово. Брое и Волков, хоть и колебались в решении, все же уступили убеждениям Бестужева действовать, как договаривались прежде.

Вернувшись в свою полковую квартиру, Бестужев застал там брата Александра, который в нетерпении ждал его. Мишель рассказал о совещании у Фридерикса и спросил, где Якубович.

– Пришел ко мне и сказал, что мы затеяли несбыточное – не пойдут за нами солдаты. Он, мол, знает их лучше нас.

Услышав это, Мишель оцепенел. Он хоть и предвидел подобное, но только теперь понял, что с отказом Якубовича рушатся все планы.

– Итак, надежды на другие войска нет. Но медлить, нельзя, надо выводить полк!

– Погодим! – возразил Александр. – Рылеев обещал поднять артиллеристов, измайловцев, семеновцев и зайти за нами.

– Нет, промедление погубит дело! Надо увести полк до присяги!

Глядя в окно на замерзшую Фонтанку, Александр взвешивал все «за» и «против». Он и Рылеев меньше всего рассчитывали на Московский полк, в котором был всего один член общества – брат Мишель. В других полках их куда больше. Выйди он, Александр, агитировать, солдаты могут поднять его на штыки. Но не за себя беспокоился Александр, а за дело: весть о подавлении москвичей может сорвать выход других полков.

Догадываясь, о чем думает брат, Мишель тоже попытался представить, чем все обернется. Московский полк – один из самых молодых в гвардии. Свое название он получил восемь лет назад при закладке в Москве храма Христа Спасителя в честь победы над французами, а до этого он был Литовским. Конечно, он не чета «коренным» – Измайловскому, Преображенскому, Семеновскому, но породнился с ними местом крещения, ведь Петр I назвал их в честь подмосковных деревушек. И именно под Москвой, на Бородинском поле, полк получил боевое крещение, за что был награжден георгиевскими знаменами. Именно в нем отличился тогда прапорщик Павел Пестель, защищая батарею Раевского. Гвардейцы-ветераны, кровью заслужившие полку звание Московского, очень гордились и дорожили честью своего полка, которому единственному во всей армии оставили после реформы обмундирования прежнюю, «бородинскую» форму. Как они отнесутся к призыву бунтовать?

Считанные мгновения длилась пауза, но столько промелькнуло в голове. И когда брат Александр махнул рукой: «Пошли!» – Мишель удивился его быстрому решению.

Зайдя в роту Щепина, Александр Бестужев назвал себя адъютантом императора Константина, которого задержали по пути в Петербург, и тот послал его сюда предупредить, что он любит москвичей, прибавит им жалованье, снизит срок службы, если они не изменят первой присяге.

– Не хотим Николая! Ура! Константин! – вскричали солдаты.

И в других ротах Александр в присутствии офицеров Брое, Волкова, Цицианова, Дашкевича говорил так же страстно, и солдаты, подготовленные многодневной агитацией, слушали жадно и откликнулись на призыв.

Михаил Бестужев вернулся в свою третью роту, велел раздать боевые патроны и вывел солдат на главный полковой двор, куда уже вынесли аналой, и полковой священник разложил на нем иконы, евангелие, крест. Михаил выстроил роту, Щепин начал выравнивать солдат, а сзади собралась толпа солдат других рот, командиры которых отказались выводить их. На дворе образовалась сумятица. Чтобы не увязнуть в ней, Бестужев приказал своей роте идти вперед. Знаменные, стремясь занять место в голове колонны, пошли к воротам, а солдаты подумали, что те направились к аналою для присяги, набросились на одного из них, начали вырывать знамя. Возня, возникшая из-за этого, чуть не испортила все.

– Измена! – кричал унтер-офицер Луцкий, пытаясь пробиться к знамени, но никак не мог сделать этого. Казалось, не было никакой возможности остановить яростную схватку. Тогда Бестужев приказал своим солдатам повернуть назад и, теснее сомкнув ряды, врезаться в толпу. Бестужевский клин рассек сражающихся надвое. Пробравшись к знамени, Бестужев увидел окровавленного, лежащего на земле гренадера Красовского из роты Моллера. Избитый прикладами, он крепко держал древко в руках.

– Да что вы, братцы? Я же за Константина!

Бестужев поднял его на ноги, взял знамя, древко которого было переломано, кисти оборваны. Кто-то подал новое древко, солдаты в момент надели на него знамя. Бестужев вручил его Щепину.

– Ребята! За мной! – неистово закричал тот и повел солдат к воротам. Но там уже стояли в свите бригадный генерал Шеншин, генерал Фридерикс и полковник Хвощинский. Размахивая руками, они приказывали солдатам остановиться. Перед Фридериксом стоял брат Александр и что-то говорил ему, а потом направил на него пистолет. Фридерикс кинулся в сторону, но подбежавший Щепин секанул его саблей по голове, и тот рухнул на землю. Затем Щепин подскочил к Шеншину и, пожалуй, зарубил бы его насмерть, если бы один из гренадеров не подставил свое ружье. Однако удар был настолько сильным, что Шеншин тоже упал, раненный в голову.

Полковник Хвощинский, увидев разъяренного Щепина и окровавленную саблю, побежал прочь, но Щепин настиг и секанул его ниже спины.

– Умираю, умираю! – закричал полковник, держась за штаны. Однако побежал так прытко, что вызвал смех солдат.

Под гром барабанов, бьющих тревогу, шелест овеянных славою георгиевских знамен почти семьсот гвардейцев Московского полка быстрым шагом двигались по Гороховой к центру. Полотнища гордо развевались на ветру. На одном из них видна надпись: «За отличия при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года». Бестужев и раньше видел ее, но только сейчас почему-то она показалась странной – «За отличия при поражении...».

Полки, марширующие по улицам столицы, – зрелище привычное. Но по тревожной дробе барабанов, чрезвычайно быстрому движению – солдаты почти бежали – всем стало ясно, что происходит нечто невиданное. Сотни зевак, откуда ни возьмись, выбежали из ворот и подъездов, прилипли к окнам. Пройдя от Фонтанки до Екатерининского канала, братья Бестужевы вдруг увидели Якубовича. Воздев на шпагу шляпу с белым пером, он вскричал: «Ура, Константин!» и присоединился к колонне.

– По праву храброго воина-кавказца прими начальство над войском! – сказал Александр Бестужев.

– Для чего эти церемонии? – возмутился Якубович, почувствовав иронию в голосе, но потом согласился.

Когда они вышли на Сенатскую площадь, она оказалась совершенно пустой.

– Теперь я имею право повторить, – заявил Якубович, – что вы затеяли неисполнимое.

– Но ты же и виноват, что не сдержал слово и не вывел войска! – ответил Александр Бестужев.

Скрытое за мутной пеленой туч солнце еле угадывалось в хмуром небе. Шпиль Петропавловской крепости, которую должны были занять лейб-гренадеры во главе с Булатовым, сиял тускло и загадочно. Тихо, спокойно над казематами. Видно, как мирно клубится дым из печных труб. Не похоже, что там что-либо произошло...

«Мятежные роты Московского полка стояли в густой неправильной колонне», – писал Корф, но это было не так. Михаил Бестужев и Щепин-Ростовский рассчитали солдат и начали выстраивать каре. Особенно трудно пришлось с солдатами из рот без командиров. Но в конце концов выстроили и их. Грозно сверкали штыки, покачивались султаны на киверах. Однако строй выглядел неестественно из-за того, что солдаты были без шинелей – в темно-зеленых мундирах с алыми воротниками.

Обойдя строй, Мишель увидел, что брат Александр установил заградительную цепь от памятника Петру дугой вокруг каре, приказав унтер-офицеру Луцкому не подпускать никого.

Как только Рылеев узнал о выходе москвичей, он сразу же бросился на площадь вместе с Иваном Пуциным. Чуть позже подошли Вильгельм Кюхельбекер, Евгений Оболенский и офицеры Финляндского полка Николай Репин, Андрей Розен. Рылеев тотчас же послал Кюхельбекера за Грубецким, а Розена – за своими солдатами.

Со стороны манежа подбежал брат Петр. Тяжело дыша от быстрого бега, он сказал Мишелю, что в экипаже часть офицеров арестована, удастся ли вывести моряков, сказать трудно. Засомневшись в успехе, он предложил воротиться назад.

Мишель глянул на памятник Петру и вдруг обратил внимание на надпись «Petro primo Catharina secunda».<sup>25</sup> Долгое царствование Екатерины II, длившееся более трех десятилетий, показалось ему мгновением. Какой же исторической мерой измерят их восстание? Это будет зависеть от его исхода. Победа откроет новый период в истории России. Они станут «primo»... И им поставят памятник. А поражение обернется страшным горестным мигом – секундой! «Господи, какая чушь лезет в голову!» – усмехнулся Мишель и сказал брату:

– Ничего, мой милый, мы вышли – воротиться поздно! А вот ты беги обратно. Чего бы ни стоило, надо вывести моряков – без них мы пропадем! – обняв брата, которого флотские называли Бестужев-четвертый, он добавил: – От тебя, Petro quarta, теперь зависит, быть ли нам primo!

Проводив его, Мишель услышал крики с другой стороны каре. Обойдя памятник Петру, он увидел, что к заградительной цепи подъехал Милорадович верхом на лошади. Ему преградил путь Луцкий с ружьем в руках. Граф шпорил лошадь, но та, боясь штыка, кружила на месте, привставая на дыбы.

– Что ты, мальчишка, делаешь? – закричал генерал.

– Изменник! – дерзко ответил Луцкий. – Куда девали шефа нашего полка?

Милорадович замахнулся шпагой, однако ударил по Луцкого, а лошадь. Она взвилась на дыбы и помчалась к каре. Луцкий было прицелился вслед, но опустил ружье.

В полной парадной форме, с голубой андреевской лентой на груди, в белых панталонах и ботфортах, генерал сидел в седле, как влитой. Вид у него грозный, величественный. Кое-кто из солдат оробел и отдал честь, но большинство продолжало шуметь. Милорадович крикнул «Смирно!», выждал, когда немного стих шум, и начал:

– Солдаты! Кто из вас был со мной под Кульмом, Люценом, Бауценом?

Полное молчание в ответ.

– Слава богу! Здесь нет ни одного русского солдата! Ну а вы, господа офицеры, вы-то должны знать меня! – не дождав ответа, он перекрестился. – Бог мой, благодарю тебя! Здесь нет ни одного русского офицера! – Картинно вынув шпагу, он потряс ею. – Эту шпагу подарил мне цесаревич Константин. «Другу моему Милорадовичу!» – прочитал надпись на ней. – Могу ли я быть изменником своему другу и брату своего царя?..

Мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы, осрамившие русский мундир, военную честь! Вы – грязное пятно России! Преступники перед царем, отечеством и богом... Далее он стал требовать, чтобы все немедленно пошли за ним, и тем, кто выполнит приказ, обещал полное прощение.

– Как бы не уговорил солдат, – сказал Александр Бестужев.

– Оставьте солдат в покое! – крикнул Оболенский.

– Почему же мне не поговорить с солдатами? Тогда Оболенский выхватил ружье у одного из солдат и с возгласом «Прочь!» начал тыкать лошадь штыком, ранив при этом и всадника. Михаил Бестужев приказал открыть огонь, но перед залпом ружей грянул выстрел из пистолета. Пуля Каховского попала в грудь генерала. Милорадович повалился с лошади, адъютант Башуцкий еле успел подхватить его грузное тело.

---

<sup>25</sup> «Петру Первому Екатерина Вторая» (лат.).

## ЭМИЛЬ ШЕРШНЕВ

Проснулся Бестужев, когда на улице было светло. Казакевич уже уехал. С кухни доносились чьи-то голоса.

– Как же ты говорил? Неужто по-французски знаешь?

– А как же! По-ихнему еще на «Ла фортэ» говорить начал, когда в Европу шли, а там за два года плена – и вовсе. Да у французов много слов наших – револьвер, рикошет. Штаны у них – панталоны; шляпа – шапо. И имена схожи, я вот здесь Емельян, а у них – Эмиль...

Бестужев поднялся, вышел из комнаты. Два солдата, которые вчера рубили дрова, поздоровались и начали надевать шинели. Когда они вышли, Эмиль буркнул:

– Расселись, серосуконники. Это я со скуки с имя.

– Узнаю матроса, но стоит ли перед солдатом нос драть?

– Солдат он солдат и есть, не чета нам – флотским...

Пока Бестужев ел, Шершнев продолжал свое:

– Флот всегда первый. На смотрах сначала наши стоят, потом кавалерия, артиллерия, а уж на самом краю – пехота.

– Это смотря с какого края глядеть, – усмехнулся Бестужев. – Давно ли на флоте?

– С двадцать четвертого. На «Проворном» начал.

Услышав название фрегата, Бестужев замер от удивления.

– Первое плавание, как первую бабу, всю жизнь помнишь. А мне повезло – офицеры попались хорошие, обходительные. Никто не дрался. Лермонтов, братья Беляевы, братья Бодиско. У Дмитрия Николаевича Лермонтова брат Михаил Никрлаевич был, стихи сочинял. Небось слыхали, про Бородино написал?

– Не он, а его племянник – Михаил Юрьевич.

– Но лучше всех на корабле был Николай Александрович Бестужев...

Тут Михаил не выдержал и сказал, что это его брат. Эмиль всплеснул руками:

– Господи! Бывает же такое! Жив ли он?

– Умер два года назад.

– Такой человек был! Царство ему небесное! – перекрестился Эмиль и стал рассказывать, как на Балтике их трепал шторм, как вышли к Па-де-Кале, потом к Бресту, оттуда – к Африке. Слушая его, Бестужев думал, как тесен мир, как судьба сводит его с людьми, знавшими и брата, и других декабристов, и нынешнего адмирала Михаила Лермонтова. Тот был на два года моложе Николая Бестужева, но по службе шли чин в чин.

Четырнадцатого декабря, когда брат Николай вместо Якубовича прибыл в экипаж и начал выводить моряков, Михаил Лермонтов и генерал Шипов стали отговаривать его. Шипов был одним из основателей Союза Спасения и Союза Благоденствия, но потом отошел от общества. Трубецкой перед самым восстанием пытался склонить его на свою сторону. В подчинении Шипова помимо Гвардейского экипажа находились Семеновский и Лейб-гренадерский полки – он ведь был бригадным генералом. Шипов колебался, не зная, чью сторону принять – Константина или Николая, но, поняв, что дело вовсе не в этом, а в том, чтобы возглавить восставших, отказался от риска.

Однако, судя по его поведению 14 декабря, он действовал не так круто и решительно, как можно было ожидать. Почувствовав это, моряки отказались присягнуть. Лейтенант Вишневецкий потребовал показать подлинник Манифеста, а Шипов, возмущившись дерзостью офицера, приказал тому отдать свою шпагу. В знак протеста некоторые командиры тоже отдали свои шпаги и фактически добровольно пошли под арест. Тем временем Петр Бестужев прибежал с площади, передал просьбу Мишеля ускорить выход моряков. Брат Николай поручил Дивову и Беляевым освободить арестованных. Моряки зашумели, схватились за ружья. В это время донеслись выстрелы с площади.

– Ребята! – крикнул Петр Бестужев. – Слышите стрельбу? Это наших бьют!

– За мной! На площадь! – скомандовал Николай Бестужев.

Командир экипажа Качалов хотел воспрепятствовать выходу, но остановить лавину было невозможно. Тогда Качалов бросился к Николаю Бестужеву, схватил его за плечи.

– Что вы делаете? Опомнитесь!

– Прочь! – Бестужев вырвался из его рук, эполет с треском оторвался от плеча, но Николай, не заметив этого, побежал во главе колонны к площади...

– Михаил Александрович! Да вы не слушаете? – заметил Эмиль.

– Извини, задумался. А как ты на востоке оказался?

– В сорок восьмом, когда Невельской в Кронштадте экипаж «Байкала» набирал, пошел к нему, возьмите, говорю, земляка-костромича. Геннадий Иванович расспросил, выслушал и взял.

– Так ты с ним в Амур вошел?

– Вообще-то с Казакевичем, но под началом Невельского, конешное дело. Долго мыкались около – точных карт не было, а Сахалин на них полуостровом значился. Сели с Петром Васильевичем в лодку, пошли вдоль матерого берега. Чуем – течение супротив, пробуем воду – пресная. Так и вошли в Амур. В июне сорок девятого было это.

– А как в плен попал?

– С драки все началось, – вздохнул Эмиль. – Ох, буйный был, как напьюсь! Но сейчас нет, шабаш... А тогда схлестнулись с солдатами – одному зубы выбил, другому ребра сломал, ну и услали в Аян. Служил в фактории, а когда началась Крымская кампания – она ведь и нас задела, – меня на «Охотск» взяли, матросов-то не хватало.

Пошли в Николаевск, немного уж осталось до устья Амура, но у острова Лангра прямо на «Ла фортэ» вышли. Ох, фрегат! Шестьдесят пушек! За ним – «Президент», англичкнй, пятьдесят две пушки. И еще один корвет. А у нас ни одной пушки, токо штуцера. Куда нам против них? Приказал капитан дно пробить, костры возле ящиков с порохом разжечь. Потом спустились в шлюпки и к берегу. А они пять баркасов послали – хотели пожар на «Охотске» потушить, но тут порох взорвался. Осерчали они, что не дали им чести корабль захватить, и погнались за нами. Передние шлюпки ушли, отстреливаясь, а две последние они настигли. Вот так мы, четырнадцать человек, и попали в плен...

Стали допрашивать, где да скоко наших кораблей, а я говорю, мол, охотники мы таежные, токо-токо призваны, ничего не знаем. К самому адмиралу Прайсу возили. Тот о входе в Амур спрашивал, про Императорскую гавань, а я прикинулся тупым да глупым... Спрятали в трюм. Пошли куда-то. Через неделю остановились. Вывели на палубу – мать честная! – Авачинская бухта! Я ж сюда на «Байкале» заходил! Вон вулкан, вон Сигнальная гора, а эвон Никольская. А в Малой губе, вижу, «Аврора» и «Двина» стоят. Спрашивают меня, скоко войска в гарнизоне, где батареи, а я мычу, мол, никогда не был в Японии. «Да не Япония это, а Камчатка!» – закричал переводчик и хрясь мне в зубы...

Гляжу на городок, на корабли наши, потом на эскадру неприятельскую, семь огромных кораблей, и пушек-то, пушек – рядами по борту. Аж сердце заныло: долго ли, сердешные, продержатся? Офицеры важные, спесивые, в трубы смотрят, в белых перчатках прохаживаются. А матросы хохочут, про мамзель, мадам спрашивают. И токо стали мимо Никольской горы проходить, наши как жажнут! Первыми же выстрелами адмиральский флаг сбили. Тут и «Ла фортэ» палить стал, дым, гарь, грохот – уши чуть не лопаются! Но наши-то батареи высоко, ядра до них не долетают. И тут ба-бах! – ядро в борт врезалось и внутри разорвалось, а другое рикошетом в палубу и в море. Смотрю, отходить начали. И другие корабли – за нами, и тоже дымятся. Оказывается, первым же залпом не токо флаг, но и самого адмирала сбили. На другой день похоронили Прайса в Тарьинской губе, два дня к новому штурму готовились.

На третий день эскадра разворачивается. На этот раз они хитрее – десант пустили. Боты, шлюпки, баркасы, матросов – более тысячи! А «Ла фортэ» и другие корабли огнем прикрывают. Заряды на сей раз усилили, ядра полегче подобрали. Смотрю, попадают в цель. Французы прыгают, орут от радости. Мичман один подскакивает, трубу подозрную сует, смотрит, мол, как мы ваших! Вдруг взрыв на палубе. Мичмана того убило, меня оглушило,



но очухался, сел, снова в трубу смотрю. Вижу, поднялись вверх супостаты, рукопашная началась. И так ловко наши колют! Уж на что не люблю солдат, а тут не выдержал, заорал: «Давай, братцы!» Вдруг ктой-то сзади – хрясь по уху, трубу отобрали, ведро сунули, туши, мол, пожар. Потом начали раненых да убитых на борт подымать. Увидели меня те, кто уцелел, и давай дубасить. Офицер еле отбил.

После боя «Ла фортэ» сам идти не мог, отбуксировали от Петропавловска, несколько ден латали. Потом вышли в море, а раненых стоко, что вахту нести некому. Тут-то мы, пленные, и сгодились.

– Не били вас больше? – спросил Бестужев.

– Нет, даже вроде как зауважали. Французы – народ хороший, отходчивый. Хошь и воевал с имя, а зла на них нет. На Сандвичевых островах раненых сдали, подремонтировались и к мысу Доброй Надежды. А в Брест пришли, хотели меня в дом колодников сдать, но Себастьян, матрос, друг мой, я его Севой звал, к себе на постой взял. Такелажничал, паруса шил, корабли чинил. Но хошь и пленный, а и дома так не жил, как там. Вином у них мамзели торгуют, и такие обходительные, любому, как барину, улыбаются, – Эмиль встал, прищурил, глаза, волосы поправил, ногой шаркнул, плечами могучими повел и, как ни странно, довольно точно изобразил «мамзель». Бестужев невольно улыбнулся.

– Ладно, Эмиль, договорим в другой раз. У меня дела.

– Спасибо за разговор! Прямо душу отвел. Моряк моряка завсегда поймет...

## СЕНАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Продолжая чтение, Бестужев морщился. Частью от незнания, но в основном преднамеренно Корф искажал событий, всячески очерняя мятежников. И, как ни досадно, это запутало Бестужева. Он никак не мог вспомнить, когда и при каких обстоятельствах ушел с площади Якубович, а потом вдруг появился на той стороне – возле царя. Корф писал, будто тот ходил в разведку, но никто из восставших не возлагал на «кавказца» этой миссии.

На каторге декабристы избегали выяснения отношений, но однажды Бестужев спросил Якубовича, о чем говорил он с царем. Тот, как всегда, горделиво подбоченился и заявил, будто пытался напугать императора, сказав, что скоро подойдут другие полки, и тогда, мол, ему несдобровать.

– Послушай, – спокойно сказал Бестужев, – я тебя знаю, нас тут двое, публики нет, перестань играть. Как же царь не арестовал тебя после тех слов и отпустил? Не за тем же, чтобы сказать, будто он нас крепко боится?

Странно, но Якубович не стал шуметь, кипятиться. Неожиданно, опустив голову, он сказал, что все его беды – от несчастной страсти казаться необыкновенным. И это действительно было так. Всегда и всюду Якубович стремился быть в центре внимания. Вот и тогда на площади он не смог удержаться от искушения пощекотать нервы и себе, и императору, и восставшим. В те минуты, когда он несколько раз переходил с одной стороны на другую, он, вероятно, испытывал счастливейшие мгновения жизни. Еще бы, с одной стороны – восставшие в грозном каре, с другой – царь со свитой, а он, Якубович, разговаривает с ним. Все настороженно смотрели, слушали, о чем речь. Потом он со значительным видом, торжественно направился к каре, воздев на шпагу белый платок.

– Держитесь! Вас крепко бояться! – сказал Якубович.

– Почему это «вас»? Ты что, не с нами? – спросил Щепин.

– У меня рана заныла...

– Трус! – бросил Щепин.

Якубович побледнел, ибо не было оскорбления обиднее этого, и схватился за шпагу, но солдаты навели на него штыкн, и он исчез с площади.

Обо всем этом Бестужев узнал позднее. Находясь на углу фасов каре со стороны Сената и Невы, он видел лишь, как от Адмиралтейского бульвара на площадь въехали верховые

конногвардейцы – первые из правительственных войск. Лошади шли спокойно, словно на водопой, который находился напротив памятника Петру, правее моста.

– Вон Орлов с медными лбами! – закричали в толпе. Кирасиров звали так из-за медных касок на головах. Потом солдаты передали по цепи, что прибыли преображенцы. Вскоре Бестужев увидел, как они прошли на набережную и закрыли вход на Исаакиевский наплавной мост.

И вдруг со стороны Невы появилось развевающееся знамя Лейб-гренадерского полка. Впереди – Сутгоф со знаменщиком. Солдаты вбегали на набережную у водопоя, а некоторые лезли прямо через береговой гранит. Лейб-гренадеры были экипированы основательнее московцев – в шинелях, с сумками, полными патронов и провианта. И что удивило: преображенцы, поставленные оградить площадь, не препятствовали, а даже помогали гренадерам взбираться наверх, поддерживая их ружья и сумки. И Бестужеву показалось, что преображенцы обязательно примкнут к восставшим.

Московцы встретили лейб-гренадеров криками «ура». Каховский воскликнул: «Каков мой Сутгоф!» – и бросился обнимать его. Незадолго перед этим он виделся с Сутгофом, и тот подтвердил, что обязательно выведет свою роту. Но привел гораздо больше.

...Лейб-гренадеры уже присягнули, когда к ним прибыл Одоевский и сказал о выходе московцев. Но Сутгофу удалось увлечь за собой солдат, провести их через Петропавловскую крепость, где дежурили однополчане, и по льду Невы выйти на площадь.

Когда Сутгоф начал выстраивать своих солдат перед московцами, Бестужев направился к другому фасу каре Пушин и Оболенский сказали, что Трубецкого еще нет, а Рылеев уехал в Финляндский полк на помощь Розену. В это время толпа левее Сената у Галерной улицы почему-то заволновалась, люди расступились, и на площадь начали выбегать колонны Гвардейского экипажа во главе с Николаем Бестужевым. Ликование охватило московцев и лейб-гренадеров, которые встретили моряков еще более громким «ура».

Александр и Михаил бросились обнимать брата Николая. О, как молод был он в ту минуту! А моряки все бежали и бежали из Галерной улицы – рота Арбузова, за ней роты Акулова, Мусина-Пушкина, Михайлы Кюхельбекера, Дмитрия Лермонтова, Александра Цебрикова. А среди них – мичманы братья Беляевы, братья Бодиско, Дивов, Вишневы, Тыртов...

Гвардейский экипаж вышел почти в полном составе – тысяча сто человек!

Выстроенные «колонною к бою», моряки с трудом уместились между каре и забором воздвигающегося Исаакия. Рабочие, забравшиеся на крыши сараев, тоже приветствовали приход моряков, обещая поддержку, мол, камней, поленьев против кавалерии хватит.

Вскоре появился Рылеев. И хотя поездка к финляндцам и поиски Трубецкого окончились неудачей, казалось, радости его нет предела. Горячо обняв Николая Бестужева, он воскликнул:

– Это минуты нашей свободы! Мы дышим ею! И жизни своей не жаль за них!

Толпа на углу Галерной улицы вдруг снова расступилась, и там показались солдаты Павловского полка. Бестужев понял, что не дремлет и царь. Вскоре от манежа к Сенату поскакали конногвардейцы во главе с Апраксиным и Вельо. Из-за забора стройки в них полетели камни, поленья. Сквозь дробный стук копыт послышались звонкие удары камней о толстые кирасы и шлемы. Подстегнув и прищпорив коней, кирасиры помчались вдоль площади к Сенату.

Бестужев побежал к своему фасу каре. Солдаты его роты, думая, что всадники с ходу пойдут в атаку, вскинули ружья. Бестужев бросился вперед и, едва зазвучали выстрелы, выбежал под пули и приказал прекратить огонь. Вспомнив о Михаиле Пушине, который обещал вывести свой эскадрон, он послал Одоевского к Английской набережной узнать, нет ли там Пушина. Выяснилось, что Пушин заболел и остался в казарме. Саша Одоевский попытался переманить коннопионеров, но полковник Засс прогнал его.

Сообщив об этом, Саша вдруг показал на какого-то человека, неторопливо идущего по набережной от Адмиралтейского бульвара мимо строя преображенцев, которые почему-то

смеялись и шутили над путником. Высокого роста, тучный, широколицый, в старой, изрядно поношенной шубе и валенках, старик, не обращая внимания на шутки солдат, как ни в чем не бывало продолжал идти вдоль строя. Но, поравнявшись с памятником Петру, неожиданно повернул и направился к каре.

– Эй, дедушка, куда ты идешь? Чай, заблудился? – кричали солдаты с обеих сторон. И тут Бестужев узнал Крылова и, хотя не был знаком с ним – видел лишь изредка, подошел к нему.

– Иван Андреевич! В самом деле, куда вы?

Старик остановился, внимательно оглядел Мишеля и Сашу. Отеческая улыбка мелькнула в его глазах.

– Да вот, хочу посмотреть зачинщиков из молодых голов.

А выглядели они, действительно, настолько юными, что показались ему мальчиками на бале-маскараде в мундирах с чужого плеча.

– Но здесь же опасно, – улыбнулся Мишель. Однако, видя, что Крылов, отдышавшись, намерился идти дальше, решил проводить его. Они завернули за угол каре и пошли к Сенату.

– Так вы считаете нас безбожниками? – неожиданно спросил Одоевский. Крылов удивленно глянул на него. Мишель насторожился, не думает ли Саша надерзить, но тот, улыбнувшись, прочитал из басни «Безбожники»:

Зачинщики, из молодых голов,  
Чтобы поджечь в народе буйства боле,  
Кричат, что суд небес и строг и бестолков;  
Что боги или спят, иль правят безрассудно;  
Что проучить пора их без чинов...

Крылов шел, внимательно слушая Сашу, и когда тот кончил чтение, остановился и спросил, как его зовут.

– Александр Одоевский, корнет лейб-гвардии Конного полка. А это – штабс-капитан Московского полка Михаил Бестужев.

– Фамилии известные и лица ваши знакомы, видел вас в театре с Грибоедовым, – сказал Крылов и спросил Мишеля, не брат ли он и Александру и Николаю Бестужевым. Услышав подтверждение, Крылов сказал, что с удовольствием читал их в «Полярной звезде».

Московцы с удивлением смотрели на трех медленно идущих, мило беседующих людей. Казалось, им и дела нет ни до чего вокруг, словно они где-то в тихом парке, а не на грозной, ошестинившейся штыками Сенатской площади.

Столько анекдотов о лени, чревоугодии баснописца ходило по Петербургу! Многие считали его таким обомшелым пнем, пережившим свою славу и ничем не интересующимся, кроме сытной еды. Но вот Крылов медленно вышагивает рядом, совсем не такой, как в рассказах и сплетнях – живые, умные, все понимающие глаза, далеко видящий взгляд, всех знает и помнит. И к восставшим пришел, несмотря на выстрелы, свист пуль, не из простого любопытства, а из желания понять, что происходит, своими глазами увидеть «безбожников».

Когда они вошли в пространство между каре и колонной моряков, к Крылову бросились старшие Бестужевы, Рылеев, Кюхельбекер. Старик пожал всем руки, пошутив, что в пору открывать заседание общества русской словесности.

Тут из-за чьих-то спин вынырнул небольшого роста, еще более живой, чем обычно, Лев Пушкин с палашом в руках. Мишель показал на него Одоевскому, Саша ничуть не удивился и сказал, что Лев Сергеевич появился еще полчаса назад, а палаш, отобранный у избитого и разоруженного толпой жандарма, отдал ему Вильгельм Кюхельбекер, который подвел Льва к Одоевскому со словами:

– Prenons ce jeune soldat.<sup>26</sup>

Левушку Мишель хорошо знал по русским завтракам у Рылеева, где Блев, как в шутку звали Льва за страсть к выпивке, читал стихи своего брата. Обладая прекрасной памятью, он декламировал наизусть и «Цыган» и «Бахчисарайский фонтан», а главное, много таких стихов, которые пока не могли появиться в печати. При Мишеле состоялся «торг»: Александр Бестужев и Рылеев попросили передать Александру Пушкину, что готовы платить ему по рублю за каждую строку стихов.

Лев был на шесть лет моложе брата. В 1817 году, когда состоялся первый выпуск лицея, Лев только поступил в Благородный пансион, где учителем словесности стал Вильгельм Кюхельбекер. Но через четыре года был отчислен за протест против увольнения Кюхельбекера. Несколько лет Лев жил на средства родителей и брата. Год назад поступил на службу в департамент духовных дел и иностранных вероисповеданий, хотя, как и старший брат, не отличался религиозностью и несколько лет не ходил в церковь. На площадь он пришел не из убеждений, а из любопытства. Увидев Мишеля, Левушка обнял его, стукнув при этом палашом по спине.

– Зря ты балуешься этим, – Мишель взял из его рук палаш и, увидев клеймо, сказал, что он сделан на сабельном заводе, основанном его отцом. – Вот будет роковая странность – погибнуть от отцовского оружия.

– Но игра рока в том, что оружие отцов теперь в наших руках! – Лев воинственно взмахнул палашом.

– Поосторожней с этой штукой. Палаш – не игрушка. В случае неудачи тебе могут зачесть его, даже если ты непустишь его в ход. И вообще, ступай-ка домой, не испытывай судьбу. Ведь ты ставишь под угрозу не только себя, но и брата.

Как раз тут к ним подошел Кюхельбекер и попросил Льва проводить Ивана Андреевича.

– Ступайте, ради бога, – обнял их Вильгельм. – Дело сейчас начнется серьезное.

Едва Крылов и Лев Пушкин скрылись в толпе у Сената, площадь огласилась криками команд и цокотом копыт. Почти одновременно от Адмиралтейства и Сената на восставших пошли в атаку эскадроны конногвардейцев. Подбежав к своим солдатам, Бестужев на этот раз приказал открыть огонь, но стрелять не во всадников, а выше или в лошадей. Атака захлебнулась.

Кирасиры развернулись назад. Группа солдат вела вверх по лестнице к дверям Сената раненного в руку полковника Вельо. Следующей атакой начал руководить полковник Апраксин. Однако кирасиры, видя, что жертв среди них нет, атаковали по-прежнему вяло, неохотно. Кое-где на мостовой бились, истекая кровью, раненые животные. Один из всадников пристрелил своего хрипящего коня и перекрестился.

Видя, что атаки успеха не приносят, а с крыши Сената то и дело летят доски, поленья, полковник Апраксин увел эскадроны, свой и Вельо, к набережной.

Бестужев вернулся к «штабу» восстания между каре и колонной. Рылеев снова ушел, на этот раз – искать Трубецкого. На площади более двух тысяч солдат и моряков, вот-вот должны подойти измайловцы и еще кто-нибудь, а диктатора все нет. Вскоре Луцкий доложил о прибытии измайловцев и семеновцев. И кавалергарды тоже оказались на той стороне. Нет ли там Анненкова? Может, ему удастся уговорить своих ударить в тыл преобращенцам и конногвардейцам?

Вдруг правительственные войска почему-то расступились, и с Адмиралтейской площади мимо кавалергардов устремились к каре лейб-гренадеры во главе с Пановым...

Залпы при отражении атак конницы разнеслись по всей столице и были услышаны даже на Карповке, в казармах Лейб-гренадерского полка. После ухода роты Сутгофа командир полка Стюрлер приказал выстроить заслон на выходе, и, когда пришел приказ

---

<sup>26</sup> Примем этого молодого солдата (*фр.*).

вывести полк на помощь императору, Панов, воспользовавшись сумятицей при сборах, сумел увлечь за собой более трех рот. Опрокинув охранный заслон, почти тысяча солдат побежала к центру города. У Петропавловской крепости.

Панов повел солдат не к Сенатской площади, а к Троицкому мосту, где улавливалась встреча с Булатовым.

Поднявшись на набережную у Мраморного дворца и не найдя Булатова, Панов направил колонны по Миллионной улице. Здесь он обогнал пушки, следовавшие на площадь, те самые, из которых потом расстреливали восставших. Но кто мог знать, что именно они решат все?

По расчетам Панова, Зимний дворец уже должны были занять моряки и измайловцы во главе с Якубовичем. Но в воротах стоял комендант генерал Башуцкий, грозя открыть огонь. Солдаты избили его, смяли охрану. Ворвавшись во двор и увидев там солдат Саперного полка, наиболее преданного Николаю, который шефствовал над ним еще до воцарения, Панов повел лейб-гренадеров через Дворцовую площадь к Сенату.

У Главного штаба он лицом к лицу столкнулся с императором. Корф писал, будто Николай, узнав, что лейб-гренадеры за Константина, сказал: «Тогда вам туда» – и приказал пропустить их. На самом же деле, как рассказывал потом Панов, никакого приказа император не давал. Больше всего тот боялся, как бы кто-то не ткнул его штыком или не выстрелил. Когда же кавалеристы попытались преградить путь лейб-гренадерам, они штыками пробили дорогу к Сенатской площади.

А там уж никто не осмелился подступиться к неудержимой лавине рослых лейб-гренадеров. Зрелище было необычайное: разгоряченные быстрым долгим бегом, возбужденные стычками у Зимнего дворца и Главного штаба, солдаты передовой колонны Панова пробили брешь в горловине Сенатской площади, окруженной правительственными войсками и толпами народа, и мимо остолбеневших преображенцев ринулись к рядам восставших.

Две с лишним тысячи солдат и матросов приветствовали вступление на площадь лейб-гренадеров громовым, грозным «ура», какого еще никогда не слыхивал Петербург ни на Марсовом поле, ни на Дворцовой площади, ни там, где «вдоль Фонтанки-реки квартируют полки». Это было могучее дыхание свободы, ликование людей, впервые вышедших с оружием в руках против самодержца в самом центре столицы!

Маленького Панова затискали в объятиях. Ну как же, как удалось ему, поручику, вопреки воле ротных гомандиров, мольбам полкового священника, угрозам командира полка Стюрлера вывести из казарм почти тысячу уже присягнувших солдат?! Жаль, нет Михаила Пущина, убедился бы сам, что такое возможно. Как рад и горд Панов, что пробился к своим! До чего красив и даже кажется выше ростом! Видела бы сейчас его невеста, из башмачка которой он на днях пил за ее здоровье!

Пополнение решили выстроить вокруг каре москвичей. Приказав подпоручику Прянишникову и унтер-офицерам рассчитать и выстроить солдат, Панов спросил о Булатове. Оболенский ответил, что того до сих пор нет, как и Трубецкого. Радость Панова сменилась недоумением: как так, что он такое слышит?

Но что за шум за спинами лейб-гренадеров? Протиснувшись туда, братья Бестужевы и Каховский увидели... полковника Стюрлера. В течение всего пути он несколько раз нагонял своих солдат, а у Невы отстал. Нагнав их снова у Зимнего дворца, он увидел, как сурово его подчиненные расправились с генералом Башуцким, и понял, что они не пощадят и его. Однако, встретив императора, гневный вид которого не предвещал ничего хорошего («Ты мне головой ответишь за то, что упустил полк!» – бросил тот), Стюрлер испугался. Трепет перед государем оказался сильнее страха перед бунтовщиками, и он, решив сделать последнюю попытку воротить их, прошел на площадь.

На этот раз полковой командир не угрожал и не страдал, а спокойно убеждал солдат остаться верными новой присяге и, как ни странно, достиг большего успеха, чем прежде. Беседа со стороны казалась такой тихой, мирной, что Бестужевы и Каховский подумали, не

перешел ли Стюрлер на их сторону. Каховский даже спросил его по-французски, на чьей он стороне. Тот ответил, что присягнул Николаю и не изменит ему. Услышав последние слова, только что подошедший Оболенский закричал: «Рубите, колите его!» – и дважды ударил его шпагой по голове, а Каховский выстрелил Стюрлеру в грудь. Увидев рядом свитского офицера Гастфера, пришедшего со Стюрлером, Каховский потребовал «здравицу» Константину, но офицер с отвращением глянул на него и, назвав убийцей, отвернулся. Тогда Каховский выхватил кинжал и ударил его в голову.

Расправа над Стюрлером и Гастфером произвела на солдат тяжелое впечатление. Каховский, поняв это, повел Гастфера в каре, чтобы оказать ему помощь. Денщик и адъютанты взяли на руки смертельно раненного Стюрлера и понесли его с площади.

Император все еще не терял надежды на то, что главари восстания внемлют уговорам и уведут с площади мятежные войска. Но после ранения Милорадовича убедился, что посылать военных бесполезно, и решил направить к восставшим петербургского митрополита Серафима, который вместе с киевским митрополитом Евгением готовился в Зимнем дворце к молебну по случаю присяги. Генарал-адъютант Стрекалов, прискакав с площади, вбежал в дворцовую церковь, передал просьбу Николая и, чуть не подталкивая почтенных старцев, усадил их в карету, а сам встал на запятки.

С трудом пробившись сквозь толпы народа и правительственные войска, карета выехала на Сенатскую площадь. Генерал распахнул дверцу, и, пока митрополиты и два дьякона выходили из кареты, донесся выстрел Каховского, после чего солдаты пронесли истекающего кровью Стюрлера. Увидев это, митрополиты испуганно попятились назад, но к ним подбежал генерал Васильчиков, умоляя исполнить просьбу императора.

– С кем же нам идти? – спросил Серафим.

– С богом, отец мой, с богом! – со слезами сказал генерал.

Митрополиты подняли над собой кресты и в сопровождении двух дьяконов медленно двинулись к колонне. Вид духовной делегации был внушителен. Сверкая бриллиантами и золотом на панагиях, высоких митрах, митрополиты под стихающий гул и шум толпы приближались к восставшим. Но тут вперед вышли четыре морских офицера в черных мундирах. Это были лейтенанты флота Антон Арбузов, Елафродит Мусин-Пушкин, Борис Бодиско и Михаила Кюхельбекер. Ни слова не говоря, они остановили шествие. Митрополит Серафим откашлялся, приподнял крест.

– Братья во Христе! Сыны мои! Побойтесь бога, присягните императору Николаю Павловичу! От имени православной церкви заклинаю вас я, митрополит Серафим...

– Какой ты митрополит, когда на двух неделях присягнул двум царям! – раздался зычный голос из колонны моряков.

– Не верим вам! Ступайте прочь! – зашумели матросы.

– Христом-богом заклинаю, – продолжал Серафим, – опомнитесь, успокойтесь, не лейте кровь одноземцев, единоверов...

– Изменники! Николаевские калугеры!<sup>27</sup>

Тут к офицерам подошел Каховский. Его горящие глаза, окровавленный кинжал и пистолет, из которого, казалось, еще курился дымок, произвели впечатление на священнослужителей: сам сатана в облике узколицего во фраке.

– Цесаревич Константин точно отказался от престола, – продолжал Серафим, настороженно поглядывая на Каховского.

– Вас так же могут обмануть, как и прочих, – сказал Каховский.

– Крестом дворцовой церкви уверяю истинность моих слов! Верите ли вы этому кресту?

Каховский подошел, приложился к кресту, но сказал:

– Полно, батюшка, не прежняя пора обманывать нас. И вообще это дело не ваше. Мы

---

<sup>27</sup> Здесь – приспешники (букв. – болотные твари, калуга – болото)

знаем, что делаем.

Серафим хотел что-то сказать, но гром барабанов заглушил слова, угрожающие крики начали нарастать, над головой его взметнулись шпаги офицеров. Святые отцы испуганно попятились назад и, увидев пролом в заборе, на удивление живо и ловко скользнули в него.

Между тем начало смеркаться. Бестужев поспешил к своим солдатам. Как же быстро, в одно мгновение прошел день! Но если руководители восстания, занятые построением солдат, переговорами с парламентарями, отражением атак, находились в постоянном движении, то солдаты Московского полка, раньше всех вышедшие на площадь и затиснутые в глубь каре, в последние часы были в полном бездействии и начали мерзнуть на морозе и ветру в своих мундирах. И Бестужев поразился, что, несмотря на это, они продолжали соблюдать равнение и стояли, как на смотре. Желая приободрить их, он подошел к ефрейтору Любимову, которого три дня назад благословлял перед свадьбой.

– Что, Любимов, призадумался, аль мечтаешь о молодой жене?

– До жены ли теперь, ваше высокоблагородие. Я вот развожу умом: чего мы стоим на одном месте. Скоро стемнеет, ноги отерпли от стояния, руки озябли от холода...

– Верно говорит, – поддержали солдаты, – с пяти утра на ногах, а во рту ни крошки, заоченели без дела!

– Погодите, ребята, скоро пойдем, – сказал Бестужев.

Решив хоть немного покормить солдат, он обратился с этим к брату Александру, тот пошел к Пущину, Оболенскому и, вернувшись через некоторое время, сообщал, что Михаил Глебов дал сто рублей и скоро люди принесут хлеб и водку.

Корф обыграл этот факт, написав, что офицеры-смутьяны напоили солдат, и те действовали в беспамятстве, как изверги. А выпили-то всего по чарке, чтобы не замерзнуть, да и то не всем хватило.

Чуть позднее к восставшим подъехал великий князь Михаил. Прибыв в Петербург, он сразу же направился в свой подшефный Московский полк и привел на площадь оставшихся солдат. И тогда Николай направил его к мятежникам, чтобы тот засвидетельствовал отречение Константина и законность новой присяги.

Великий князь появился в окружении кавалергардского конвоя со стороны манежа, а к морякам подошел в сопровождении генерала Левашова. Он начал убеждать в том, что Константин отрекся по собственной воле, вожаки мятежников обманули солдат и моряков, говоря, будто он арестован и закован в цепи вместе с ним, Михаилом. Но тут Вильгельм Кюхельбекер навел на него пистолет. Трудно сказать, почему не прозвучал выстрел.

Петр Бестужев, стоявший рядом, на следствии утверждал, что это он подтолкнул Кюхельбекера и сыпал порох. Потому-то пистолет и дал осечку. Много лет спустя, уже после возвращения с Кавказа, брат рассказывал о том же матушке и сестрам, они верили ему, но как было на самом деле, Мишель не знал.

Однако то, что написал Корф, и вовсе было далеко от истины. Легенда о спасении великого князя матросами Дорофеевым, Куроптевым и Федоровым могла возникнуть оттого, что Кюхельбекер, поскользнувшись, упал на снег, матросы подбежали помочь, а великому князю показалось, будто они повалили Кюхельбекера и скрутили руки.

Убедившись, что Трубецкого ждать бесполезно, руководители восстания решили избрать другого диктатора. Николай Бестужев сказал, что на море он принял бы командование, а здесь не смеет. Иван Пущин тоже отказался, ссылаясь на то, что он статский.

В это время из толпы от Сената вышел высокий тучный человек неопределенного возраста с пистолетом и шпагой, в губернаторских эполетах и треуголке, со звездами на груди. За ним спешили двое неизвестных.

– Да здравствует Константин! – зычно крикнул он.

Офицеры переглянулись, не знает ли кто пришельца. Пущин узнал его, хотел было представить, но тот опередил.

– Экс-вице-губернатор Кавказа, князь Друцкий-Горский, граф на Мыже и Преславле

приветствует вас!

– И они с вами? – указал Оболенский на стоящих сзади.

– Я их не знаю, – высокомерно ответил князь.

– Оу, ми ест подданный Великобританиа – Буль и Гайнам.

– Знаете, господа, тут дело наше – домашнее, – заявил Оболенский, – пожалуйста, не лезьте, куда не следует.

– Ступайте, пока целы, – подтолкнул их Щепин-Ростовский.

Когда они удалились, Александр Бестужев бросил вслед:

– Не хватало нам этого Гайнам!

– Ну а вы, граф, – обратился к Горскому Пущин, – не могли бы возглавить войско?

– Я старый солдат, – подбоченился тот, – сражался против Наполеона, не жалея крови за Россию, но я – артиллерист, а пушек тут нет, и командовать фрунтом не осмелюсь...

Пущин довольно хорошо знал Друцкого-Горского. Впрочем, знать, да еще хорошо, этого человека никто не мог. В зависимости от обстоятельств он назывался Иосифом, Юлианом или Осипом Викентьевичем, изменял свой возраст, происхождение и даже национальность. Однако поляки уверяли, что рода графов Горских, Друцких или Хруцких у них не было. Белорусы говорили то же самое, добавляя, что не только графов, но и князей с такой фамилией в их крае нет, и сообщили, что он сын мещанина из местечка Бялыныч, где и купил ложные свидетельства о графстве у другого проходимца – помещика Янчевского.

Детство он провел якобы у графов Понятовских, один из которых в армии Наполеона ходил в поход против России, а сам Горский в то время уже был поручиком русской артиллерии, участвовал во многих сражениях, имел семь ранений и контузий, немало наград за храбрость и отвагу. Дослужившись до полковника, он вышел в отставку, стал вице-губернатором Кавказа, разбогател па махинациях и злоупотреблениях и бежал оттуда, так как его грозили прирезать. Поселившись в Петербурге, жил не с супругой, которую давно бросил, а с тремя крепостными девками, купленными где-то по пути с Кавказа. Гнусный разврат и дурное обхождение вынудили их бежать и искать защиты у властей, но Милорадович почему-то замаял дело.

Узнав о шуме на площади, Горский облачился в мундир, надел ордена, вооружился пистолетом и шпагой и стал прохаживаться в толпе у Сената. Высокий, представительный человек в треуголке, с золотистыми эполетами и звездами, выкрикивающий здравицы Константину, вызвал любопытство окружающих. И вокруг зашелестел шепоток, мол, это – один из главарей мятежников. Внимание толпы подогрело самолюбие Горского. Сложив руки на груди, он стоял в позе Наполеона, величественно оглядывая восставших у памятника и правительственные войска, окружившие площадь. Бурление толпы, ветер свободы опьянили старого авантюриста, и он вдруг решительно зашагал к истинным главарям восстания...

Вспомнив о Горском, Михаил Бестужев подумал, что, в сущности, это – родственная душа Якубовича. Те же красивые, громкие фразы, импозантность, страсть покрасоваться перед людьми. Сколько прекрасных людей увлек водоворот четырнадцатого декабря! Но этот же день поднял и закружил в своих волнах пену и муть – тех, кто оказался в ней волей случая и чрезмерного любопытства. Буль и Гайнам, примеченные пташками Фогеля, вскоре были выдворены из России в Англию, а Горского сослали сначала в Березов, где кончил свои дни Меншиков, потом в Омск, там он и нашел вечное успокоение.

Пущин, зная Горского, конечно же не принимал его всерьез, а командовать предложил лишь из отчаянной безвыходности положения – на тот момент сгодился бы и Горский. Брат Николай говорил после, что во всех заговорщиках было так много самоотвержения и так мало честолюбия, что никто не готовил себя к первым ролям. И когда они оказались без главаря, это застало их врасплох.

В конце концов диктатором избрали поручика Оболенского, но едва его представили экипажу, послышался цокот копыт – от свиты императора скакал на лошади генерал Сухожанет, начальник гвардейской артиллерии. Подъехав к цепи Луцкого, он не решился



продвинуться дальше и, привстав на стременах, закричал:

– Я прислан не для переговоров, а с пощадою!

– Пусть пришлют кого-нибудь почище! – крикнул Пушкин.

– Подлец Сухозанет! Разве ты привез конституцию? – закричал Каховский.

– Пушки перед вами, но государь милостив и надеется, что вы образумитесь...

В это время раздалась ружейные выстрелы. Сухозанет пригнул голову и, дав шпоры, развернул коня и поскакал обратно.

– Вот теперь надо отбить пушки! – сказал Корнилович. Но было поздно. Сухозанет на скаку снял треуголку и поднял ее вверх. «Все ясно, – подумал Бестужев, – условленный знак».

Наступила зловещая тишина. Лишь пронзительный холодный ветер, несущий снег над головами людей, нарушал ее. Казалось, даже слышно, как потрескивают на ветру вспыхнувшие запалы в руках фейерверкеров. Кто-то у орудий дважды принимался отдавать команду, но оба раза отменял ее. Голос знаком. Да это же сам государь, узнал Бестужев. Наконец, тот решительно приказал:

– Пальба орудиями-и, по порядку-у, справа первая, начинай!

Фейерверкер с дымящимся фитилем в руке перекрестился, переложил запал в правую руку, но не поднес его к пушке. Штабс-капитан Бакунин повторил приказ, однако солдат обернулся к нему и дрогнувшим голосом молвил:

– Не могу, ваше высокоблагородие, свои ведь...

Тогда Бакунин подбежал, выхватил фитиль и приложил к стволу. Яркая вспышка ослепила глаза. Грохот, раздавшийся в тишине, показался ужасающим. Картечь с визгом пронеслась над головами восставших и врезалась в здание Сената. Послышался сухой треск штукатурки, звон стекол. Люди, стоявшие на высоком крыльце и крыше Сената, попадали замертво. Тишина, взорванная первым выстрелом, заполнилась воем перепуганной толпы. Но солдаты в каре и моряки в колонне продолжали сохранять строй.

Бестужев хотел было дать приказ – стрелять по орудийным расчетам, но замялся с командой, надеясь, что стреляют для острастки, поверх голов. Однако выстрел второй пушки оказался более точным – скошил передние ряды восставших. Каре, разбитое жестокой картечью, миг превратилось в мечущуюся, не знающую куда деваться толпу. Моряки побежали к Галерной улице, лейб-гренадеры – вслед за ними, а москвичи – к Неве.

– Ваше высокоблагородие, – бросился к Бестужеву Любимов, – я не покину, прикрою вас...

Не успев договорить, он схватился за грудь и пальцы обагрились кровью. Бестужев выхватил платок, прижал к ране, но Любимов был уже мертв.

Картечь разила без разбора и восставших, и толпу, и даже правительственные войска. У набережной путь отступающим преградили коннопионеры. Полковник Засс, стараясь настигать солдат сзади, чтоб не нарваться на штык, рубил палашом по головам и, высматривая очередную жертву, мчался к ней. Гнусная тактика стервятника в полковничьих эполетах разъярила Бестужева, и он, подобрав ружье одного из убитых, заколол лошадь Засса. Она повалилась на бок, едва не придавив хозяина, солдаты бросились к нему со штыками, но тот вскочил и со всех ног побежал к Сенату.

Перед барьером набережной некоторые солдаты начали бросать ружья. Бестужев выхватил пистолет и пригрозил застрелить первого же, кто еще бросит ружье и не станет слушаться дальнейших приказов. Перепрыгнув через барьер и соскользнув по гранитной стенке на лед, Бестужев побежал на середину Невы.

Войска, стоящие на мосту, стрелять по бегущим не стали. Бестужев решил выстроить солдат, чтобы повести к Петропавловской крепости. Только позже он понял, какую ошибку совершил. Не стоило строиться на виду у всех. Надо было, не останавливаясь, бежать к крепости, ворваться в нее и с пушками, наведенными на Зимний дворец, повести переговоры с царем.

А тогда Бестужев успел выстроить на льду три взвода, но ядра раскололи лед, и почти

все оказались в полынье. «Тонем, братцы!» – раздался крик. Он еле успел прыгнуть с уходящей из-под ног льдины, и она тут же перевернулась, накрыв несколько солдат. Другие барахтались рядом, пытаясь выбраться на лед. Подбежав с остатками солдат к Академии художеств, Бестужев решил занять здание, хорошо знакомое с детства. Сколько красок измалевали тут братья... И именно здесь ставил кукольный спектакль Саша. Жив ли он? Где Николай, Петр?

Часть солдат успела пробежать во двор. Но швейцар, стоящий с веревкой в руках, дернул ее, как марионетка, спустив гири ворот, и те с шумом захлопнулись. Бестужев приказал принести бревно из разломанной барки на берегу и таранить ворота. Они уже затрещали под ударами – вот-вот слетят с петель, как со стороны Исаакиевского моста показался эскадрон кавалергардов, во весь опор мчащийся на них. Бестужев глянул на своих солдат, маловато их, да и ружья не у всех, патроны на исходе. Сопrotивляться на открытой улице бесполезно. И отдал последний приказ:

– Спасайтесь, кто как может!

Затем он подошел к знаменщику.

– Скажи своим товарищам-москoвцам, что я в твоём прощаюсь с ними навсегда, – Бестужев обнял его. – Ты же вручи знамя вон тому офицеру, что скачет впереди. Это оградит тебя от наказания.

– Береги вас бог! – со слезами на глазах сказал солдат. – Исполню все, как велено.

Он приспустил знамя, на нём видны лишь начальные слова надписи: «За отличия при поражении...»

«Не странная, а роковая надпись, – подумал Бестужев. – Вот я и отличился при поражении».

На площади Румянцева знаменщик подошел к командиру эскадрона фон Эсену, протянул ему знамя, а тот вдруг взмахнул палашом и с плеча рубанул солдата.

– Ах ты палач! Погань немецкая! – в бессильно: ярости застонал Бестужев. – И как поднялась рука на безоружного, добровольно сдающего знамя?

Эта, последняя, жертва по его вине окончательно убила Бестужева. С сокрушенным сердцем и полным безразличием к себе, ко всему происходящему он медленно свернул за угол двора Академии и переулками побрел к своему дому на Седьмой линии Васильевского острова.

## ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ

Странное состояние охватывало его по мере приближения к дому. Медленно идя по темным переулкам, он чувствовал, как отступают боль, тяжесть, давившие его. Он исполнил свой долг безусловно, сделал все, что мог, и даже проявил «отличие при поражении». Но вспоминая о знаменщике и солдатах в полынье, начинал казнить себя за гибель людей, которые доверились и пошли за ним в огонь и в воду, под сабли и картечь.

Выстрелы ружей, гром пушек конечно же слышались на всем Васильевском острове. Когда он пришел домой, перепуганные сестры стали спрашивать, что случилось, где братья. И хотя Михаил отказался говорить, они обо всем догадались. Он попросил не беспокоить матушку, поел и лег спать – три дня он почти не спал.

Однако часа через два он проснулся от тягостного сна, будто его накрыло льдиной и он никак не может выплыть из-под нее. Остаться дома нельзя – в любую минуту могут прийти за ним и его братьями. Может, не ждать, а явиться самому? Слишком унижительно чувство обреченности. Ну нет, для начала надо попытаться бежать, арест никуда не уйдет. А где скрыться первое время, посоветуюсь с Торсоном.

Начав искать одежду, он не нашел ничего статского, все братья ведь военные. Роясь в шкафу Николая, он отыскал старый флотский вицмундир и енотовую шубу. Наряд нелепый, но за шкипера сойти можно. Выйдя из комнаты, он увидел матушку, сидящую за столом, и догадался, что она обо всем знает. Он встал перед ней на колени.

– Да благословит тебя бог, – перекрестила она его, а в глазах ни слезинки. – И да вооружит терпением для перенесения всех страданий...

Хорошо понимая, что прощается с сыном, может быть, навсегда, матушка держала себя в руках, ни тени упрека не было на ее лице. Раз уж случилось так, значит, сыновья не могли поступить иначе. Обняв, поцеловав ее и сестер, Мишель вышел на улицу, остановил извозчика и велел ехать на Галерную. Тот тронул с места, но предупредил, что довезет лишь до Исаакиевской площади, дальше не пускают. Проезжая через мост, Бестужев увидел зарево над площадью, на которой горели костры, а у водопоя на лед спускались возы, накрытые рогожей.

– Убитых в прорубь бросают, – пояснил извозчик.

Бестужев попросил остановиться, вышел из саней, подошел к перилам и увидел множество возов вдоль реки, услышал стук пешней, долбящих новые проруби.

– Чего рубить, поехали к полынье, там живо свалим, – послышался спокойный голос.

Фыркая и прядая ушами, лошадь, пугаясь покойников, с трудом тянула по заснеженному льду тяжелый воз. Бестужев перешел на другую сторону моста и услышал журчание воды в той самой полынье, которую едва успел миновать. В это время из-под моста послышались голоса.

– Сапоги с их надо снять, все одно под воду.

– Грех-то какой, неужто можно?

– А что добру пропадать? И кольца снять надо, в карманах пошарить. Гораздо больше греха на тех, кто приказал без христианского обряда людей топить...

Будничная простота могильщиков ввела Бестужева в оцепенение. Что это за порода людей, которые мигом свыкаются с любой, самой страшной работой и находят в ней выгоду?

Когда они начали спускать трупы под лед, Бестужев совершенно отчетливо услышал стон одного из раненых, а другой даже очнулся от ледяной воды и начал бултыхаться, но тут же ушел под лед. Бестужев чуть было не закричал им, но вовремя спохватился.

На площадь их действительно не пустили. Бестужев расплатился с извозчиком и пошел к Галерной улице. Странно выглядела площадь при свете множества костров. Солдаты долбили, скребли залитые кровью, оледеневшие круги, загружая лопатами бурое крошево в сани, а другие сваливали снег, привезенный и набранный из сугробов на соседних улицах, засыпая и выравнивая темные пятна. В отблеске костров тускло сверкали ружья в пирамидах, жерла пушек, стоящих на всех углах площади и совсем недавно стрелявших по мятежникам. Фитили алыми точками тлели у каждой наготове. Боятся, до сих пор не тушат.

Спокойно идя через площадь, Бестужев не вызвал подозрения, никто даже не окликнул его. Но когда он свернул на Галерную и ускорил шаг, его сразу же остановил пикет Павловского полка. Бестужев назвал себя шкипером и сказал, что идет со службы домой, однако до появления офицера его задержали.

«Вот и попался», – подумал он и увидел у стены группу лейб-гренадеров, московцев и матросов экипажа. Боясь быть опознанным, он поднял воротник, нахлобучил шапку на глаза и встал в тень фонарного столба. Тут измайловцы привели еще одну группу арестованных.

– Что, наловили мышей? – усмехнулся один из павловцев. – Чай, трудно было нагибаться перед каждой норкой? Эх, вы! Обещали выйти за московцами, а теперь ловите их. А я, если бы пообещал, обязательно пошел.

– И мы бы пошли, если б они не стояли, как примерзшие...

Тут появился офицер, и разговор прекратился. Фельдфебель доложил ему, что поймали еще солдат и задержали шкипера. Офицер распорядился отправить солдат на сборное место, а шкипера проводить домой и проверить, живет ли он там. Фельдфебель сказал, что конвойных нет и сопроводить шкипера не с кем. Тогда офицер выругался и отпустил Бестужева.

Придя к Торсону, он застал лишь его матушку и сестру. Увидев Мишеля, Шарлотта Карловна, глухая старушка, засмеялась, мол, рано он празднует святки, но Екатерина Петровна, знавшая о случившемся, сразу догадалась обо всем и спросила о брате. Мишель

успокоил ее, сказав, что Константина на площади не было, ему ничто не грозит, а вот он вынужден скрываться.

Вернувшийся со службы Торсон сразу же увел Мишеля в свою комнату. К сотням свечей, сожженным во время работы над «Эмгейтеном», прибавилось еще с дюжину – они проговорили до утра. В конце разговора Торсон спросил, что намерен делать Мишель.

– Думаю бежать за границу через Архангельск. Паспорт достанет Борецкий через друга, квартального делопроизводителя. Знакомый приказчик назовет меня помощником, и мы уедем с обозом.

– Допустим, удастся выехать отсюда, а в Архангельске?

– Скроюсь на Соловках у друзей-лоцманов, а весной они посадят на английский или французский корабль.

– Дай бог, чтобы все сбылось, но я сомневаюсь – заставы перекрыты, да и тут могут схватить.

Торсон решил повести Мишеля к знакомому шведу, чтобы тот приютил его под видом работника. Они отправились на Козье Болото. Но там выяснилось, что полиция переписала всех мастеров, наказав не нанимать никого без особого на то разрешения.

Мишель распрощался с Торсоном и пошел к Борецкому. В его доме у Театральной площади он был своим человеком. Слуги пустили без доклада. Войдя в комнату, он услышал, что Борецкий рассказывает жене о том, как восставшие заняли Сенат и Адмиралтейство и оттуда отражали атаки правительственных войск, как бедный Мишель повел своих солдат через Неву и его изрубили и бросили под лед. При этих словах Бестужев поздоровался с супругами.

– Боже мой! Ты жив?! – воскликнул Борецкий.

– Ущипни себя, коли не веришь, – засмеялся Бестужев и спросил, зачем он придумывает эти страсти. Борецкий ответил, что действительно был на площади, видел, как они отражали атаки, а когда грянули пушки, побежал к Неве.

– Вижу, ты строишь солдат на льду, потом на мост закатили пушки и начали стрелять. У меня голова пошла кругом, я лишился чувств, а опамятовался от воды из проруби, которую мне прыскали в лицо. Смотрю, народ вокруг меня. «Ожил он!» – кричат. Спрашиваю, где Бестужев, а мне отвечают, один засел в Сенате, другой – в Адмиралтействе, а третий – в Академии художеств, но его схватили, зарубили и бросили в реку. Я не поверил, но по пути домой снова услышал те же рассказы. Как же я рад, что ты жив! – Борецкий прослезился и бросился целовать Мишеля.

– Ну, полно, полно, – говорил Бестужев, растроганный непритворным чувством, а потом попросил достать в театре парик, бороду и мужицкую одежду, а если можно, и паспорт. Борецкий ответил, что все это для него проще простого, за исключением паспорта, но он попробует уговорить друга.

Он ушел хлопотать, а Бестужев уснул сном праведника. Проснулся он от выстрелов пушек, на улице уже смеркалось.

«Вдруг войска подошли откуда-то на подмогу?» – взволновался он и вскочил с кровати, чтобы побежать на улицу. Но хозяйка попросила хоть немного поесть. Он сел, однако куски застревали в горле. Чу! Опять!

– Ну, все! Я бегу, жаль, что Иван Петрович не принес одежды.

– Ах, я глупая, он ведь давно принес, я забыла сказать. А сейчас он поехал за паспортом.

Бестужев удалился в спальню, одежда оказалась впору, только парик и борода были великоваты. Он попросил у хозяйки ниток, как мог подогнал и то и другое, нахлобучил шапку и побежал на площадь. Но ни пушек, ни войск там не было, лишь народ толпился вокруг очевидцев. Проходя мимо одной кучки людей, он услышал свою фамилию.

– Так вот, Бестужин, который привел экипаж, бросился в мирательство, потом захватил корабль.

Его окружили со всех сторон, кричат, сдавайся, а он пиф-паф из пушек...

– Откуда корабль? Лед вон какой!

– А тому кораблю лед – что стекло! Так и ушел в Кронштадт. Другого Бестужина в Академии схватили, голову долой и в реку!

Усмехнувшись выдумкам ливрейного очевидца, Бестужев направился к Невскому проспекту, не там ли стреляют, и вдруг увидел толпу вокруг флигель-адъютанта, ведущего – он глазам своим не поверил – Торсона! Лицо его было спокойно, поступь твердая, а руки связаны за спиной. «Какими путями и так скоро добрались до него? Кто же выдал его? За что? Ведь он не бунтовал, не был на площади! Но нет, я не уподоблюсь ни Иуде, ни Петру, который отрекся от учителя, и сам явлюсь в Преторию на суд Пилата!»

Вернувшись к Борецкому, он встретил его у ворот и, шепелявя, приветствовал:

– Добрый вечер, ваше почтение! Я к вам.

– Ты, верно, от Злобина? Так вот, отнеси ему паспорт и скажи, пусть не ждет, отправляется в путь.

– Значит, я не еду? – Бестужев снял парик.

– Мишель! Друг мой! Ведь не признал, ей-богу! – изумился Борецкий. – И хотя ты в совершенстве играешь роль, ехать нельзя, на заставе требуют особую записку от коменданта Башуцкого, а он, прежде чем дать ее, осматривает, допрашивает каждого.

– И хорошо! Я и сам раздумал. – Рассказав об аресте Торсона, он заявил, что не может не разделить участи друга и сдастся сам. Тут снова послышались звуки выстрелов. Бестужев спросил, где это стреляют. А Борецкий рассмеялся и объяснил, что это хлопает калитка. Узнав о столь прозаичной причине своих волнений и надежд, Бестужев тоже засмеялся и грустно махнул рукой.

После ужина он хотел направиться к матушке, чтобы взять свою воинскую «сбрую» – мундир, кивер, ремень, португую. Являться во дворец в другом облачении он считал ниже своего достоинства. Но Борецкий сказал, что на улицах вечером проверяют документы, и вызвался поехать сам. Что за добрая душа – Иван Петрович! Столько хлопот, езды, риска принял на себя в те дни, выказав безграничную родственную привязанность к Бестужевым!

Приехав на Седьмую линию, Борецкий рассказал матушке и сестрам о намерении Мишеля. Когда они стали собирать вещи, явился полицмейстер допытываться, где братья. Стоило ему заглянуть в соседнюю комнату, он увидел бы и Борецкого, и амуницию Мишеля. Однако полицмейстер ничего не заметил, но поставил охрану у ворот. Борецкий приказал извозчику быстро выехать со двора и мчать изо всех сил. К счастью, возница попался лихой, хорошо знал город и сумел скрыться от погони сквозными дворами.

Не сомкнув ночью глаз, Бестужев до мельчайших подробностей продумал, как и где он проедет к Зимнему дворцу. Еле дождавшись утра и лишь из уважения к хозяйке отведав пирожков, которые она специально приготовила для него, он вышел на улицу.

Чтобы не подвергнуться аресту прежде времени, он вместо шинели надел шубу, спрятав под ней кивер. Шпагу брать не стал – все равно сдавать при аресте.

Борецкие жили на Екатерининском канале, недалеко от Театральной площади – вся их жизнь была связана с театром: он актер, она – швея. В ожидании извозчика Бестужев стоял на набережной, жадно дыша свежим воздухом, в котором кружили крупные хлопья снега. Несмотря на ранний час, детишки уже катались с горок на санках. Их голоса подчеркивали безмятежность зимнего утра.

Увидев извозчика, Бестужев остановил его и попросил ехать по Крюкову каналу мимо казарм Гвардейского экипажа, откуда брат Николай вывел моряков. Доехав до Мойки, он велел свернуть направо. Проезжая у Синего моста, Бестужев хотел зайти к Рылееву, но, увидев у подъезда человека в тулупе, понял, что Кондрата, видимо, арестовали и квартира его под наблюдением.

А вот Гороховая улица. Сколько связано с ней. Здесь они проходили за месяц до восстания, хороня Чернова, а позавчера здесь же прошел Московский полк. И тут он решил: если спросят, кто принял в общество, назову Чернова, и что бы там ни было, даже под пытками, клянусь не назвать, не выдать никого!

У Невского проспекта Бестужев попросил свернуть к дому Михайловских, чтобы проехать мимо него. Редкий снежок продолжал идти, скрывая окна спальни Анеты, но ни одна занавесь не дрогнула в них. После того как он покинул ее, лишенную чувств, ему казалось, что она до сих пор по может прийти в себя. И он был недалеко от истины.

У комендантского подъезда Зимнего дворца Бестужев спросил извозчика, сколько ему надобно. «Да уж гривенничек-то надо бы», – ответил тот. В кармане были лишь ассигнации. Бестужев вынул пятирублевый билет, бросил его в шапку оторопевшего извозчика и пошел к дверям. Тот начал что-то кричать, побежал вслед, но Мишель не обратил внимания на его волнение – и зря...

Сбросив шубу, Бестужев с кивером в руках направился во внутренние покои дворца. Встречая знакомых флигель-адъютантов, камер-лакеев и гоф-фурьеров, он как ни в чем не бывало приветствовал их и, печатая шаг, шел дальше. Буквально все останавливались в полном недоумении: «Как? Он еще на свободе?»

И шепоток: «Бестужев, Бестужев» – шелестел ему вслед, заполняя коридоры и лестницы дворца. Проходя залу, где производилась смена караула, он увидел преображенцев, стоящих в три шеренги.

– Здорово, ребята! – бодро приветствовал он.

– Здравия желаем, ваше высокоблагородие! – дружно гаркнули солдаты. Громкое приветствие караула заставило дежурного офицера вытянуться в струнку, когда Бестужев вошел в его комнату. Судя по лицу офицера, тот ожидал увидеть не менее, как генерала. Однако то, что сказал вошедший, бросило его в еще большую оторопь.

– Прошу доложить государю, что его хочет видеть штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка Михаил Бестужев!

– Бестужев? – переспросил офицер и вдруг опустился в кресло – столь неожиданно было появление одного из главных зачинщиков бунта, которого, сбившись с ног, тщетно ищет полиция. Офицер никак не мог обрести дар речи и мямлил нечто невразумительное. Но тут в комнату вошел полковник Преображенского полка Микулин.

– Господин штабс-капитан! Я вас арестую, пожалуйста вашу шпагу!

– Извините, господин полковник, что лишаю вас этого удовольствия, – я уже арестован.

– Кто же вас арестовал?

– Я сам. Видите, при мне нет шпаги.

В сопровождении конвойных полковник повел Бестужева на главную гауптвахту.

– Все это хорошо, – говорил он, – но ваше похвальное намерение добровольно сдать в руки правительства могут истолковать не в вашу пользу – вы прошли во внутренние покои государя.

– Но вы, господин полковник, можете уничтожить столь нелепое подозрение – при мне нет оружия.

– Лучше бы вы явились на гауптвахту, как это сделал ваш брат Александр.

Крепко скрутив ему руки, конвойные посадили его на ветхий стул в узком пространстве за стеклянной дверью, из-за которой он, невидимый никем, слышал и видел все в комнате допросов.

При первом же допросе его спросили, где он был, откуда приехал, и предупредили, что единственный путь к милосердию государя – чистосердечное признание. Он ответил, что скрывался в Галерной гавани. Но когда его увели за стеклянную дверь, он увидел, что вскоре в комнате допросов появился... Борецкий. Как же о нем стало известно? – недоумевал Бестужев. Перебрав шаг за шагом все происходившее, он вспомнил об извозчике, бежавшем за ним с ассигнацией, и понял, что кто-то не поленился узнать причину его волнений и съездил к дому, где жил Борецкий, выяснив, у кого скрывался щедрый седок.

Иван Петрович конечно же перепугался, но держал себя на удивление достойно: чего, мол, плохого в том, что он привез амуницию? Ведь это способствовало не бегству, а добровольной явке Бестужева. И столько непритворной наивности, простодушия было на его лице – уж тут-то Борецкий использовал все свое мастерство актера. Левашов,

допрашивающий его, даже улыбнулся, сказав, что надо руководствоваться чувствами не родства, а верноподданности, отпустил его домой.

Потом то ли о Бестужеве позабыли, то ли до него не доходила очередь, но он весь день просидел в своей каморке с онемевшими руками за спиной. Очень хотелось пить, есть, и он невольно пожалел, что не поел утром у Борецких.

На гауптвахту приводили все новых арестованных. Дворцовая гвардия, превратившись в наглуемую дворню хозяина, изощренно глумилась над вчерашними собратями по службе. До чего же тлетворен воздух дворцов! Самые священные узы дружбы, любви и родства служили лишь поводом к тому, чтобы яснее выказать лакейскую преданность и душевную низость телохранителей царя.

О Бестужеве вспомнили лишь ночью. Когда его привели к великому князю Михаилу Павловичу, тот при виде Бестужева вскочил со стула и, заметавшись, как зверь в клетке, начал кричать, что не станет возиться с ним, а потребует судить полковым судом в двадцать четыре часа и казнить руками тех же солдат, которых Бестужев вывел. Гнев великого князя объяснялся тем, что он был шефом Московского полка, а третья, бестужевская рота носила его имя. Михаил Павлович досадовал, что именно он способствовал переводу Бестужева из флота в армию.

– Какую змею я пригрел на своей груди! – кричал он. – Сорвать с него мундир! Он недостоин его!

Конвойные подскочили, развязали руки и, спеша исполнить приказ, так дернули за лацканы, что посыпались пуговицы.

– Сжечь его мундир! Сейчас же, немедленно!

Солдаты бросили мундир, ремень, португеею в камин, а потом снова связали руки, и так туго, что только из гордости он не стонал. Видя, что поток высочайшего гнева и бешенства остановится не скоро, Бестужев сел на стул.

– Как ты посмел сесть в моем присутствии?

– Я устал слушать, – спокойно ответил Бестужев.

– Встать, мерзавец! – великий князь бросился, чтобы схватить за ворот нижней рубашки, но Бестужев рванулся так, что тот в испуге отпрянул.

– Хорошо ли связан? – спросил он полковника Микулина.

– Хорошо, очень даже хорошо, – успокоил тот.

Тогда великий князь приблизился к самому лицу арестованного и, брызжа слюной, начал кричать, как последний мужлан...

Два дня Бестужева держали в той каморке, не давая ни пить, ни есть. Прилечь было негде, да и невозможно уснуть из-за шума и криков в комнате допросов, а главное, из-за холода – он ведь остался в одной нижней рубашке. Хорошо понимая, что тому, кто первым вывел полк восставших, прощения не будет, он и на других допросах не поддавался ни на угрозы, ни на посулы.

Ночью его повели наверх. Глаза ему почему-то не завязали, и он увидел, что оказался в Эрмитаже. В галерее героев Отечественной войны несколько портретов завешено черным крепом. Заговорщики? В Северном обществе никого из изображенных на этих портретах не было. Видимо, кто-то из южан, но кто, Бестужев тогда не знал.

Его провели по залам с картинами фламандцев, итальянцев. «Несение креста», «Христос в терновом венце», «Оплакивание Христа»... Бесчисленные полотна как бы предрекали его судьбу. Великие мастера словно выражали ему свое сочувствие, боль, сострадание. В портрете старушки Рембрандта почудился облик матери, а в одной из мадонн – образ Анеты.

Куда ведут, неизвестно. Каково же было его удивление, когда он увидел в ярко освещенном люстрами и канделябрами зале раскрытый ломберный столик, за которым сидели взошедший на престол император и генерал Чернышев. Издали показалось, что они играют в карты. Чернышев перебирал бумаги и подавал их Николаю. Здесь раскладывался чудовищный пасьянс – тасовались судьбы людей, решались их жизнь и смерть. С портрета,

висящего над этим синедрионом, с усмешкой смотрел папа Климент IX, явно дивясь базару житейской суеты. Скольких же увидел и чего только не услышал он тут! Протоколы допросов и показания обвиняемых не умещаются на карточном столике, кипы их сложены на стульях и подоконниках.

Николай был бледен, глаза красны от бессонных ночей. Сколько страха, треволений свалилось на него за время междуцарствия и в день восстания! Да и сейчас, бедняга, трудится, допрашивая денно и нощно своих бывших гвардейцев-телохранителей. Первый вопрос он задал скорее не Бестужеву, а Чернышеву.

– Почему в таком виде? Где форма? – спросил он устало.

Чернышев что-то шепнул ему на ухо. «Ах да», – кивнул он и, поднявшись со стула, уставился на Бестужева. Это был тот самый, ставший впоследствии знаменитым «державный взгляд», от которого падали в обморок не только рядовые офицеры, но и выдавшие виды генералы. Да что обмороки! Генерал Плуталов, комендант Шлиссельбургской крепости, подавая рапорт, умер от разрыва сердца, когда император, недовольный им, вперила в него суровый взгляд. И вот тогда, во время допросов, самодержец уже начинал испытывать силу своих глаз.

Выдержать этот взгляд Бестужеву помогли не только твердость и сила духа, но и воспоминания о встрече в ночь на двенадцатое декабря, когда Николай трепетал от страха. «Одного этого он не простит мне», – усмехнувшись, подумал Бестужев. Тень усмешки, замеченная царем, взбесила его, и, не став допрашивать, он зло, чеканя каждое слово, сказал Чернышеву:

– Видишь, как молод, а уже совершенный злодей! Без него такой каши не заварилось бы! Но что лучше всего, он меня караулил перед бунтом. Понимаешь, он меня караулил!

После этого он приказал увести Бестужева, но, видимо, решив все-таки допросить, хотя бы для протокола, вызвал его на следующую ночь. На этот раз он был более спокоен. Во всяком случае, старался держать себя в руках и стал говорить о том, что брат Александр куда более искренен в признаниях, посоветовал последовать его примеру. Однако Бестужев по-прежнему говорить отказывался. Видя бесполезность убеждений, Незабвенный оторвал клочок бумаги, написал на нем что-то очень короткое и передал листок Левашову. Тот запечатал бумажку в конверт, и Бестужева увезли в Петропавловскую крепость.

## ЗАТОЧЕНИЕ

Два дня провел Бестужев на даче Казакевича наедине с книгой Корфа и своими воспоминаниями. Когда Бестужев спросил Шершнева, отчего не едет адмирал, тот усмехнулся и сказал:

– Не до нас Петру Васильевичу, с девицей одной тешится: охоч до них... А эта очень даже хороша...

Бестужев догадался, что речь идет о Елизавете Шахаповой. Уединившись в своей комнате, он продолжил чтение, мысленно невольно возвращаясь в прошлое.

Когда его ввели к коменданту Петропавловской крепости Сукину, тот спал, и охранники, не решаясь тревожить генерала, посадили Бестужева на лавку между собой. Задыхаясь от жары, он попросил попить и снять шубу, но конногвардейцы ответили: «Не приказано-с!» Однако постепенно ему удалось втянуть их в разговор. Услышав, что он – тот самый офицер, который пресек огонь по их эскадрону, они сняли с него шубу, подали воды, освободили руки.

– Простите, ваше высокоблагородие, не узнали сразу.

Вскоре проснулся комендант, видно, крепко утомившийся приемом арестантов. Зевая со сна. Сукин подошел к столу, припадая на деревянную ногу, распечатал конверт, поднес листок к свече, но никак не мог прочитать написанное. Вздыхая и протирая глаза, – Бестужеву даже показалось, что Сукин заплакал, – он то приближал, то удалял бумажку от глаз. Что же такое написано там? От нетерпения Бестужев чуть не попросил листок, чтобы



помочь старому генералу, но тот наконец сказал:

– Жалею вас, но приказано заковать в железа.

Так вот что написал государь! А он-то думал, расстрел.

Потом ему завязали глаза платком, пахнущим табаком, вывели и усадили в сани. Когда они проезжали подъемный мост, он понял, что его везут в Алексеевский рavelин. В это время ударил колокол крепостных курантов – час ночи, и прозвучала мелодия «God save the King!». <sup>28</sup> И он подумал, до чего нелепо и дико все – мелодия гимна Великобритании, исполняемая напротив дворца русского императора, фактически немца по крови. Изготовили куранты в Голландии полвека назад, а смотрел за ними английский часовой мастер-механик Роберт Гайнам, сын которого имел несчастье подойти четырнадцатого декабря к восставшим.

«О, муза Полигимния! – вздохнул он. – Когда ты даруешь России истинно русский гимн?» Лишь на каторге в Сибири он услышал «Боже, царя храни» – гимн, ставший ненавистным с первых строк.

Во дворе рavelина его высадили из саней уже другие солдаты, показавшиеся глухонемыми. Он слышал, будто они, вроде палачей, не имеют права покидать стены не только крепости, но и рavelина. Тюремщики, сами обреченные на пожизненное заточение.

Платок с глаз сняли лишь перед самой камерой. В тусклом свете свечи он увидел номер своего каземата – 14. Совпадение с днем четырнадцатого декабря показалось ему роковым. Кроме того, он когда-то служил в 14-м флотском экипаже. Вслед за ним вошли солдаты и внесли ножные и ручные кандалы, новые, только что выкованные. Явно не хватало старых. А вот рубаха и панталоны из толстого серого холста были ветхие, дырявые. Не с умершего ли? Молча сняв с него всю одежду и одев его в тюремное белье, солдаты обернули руки тряпками, надели на них соединенные толстым железным штырем наручные кандалы и замкнули их на висячие замки. То же самое было проделано с ножными кандалами, которые оказались еще тяжелее и туже.

Тюремщики, как тени подземного царства смерти, не спеша, привычно делали свое дело. Казалось, они совершали обряд погребения.

«Положение во гроб» – вспомнилась одна из картин в Эрмитаже. Его уложили на кровать, накрыли одеялом, потому что сам он сделать этого не мог. Дверь затворилась, послышался двойной поворот ключа в скрипучем замке. Многие бессонные ночи и душевные тревоги истомили Бестужева, он погрузился в глубокий сон праведника, который продолжался до полудня следующего дня.

Проснувшись, Бестужев долго не мог сообразить, где он. И лишь двинув ногами и услышав лязг цепей, вспомнил, куда попал. Руки, ноги, все тело онемели от оков и неподвижности. Глянув на оконце в двери, он заметил, как на нем шевельнулась тряпица, висящая с другой стороны. Затем послышался скрежет ключа в замке. В дверях показался высокий худой старик, лет под восемьдесят, в зеленом длиннополом сюртуке с красным воротником и такими же обшлагами. Бестужев догадался, что это комендант Алексеевского рavelина майор Лилиенанкер.

Об этой столь же зловещей, сколь и таинственной личности ходило много легенд. Говорили, что в юности то ли за преступление, то ли по доносу его приговорили к смертной казни, но монаршей милостью назначили комендантом Секретного дома без права выхода за его стены. Случилось это еще при Екатерине II. Пережив ее, Павла I, Александра I, он начал служить Николаю. Но, подчиняясь только императору, он фактически оставался таким же заключенным, как и его подопечные в казематах.

Первый визит Лилиенанкера, как, впрочем, и последующие, был весьма короток. Подойдя к кровати Бестужева, он шепеляво спросил о его здоровье и, не дожидаясь ответа,

---

<sup>28</sup> «Боже, спаси короля!» (англ.).

заложив руки за спину, направился к выходу. Его аколит,<sup>29</sup> начальник стражи, без всякого выражения на лице глянул на Бестужева и молча двинулся за начальником.

Что за фамилия Лилиенанкер? Анкер по-немецки – якорь. Лилейный Якорь? Бессмыслица. Впрочем, не совсем: якорь в виде лилии. Ну, конечно же – якорь с тремя зубцами! И как же подходит к нему фамилия – во рту у него как раз три зуба. Почему-то обрадовавшись своему маленькому открытию, Бестужев потом вздохнул, долго ли будет держать его этот трехзубый якорь?

Поджав ноги и кое-как сдвинув их к краю кровати, он с трудом поднялся, цепи звякнули об пол. До чего же тяжелы кандалы! Подняв руки вперед, он как бы взвесил наручники: не менее как на полпуда. Большое окно за решеткой из толстых полос кованого железа, то ли замазанное известью, то ли заросшее льдом, еле пропускало свет.

Каземат довольно большой – восемь шагов в длину и чуть меньше в ширину. Добравшись до угла, он различил в сумраке ведро-нужник. Обратно он дошел, держась за деревянный стол, возле которого стоял табурет. Тряпица в квадратном отверстии на двери снова колыхнулась, показались чьи-то глаза, затем дверь отворилась, и в каземат вошли два солдата из тех, что надевали ему кандалы и укладывали на кровать. Первый внес ведро воды, второй – кружку и кусок черного хлеба.

Мыться пришлось над нужником. Никогда не думал Бестужев, что эта несложная процедура столь трудна. Железный штырь не давал возможности вымыть руки, и это сделал солдат. Только глаза и лицо ему удалось освежить своей ладонью. Он поблагодарил солдата за помощь и спросил, который час, но ответа не последовало.

После «обеда» он обошел каземат вдоль стен, остановился у теплой печи, чтобы погреться. Одна стена печи выходила в его комнату, а другая – в соседнюю. Топилась же печь из коридора. На известке – остатки надписей, рисунков прежних обитателей каземата. Тюремщики тщательно стирали и замазывали их новой известью.

Начав разбирать полустертые буквы, он словно услышал голоса своих предшественников в мертвящей тишине. «Прощай, маман, навек», – написано под силуэтом женщины. А под девичьей головкой с локонами – стихи:

Ты на земле была мой бог,  
Но ты уж в вечность перешла.  
Молись же там, прекрасная,  
Чтоб я скорей тебя увидеть мог.

А вот надпись на английском языке: «God damn your eyes!».<sup>30</sup> Что за англичанин и как попал сюда? Чьи глаза или кого проклинает он?

Особенно поразила надпись над мужской головой: «Брат, я решил на самоубийство». А где сейчас его братья? Вдруг рядом? Постучав наручниками в правую стену, он не услышал ответа, но из-за левой кто-то откликнулся. Как узнать, кто там? Нужна мелодия, знакомая только братьям. На концерте, где исполнялась «Пассакалья», был брат Николай. Она известна далеко не всем и может стать звуковым паролем. Просвистав первые такты, Мишель умолк и сразу услышал точное продолжение мелодии. Но тут загремела дверь, вошел стражник и сказал, что стучать и свистеть нельзя. Бестужев сослался на незнание тюремного порядка и обещал не шуметь.

Однако перестукивание он продолжил ногтями и пальцами. И хоть стена была очень

---

<sup>29</sup> Неразлучный спутник, помощник (*греч.*)

<sup>30</sup> Нечто вроде «Будь прокляты ваши глаза!» (*англ.*).

толстей, полная тишина позволяла соседям слышать друг друга. Но что можно передать бессмысленным стуком? Какие придумать сигналы? Все существо протестовало против глухоты и немоты заточения.

Через несколько дней принесли вопросные листы, чернильницу и перо. Однако писать в кандалах было чрезвычайно трудно. Рука немела от напряжения, и после двух-трех строк он в изнеможении бросал перо.

Много времени занял ответ на шестой вопрос: «Во время службы в походах и в делах против неприятеля где и когда был?» Тут пришлось перечислить все свои плавания, начиная с Морского корпуса, когда он был гардемаринном на фрегатах «Проворный», «Симеон Иоанн», «Малый». А став мичманом, он ходил на «Ростиславе», «Любине».

Самым памятным было плавание 1817 года в составе эскадры адмирала Кроуна до французского порта Кале. Горсон плыл на 74-пушечном флагмане «Орел», а Николай и Мишель Бестужевы – на корабле «Не тронь меня». Следующие два года он плывал лишь по Маркизовой луже, а в 1819 году ушел сухим путем в Архангельск под командованием капитана первого ранга, ныне адмирала Руднева. Написав об этом, Бестужев невольно вспомнил друзей и знакомых по службе на Белом море – Павла Нахимова, Михаила Рейнеке, лоцманов на Соловецких и других островах, семейство вице-губернатора Архангельской губернии Фандерфлита, на дочери которого женился будущий адмирал Михаил Лазарев.

Указал он и свое плавание вокруг Скандинавии на фрегате «Крейсер», на котором позднее ушел в кругосветное путешествие Дмитрий Завалишин.

Непросто было ответить на неуклюжий вопрос: «С которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, то есть от сообщества ли, или внушений других, или от чтения книг, или сочинений в рукописях и каких именно?» Бестужев написал, что начало свободных мыслей он заимствовал во время похода во Францию, где познакомился со многими французскими и английскими моряками, и в 1821 году, когда по пути из Архангельска останавливался в Копенгагене и общался с датчанами и англичанами. А далее он написал:

«Наши морские офицеры, ежегодно посещая на военных судах Англию, Францию и другие заграничные места, получили понятие об образе тамошнего правления; и когда мне случалось слушать их рассказы, то они невольно питали полученные мною понятия. И самой переворот, бывший почти во всей Европе, о котором и из русских газет можно было почерпнуть достаточные сведения, был причиною, что полученные мною понятия и образ мыслей укоренялись...»

Перечитав написанное, Бестужев с удовлетворением подумал, что написал много, а утаил еще больше. Так, на вопрос, кто принял его в общество, он назвал Чернова, убитого на дуэли незадолго до восстания. А под английскими и французскими моряками скрыл адмирала Огильви и семейство генерала Жомини.

Барон Антон Жомини много лет служил у Наполеона, но в 1813 году перешел на службу к русским, став военным губернатором Вильны. В его трудах по истории французской революции и войн Наполеона, несмотря на необходимый антураж, все же проглядывали антимонархические настроения. Республиканкой была и супруга генерала Франциска Генриховна, а ее компаньонка, молоденькая, острая на слово француженка простого происхождения, – и того более. Англичанин адмирал Огильви и его соотечественник судовой врач подтрунивали насчет поражения Наполеона и потерянной свободы Франции. Шутливая пикировка между англичанами и французами шла постоянно и на палубе, и в кают-компаниях, за чайным столом.

На борту корабля находился довольно молодой тогда Николай Греч. Забитый полицейской и литературной цензурой в Петербурге, он переродился между моряками, живущими нараспашку, и казался не таким сухим и безвкусным, каким его до этого считали Николай и Мишель Бестужевы.

Столь пестрая для строгого военного корабля компания, на котором обычно не бывали женщины и журналисты, прекрасная майская Балтика, весенняя атмосфера дружеских бесед,

острых споров вокруг судеб Европы, надежды на более светлую будущность России – все это будоражило семнадцатилетнего Мишеля, который, как мичман, на равных присутствовал в кают-компании. С детства вращаясь среди моряков, зная о братстве морских офицеров, он, однако, впервые на деле убеждался в истинной глубине, чистосердечии морской дружбы.

Воспитанные в Морском корпусе, офицеры корабля, как дети одной матери, по-братски преданы друг другу и службе. Прав был Николай, когда писал, что жаркие споры, вспыхивающие между моряками, высекают лишь такие искры противоречия, которые ярче освещают истину, но никогда не зажигают пламени вражды и раздора. Вот почему от создания флота российского между моряками никогда не бывало дуэлей.

Светлой майской ночью эскадра русских военных кораблей, обогнув южную оконечность Швеции, вошла в пролив Эресунн и пошла у берегов Дании.

Тени мрачного прошлого, еще более неясные, но радужные очертания будущего дразнили его, как свист ветра в парусах, шипение и плеск волн за бортом. Сколько впереди дальних плаваний! Он обязательно увидит и ревущий мыс Горн на юге Огненной Земли, и Алеутские острова, и берега Русской Америки! И никакие бури и штормы не страшны ему!

В порту Кале эскадра взяла на борт кораблей войска корпуса генерал-фельдмаршала Воронцова. Как же горячо встретили они наши корабли под Андреевским стягом! Пять лет находились бывалые воины вдали от родины. Особенно поразило Бестужева то, что почти все солдаты научились говорить по-французски. И какие женщины провожали наших усатых солдат, сумевших разгромить Наполеона и покорить сердца француженок! Некоторые из них вышли замуж за русских и ехали на новую родину. Удивление, радость и гордость за наших молодцов овладели Бестужевым. Он не воевал, но возвращался с победителями и понял: никакими наградами не окупить заслуг русского солдата перед Отечеством. И он достоин лучшей доли по возвращении на родину!

Но уже в пути домой Бестужев убедился, как жестоки офицеры со своими солдатами. И когда один из них решил устроить порку солдат, провинившихся по какой-то мелочи, Николай и Мишель Бестужевы пошли к князю Воронцову и под предлогом того, что на корабле дамы, а их общество на обратном пути значительно увеличилось, попросили отменить наказание. Князь выслушал и согласился с ними. Позднее он стал новороссийским и бессарабским генерал-губернатором, наместником Кавказа. Сохранив добрую память о том плавании и о Бестужевых, он пытался помочь их брату Александру...

«Воспоминания – единственный рай, из которого нет изгнания», – говорил Андрей Розен на каторге. В Петропавловской крепости Бестужев не знал этого афоризма, но воспоминания помогали преодолевать тягость заточения и мрачные мысли о будущем.

Отдавая вопросные листы Лилиенанкеру, Бестужев понимал, что его ответы не удовлетворят Следственный комитет и расправы ему не миновать. Мысль о пытках и расстреле постоянно преследовала его в первые дни, и ему казалось, что это от малодушия. Однако позднее он узнал, что об этом же думали и Розен, и Якушкин, и многие другие стойкие узники.

Однажды утром дверь загремела и отворилась необычно громко – в каземат вошел высокий, седой как лунь старец – протоиерей Петропавловского собора отец Стахий. Видимо, решив воздействовать на узника мягкостью и смирением, он молча и значительно смотрел на Бестужева. Сколько страшных тайн узнал он на исповедях отчаявшихся мучеников, сколько слез и мук увидел за долгие годы службы в крепости! Будучи уверен в том, что святой отец пришел причастить его перед смертью, Бестужев встал на колени и сказал:

– Начинайте, батюшка, я готов.

Но отец Стахий попросил его подняться и указал на постель. Не поняв жеста, Бестужев продолжал стоять на коленях, готовый принять благословение, мысленно уже переступив порог вечности.

– Ну, любезный сын мой, – дрожащим от волнения голосом молвил священник, – при допросах ты не хотел говорить. Я открываю тебе путь к сердцу милосердного царя. Этот

путь – чистосердечное признание.

Словно подброшенный неведомой силой, Бестужев вскочил на ноги и с презрением сказал:

– Постыдитесь, святой отец! Как вы, служитель Христовой истины, решились унизиться до постыдной роли шпиона?

Глаза отца Стахия расширились от удивления.

– Так вы не хотите отвечать? – спросил он после паузы.

– Не хочу и не могу! Меня и без вас допрашивали.

– Жалею о тебе, сын мой, жалею...

– Пожалуйста, оставьте меня без вашего сожаления!

Долгое время никто, кроме солдат-инвалидов, обслуживающих узников, не заходил к нему. Сбившись со счета дней, проведенных в каземате, Бестужев начал догадываться о другом роде смерти, предуготовленной ему, о смерти, убивающей не сразу, не вдруг, а постепенно, каждодневно, перемежая свои пытки мучениями души и тела.

Тем и страшно одиночное заточение, что человек, не зная своей дальнейшей судьбы, впадает в полное отчаяние и, не выдерживая духовных и телесных мук, если не сдается на милость судей, начинает сходить с ума или пытается наложить на себя руки.

Немало союзников хотело покончить с собой в те дни. Среди них Анненков, Свистунов. Но удача, если можно так выразиться, сопутствовала лишь Булатову. Последнего выносили из каземата поздно ночью. Шум и возня разбудили весь рavelин. Один из солдат потом сказал, что Булатов будто уморил себя голодом, однако позже выяснилось, что тот разбил себе голову о стену каземата.

На каторге, в Сибири, вспоминая тех, кто лишился рассудка, союзники насчитали более десятка товарищей. Именно одиночное заточение положило начало душевной болезни Андреевича, Николая Бобрищева-Пушкина, Андрея Борисова, Враницкого, Горожанского, Дивова. Позже заболели брат Петр, Торсон, Ентальцев, Фурман Шаховской. В нервических припадках закончил свои дни и умер в Енисейске Якубович.

А Бестужеву помогло участие одного охранника. Придя однажды утром с прибором для мытья и стрижки, он шепнул ему, чтобы Бестужев поставил табурет за углом печи, дескать, там теплее. Став спиной к двери, хотя и без того их не было видно, он подал зеркальце и шепнул:

– Посмотрите, на что вы похожи.

Бестужев глянул и не узнал себя – под глазами темные круги, небритые щеки провалились.

– Ведь вам скучно, – шептал солдат, орудуя ножницами и гребнем, – попросите книг.

– Да разве можно? – удивился Бестужев.

– Другие читают, почему же вам не можно?

Чувствуя жалость и расположение старика, он осмелился спросить, кто сидит рядом, и узнал, что там действительно брат Николай, а далее – Одоевский и Рылеев.

– Не можешь ли ты отнести записку брату?

Солдат помолчал, явно колеблясь, а потом сказал:

– Пожалуй... Но нас за это гоняют сквозь строй.

Что за бесценный русский мужик! Бестужев готов пасть на колени перед нравственным величием этого солдата, не развращенного даже многими годами тюремной службы. И не стал пользоваться его добротой и бескорыстием: зная, что Бестужев ничем не может вознаградить, солдат все же хотел помочь. Когда Бестужев спросил его имя, тот ответил:

– Зачем вам мое имя? Я человек мертвый.

Тогда-то Бестужев и узнал, что никто из охранников не может выходить из рavelина, этой тюрьмы в тюрьме.

На следующее утро Бестужев попросил майора Лилиенанкера принести какую-нибудь книгу. Тот удивленно глянул на него. Сейчас ответит: «Не положено-с». Но Бестужев неожиданно услышал: «Я доложу-с». И вскоре ему принесли девятый том «Истории

Государства Российского». Книгу Карамзина он прочитал еще в 1821 году, как только она вышла в свет, но сейчас он был безмерно рад ей. Судьба словно еще раз решила познакомить его с причудами деспотизма, чтобы приготовить к тому, что его ожидает.

Еще при первом чтении Мишель невольно думал не только о судьбах Отечества, но и о своих предках. Ведь именно Иван Грозный жаловал в 1550 году Андрею Бестужеву поместье под Москвой. А ранее, в 1477 году, Иван III даровал Афанасию Бестужеву описную вотчину в земле новгородской. Не от него ли дошло по наследству имение в Сольцах на Волхове? Этому Мишель и его братья не знали. А самый ранний из известных им предков, Гавриил Бесстуж, жил в начале XV столетия. Один из его сыновей, по прозвищу Рюма, дал начало роду Бестужевых-Рюминых.

Тетка Мишеля Михаил Бестужев был воеводой в полоцком походе 1551 года. Видимо, его деда, Матвея Бестужева направили в 1476 году послом в Золотую Орду. В походе против казанского хана погибли братья Осип и Илларион Бестужевы. Иван Бестужев дважды посылался из Смоленска в стан польский с отказом жителей изменить России и присягнуть Польше. Было это уже в Смутное время.

Потомки Бестужевых жили в Москве, Суздале, Новгороде, Смоленске, Петербурге, верой и правдой служа России. Утратив связи друг с другом, некоторые не знают и не хотят знать о других Бестужевых, особенно сейчас, когда четверо из них здесь, а один – Бестужев-Рюмин на юге приняли участие в восстании против императора.

Недавно Лилиенанкер принес письменный запрос, не находится ли Михаил в свойстве, не знает ли лично или по слухам командира Московского драгунского полка Бестужева? Имя, отчество не указаны, звание тоже. Но явно не меньше полковника, а то и генерал-майора. И наверняка – один из дальних родственников. Позже Мишель узнал, что точно такие же запросы получили в крепости и Николай, Александр, Петр, а дома – матушка и сестры. И все, не сговариваясь, ответили, что никогда не слыхивали о нем.

Этот одноименный, но не гвардейский, а драгунский полк стоял в Твери, и, когда слухи о мятеже дошли туда, обеспокоенный однофамилец поспешил обратиться в Главный штаб с доказательствами непорочности его верноподданнических чувств и отсутствия родства с мятежниками. А чиновники штаба послали запрос.

А вообще, Бестужевы во все времена то и дело оказывались в оппозиции царям. Так, за участие в заговоре против императрицы Елизаветы сослали в Якутск дальнюю родственницу Анну Гавриловну Бестужеву. Брат Александр, позже сосланный туда же, побывал на ее могиле, нашел людей, знавших ее. Они говорили, что гордая графиня, близкая родственница канцлера Бестужева и знатного семейства Ягужинских, достойно доживала свой век, держалась уединенно, так как из-за урезанного при пытках языка с трудом изъяснялась с людьми.

Бестужевых хватало и среди тех, кто подпирали престол, и среди тех, кто боролся против восседавших на нем. И теперь нынешний император никогда не уймёт злобы против ненавистной ему фамилии – ведь братья Бестужевы выступили не только против него, но и против основ российского самодержавия.

«Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства» – такими словами начинал свое повествование Карамзин. «Никто не противоречил: воля царская была законом... Начались казни мнимых изменников...» С содроганием читал Бестужев о зверствах Ивана Грозного в Новгороде, где на протяжении пяти недель ежедневно уничтожались сотни людей.

«Били их, мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, влекли их на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и бросали с моста в воду целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Ратники московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми, секирами: кто из вверженных в реку всплывал, того кололи, рассекали на части...»

Не участвовал ли в этих «подвигах» Андрей Бестужев? Если да, то трупы убитых им людей могли плыть мимо Сольцов, где жили другие предки Бестужевых.

Читая о пытках, убийствах, Бестужев невольно готовился к тому, что его ожидает, но и надеялся, что три века спустя дело до этого не дойдет. Впрочем, кандалы, скудная еда, одиночное заключение – это ли не истязание? А может быть, и книгу, именно этот том, дали специально, чтобы усугубить страдания? И он готовил себя к более страшным пыткам: история деспотизма российского не обольщала его надеждами на гуманность.

О том, как книги попали в крепость, Бестужев узнал только в Чите. Оказывается, их стала присылать дочь плац-майора Подушкина, перезрелая дева, влюбившаяся в Корниловича. Когда тот попросил ее о книгах, она обратилась к родственникам узников, и те завалили ее самыми лучшими изданиями.

Книга Карамзина помогла Бестужеву в изобретении тюремной азбуки. Начертав на ней обугленным концом прутика буквы алфавита, он обозначил их условным количеством одинарных и двойных ударов, попытался перестукиваться с Николаем, но понять систему расположения букв брат никак не мог, пока не пришло письмо матушки.

Вручив его Мишелю, Лилиенанкер вышел в коридор, и оттуда послышалось, как он отворил дверь Николая. Предположив, что текст письма одинаков, Мишель решил использовать его в качестве ключа к разгадке азбуки. Дозволение написать сыновьям матушка получила с условием, что она воздействует на них. И потому она, словно под диктовку генерал-адъютанта, умоляла поверить в милосердие государя, которое будет зависеть от чистосердечного признания. Почти слово в слово – то же, о чем его просили на допросах и о чем говорил отец Стахий. А в конце письма мать сообщала, что государь назначил ей 500 рублей ассигнациями годовой пенсии.

Мишель подошел к стене и зашуршал по ней письмом. Услышав ответный шорох, он начал выстукивать буквы кандалами. Николай отодвинул кровать, видимо, записывая под ней на стене обозначение букв. Слава богу, наконец, понял! В это время ефрейтор растворил дверь и приказал Михаилу прекратить шум. Бестужев объяснил все своим восторгом от милости государя, дозволившего написать матушке письмо сыну. Ефрейтор успокоился, но предупредил, что шуметь все же нельзя, иначе Бестужева упрячут в такое место, где ему будет и вовсе худо. Но как только он вышел, Мишель продолжил выстукивание сначала пальцами, а когда они за болели – той палочкой, которой начертал буквы в книге.

С нетерпением он ожидал сумерек, когда из коридора уходят дежурные и остается лишь часовая. Понял ли, сможет ли теперь брат переговариваться? И когда в темноте раздался еле слышный стук, Мишель замер. Одна за другой прозвучали буквы *з, д, о, р, о, в, о...* Услышав их, он чуть было не закричал от ликования. Понял! Понял наконец!!! «Здоров ли ты?» «Здоров, но закован в железа», – ответил Мишель. После большого перерыва он услышал только два слова: «Я плачу». Слезы радости, счастья выступили и у него – стена пробита! Стена одиночества рухнула! Теперь он не один. Теперь они будут го-во-рить, раз-го-ва-ри-вать!

В ту ночь Мишель не сомкнул глаз. И едва забрезжил рассвет, простучал, просит ли матушка об искренности показаний. Услышав утвердительный ответ, он передал:

– И меня тоже. Значит, это дубликат письма. Мы все, пятеро братьев, куплены по 100 рублей за голову, но это лишь крохи хлеба для матери и сестер. Обещание помилования ценой откровенности – ловушка.

– Я тоже так думаю, – ответил Николай.

– Не знаю, как ты отвечаешь, но я говорю, знать не знаю, ведать не ведаю, и потому не верь, когда будут клеветать на меня...

Разговор, который с глазу на глаз можно было бы провести за минуту, длился полдня. Брат, еще не освоившись с азбукой, то и дело отрывался, отодвигал кровать, чтобы посмотреть значение букв, записанных на стене. Но впоследствии они, сократив целый ряд букв, упростили азбуку и стали «говорить» гораздо быстрее. А в Шлиссельбургской крепости спокойно «разговаривали» через шесть казематов, находившихся между ними, при открытых окнах через двор, постукивая палочкой по железной решетке.

Бестужев не мог точно сказать, когда его вызвали на новый допрос – счет дням был

потерян, но случилось это вскоре после письма матушки. Он уж дремал после ужина – куска хлеба и кружки невской воды, – как дверь отворилась, ему внесли одежду и шубу, отомкнули все четыре замка кандалов и, облачив в одежду, снова замкнули железа. Потом завязали глаза платком, вывели на улицу и усадили в сани.

До чего же чист и свеж морозный воздух! С удовольствием вдыхая его и слушая глухой стук копыт и скрип полозьев по снегу, он почувствовал, как у него закружилась голова. Путь оказался недолгим. Судя по расстоянию, его привезли в комендантский дом, ввели в двери, сняли шубу, провели в глубь коридора и посадили на стул за ширмой, которую он увидел из-под платка краешком глаза.

Здесь тепло, уютно. Стук ложек, вилок о тарелки, запах вкусной еды, негромкие переговоры, даже смех. Некоторые голоса знакомы, один – Левашова, другой – великого князя Михаила. Куда он попал? Что за царский ужин? Обостренное от голода обоняние уловило запахи рыбы, жареного мяса, лука, ароматы душистого чая и хорошего турецкого табака. От всего этого он снова почувствовал головокружение и едва не упал со стула, но солдаты, стоящие рядом, поддержали его.

«Что все это значит? Один из видов пытки?» Минут десять сидел он, но они показались вечностью, И такая злость закипела в нем, что он еле сдержался, чтобы не грохнуть цепями о ширму. Наконец ужин закончился. Сотрапезники удалились, вскоре солдаты взяли его под руки и повели через комнату, где еще витали запахи неубранных блюд, провели через другую комнату, где скрипело множество перьев, к он оказался в просторной ярко освещенной зале. С Бестужева сняли повязку, он зажмурился от света свечей в люстрах и лишь потом увидел перед собой большой стол, покрытый красным сукном, за которым восседал военный министр Татищев, справа от него сидели великий князь Михаил, затем Дибич, Голенищев-Кутузов, Бенкендорф, а напротив них – Голицын, Чернышев, Левашов, Потапов. Чуть в сторонке за отдельным столом – делопроизводитель Ивановский. Вид у многих усталый, сонный, видно, разомлели после сытного ужина.

Голенищев-Кутузов дремал. Похоже, переел. Назначенный после гибели Милорадовича военным генерал-губернатором Петербурга, он оказался среди вершителей судеб мятежников. Парадокс был в том, что он обвинял их в покушении на жизнь царя, а сам участвовал в убийстве Павла I. И когда Голенищев-Кутузов спросил Николая Бестужева, как тот мог решиться на такое гнусное преступление, Николай хладнокровно ответил: «Я удивляюсь, что это говорите мне вы!»

Из всех членов Следственного комитета Мишель уважал лишь Голицына, который вступился за Кондрата когда после публикации стихотворения «К временщику» Аракчеев хотел расправиться с дерзким автором, осмелившимся высмеять его, грозного фаворита. Рылеева удалось отстоять, но Голицына Александр I по просьбе Аракчеева сместил с поста министра народного просвещения. Однако сейчас он снова «на коне».

Остальные члены Комитета – тоже бывалые государственные мужи, с густыми генеральскими эполетами, начальник Главного штаба Дибич – генерал-адъютант.

Самому старому, Татищеву, шестьдесят четыре года, а самый молодой – великий князь Михаил, всего на два года старше Мишеля. Он бодр, свеж, и пока Татищев, готовясь к допросу, перебирал бумаги, великий князь вперил в Бестужева сверлящий недобрый взгляд. Но нет, далеко ему до братца – более злобен, но мелкотравчат. Чувствуя на себе взгляды других членов Комитета, Бестужев, однако, не отрывал глаз от великого князя, и тот не выдержал, отвернулся. «Так-то вот! Уж если я не дрогнул перед твоим братом императором, то перед тобой и подавно!» – подумал Бестужев.

– Когда и кем вы были приняты в тайное общество? – послышался голос Татищева. Бестужев начал было говорить о Чернове, но великий князь перебил его, сказав, что им известно, когда и кем принят он, и они спрашивают лишь для того, чтобы убедиться в чистосердечии Бестужева. Мгновенно прикинув, что вряд ли кто мог сказать об этом, кроме самого Торсона, он назвал его.

– Наконец-то, – удовлетворенно сказах! Чернышев. – Только зачем было ссылаться на



покойного Чернова?

– Единственно для того, чтобы не погубить Торсона, у которого на попечении мать-старушка и сестра.

– Почему вы отказались от исповеди? – спросил Татищев.

– Как, он не пустил к себе священника? – очнулся от дремы Голенищев-Кутузов.

– Пустил, пустил, – успокоил его Голицын.

– Речь шла не об исповеди, – ответил Бестужев. – Нельзя же путать божье с...

Он не успел подобрать нужное слово, а то бы сказал что-нибудь излишне резкое, но, к счастью, его перебил Голенищев-Кутузов.

– Смотрю на него и думаю, верит ли он в бога, есть ли хоть что-то святое в его душе?

«Господи милосердный! – вздохнул про себя Бестужев. – И кто говорит о святости?»  
Чтобы дело снова не дошло до конфуза, Татищев поспешил задать новый вопрос.

– В чем заключалась цель общества? Как вас вовлекли в оное?

– Цель – введение конституции. Вовлекли же меня тем, что государство приходит в упадок и что истинно любящие свое отечество должны воспротивиться этому.

– Подумать только – «истинно любящие отечество», – передразнил Левашов. – Кого еще из любящих отечество вы можете назвать?

– Из членов общества я знаю лишь Рылеева, Торсона и брата Александра.

– А Николай и Петр? – спросил Потапов. – Неужто вы не знали, что они в обществе?

– Я вижу, он ничуть не раскаивается, – вздохнул великий князь, – на него даже не подействовали слова матери, которой мы дозволили написать ему. А вот ваш брат Александр ведет себя благоразумнее. И за это с него сняли железа.

– Ну хорошо, – вступил Дибич, – через кого связывалось ваше общество с прочими заговорщиками как внутри России и в Польше, так и в государствах иностранных?

– Сие мне положительно неизвестно. Я не имел к себе полного доверия, и от меня таились...

Во взгляде Голицына мелькнуло нечто вроде одобрения – вот так, мол, и продолжай.

– Когда и где вы узнали о решении произвести возмущение?

– Тринадцатого декабря ввечеру на квартире Рылеева, где положено было не принимать новой присяги, – отвечал Бестужев, уверенный в том, что это уже известно Комитету.

– Какие обязанности были возложены непосредственно на вас?

– Сообщить солдатам моей роты о ложности новой присяги.

– Но вышел-то весь полк! – вскричал великий князь.

Допрос был перекрестный. Вопросы сыпались со всех сторон, ответы то и дело перебивались ехидными репликами, грозными окриками. Какое самообладание надо иметь, чтобы не растеряться, когда тебя выводят из равновесия, не дают времени на обдумывание, сбивают с мысли!

Более часа стоял Бестужев на допросе. Голова шла кругом от невероятного напряжения физических и душевных сил, пот лил по щекам, ноги подкашивались от усталости. И Бестужев боялся, как бы не лишиться чувств и не упасть и тем доставить удовольствие инквизиторам.

Когда его везли в рavelин, он хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на сушу. Студеный ветер, поднявший поземку, немного освежил его, но в рavelин без помощи солдат он не вошел бы. Лилиенанкер встретил его по обыкновению молча, но на лице старика появилась какая-то озабоченность – настолько плохо выглядел Бестужев. И комендант распорядился принести ему кружку холодной воды.

Едва Бестужева раздели, он рухнул на постель, совершенно разбитый, опустошенный. И через некоторое время услышал стук Николая. Мишель ответил, что его водили на допрос. Брат понял все и не стал более беспокоить его – по себе знал, каково бывает после этого.

Впадая в тяжелую дрему, Мишель невольно видел перед собой лица членов Следственного комитета. «God damn your eyes!» – прошептал он. Вспоминая все, он вдруг

отметил, что лишь Бенкендорф не задал ни одного вопроса, не обронил ни одной реплики. Более того, порой в его глазах появлялось нечто вроде сочувствия и даже уважения к Бестужеву, а когда кто-то, теряя власть над собой, выходил из себя и начинал кричать, он, как и Голицын, словно испытывал неловкость за глумление над беззащитным, закованным в цепи человеком.

Так это было или Мишелю просто показалось, но впоследствии, когда матушка и сестры обращались к Бенкендорфу, тот, испытывая уважение и сострадание к их семейству, старался делать все, что было возможно. Но сделал все же очень и очень мало – слишком велика была ненависть царя и великого князя к братьям Бестужевым.

На другой день после допроса в каземате появился новый священник – более рослый, чем отец Стахий, протоиерей Казанского собора Мысловский. В обхождении оказался более тонким, изощренным. Подойдя к Бестужеву, он неожиданно обнял его, но, почувствовав, как его мягко, но непреклонно отстраняют, отошел и сказал:

– Вы переносите свое положение достойно. Именно так страдали первые отцы и апостолы христианской церкви.

С изумлением увидев в его глазах слезы, Бестужев не совсем деликатно спросил, что случилось с отцом Стахией. Мысловский ответил, что узников много и тот не успеваает «беседовать» с ними. Заметив усмешку Бестужева, Мысловский сказал:

– Я явился не для того, чтобы выведать что-либо, а для успокоения вашей души. Не смотрите на меня как на посредника правительства. Конечно, я пришел не без ведома властей, но в вашем положении мое посещение может оказаться нелишним...

– Что вам угодно, батюшка? – прервал его Бестужев.

– Ваше упорство в нежелании раскаяться огорчает нас, – откровенно признался Мысловский. – Но еще раз повторяю: не думайте, что я шпион, не обращайтесь внимания на мой сан, говорите со мной не как со священником, а как с простым человеком.

«Какой же ему прок от этого? – подумал Бестужев. – Нет, он явился неспроста». Словно прочитав его мысли, Мысловский сказал, что исполняет христианский долг сострадания и помощи заблудшим. Однако, убедившись в том, что Бестужев заблудшим себя не считает и раскаяния от него не добьешься, Мысловский ушел и больше не приходил к нему.

Позднее Бестужев ясно понял, что подобные визиты священников, письма родных, добрые и недобрые вести – все это использовалось наряду с кандалами и голодом только для того, чтобы воздействовать на узников. И надо сказать, кое-кто поддавался на уловки Следственного комитета, четко исполнявшего приказание государя и высших сановников.

Вскоре после визита Мысловского опять поступили вопросные листы, в которых почти полностью повторялось все, о чем шла речь на допросе. Бестужев ответил на них еще более кратко, чем перед членами Следственного комитета. После этого его не беспокоили до самой весны, когда их начали выводить во внутренний дворик рavelина.

Выйдя туда в первый раз, Бестужев, как зверь в загоне, начал ходить по узкому треугольному пространству, пока от кандалов не заболели ноги. А потом он сел на узкую деревянную лавку. Солдат-цирюльник лег на траву и задремал, положив под голову руку с ключами, а вскоре даже всхрапнул, выронив их на землю. Бестужев, подойдя ближе, спокойно мог забрать ключи, но какой толк – с их помощью можно попасть лишь в коридор рavelина, где постоянно прохаживаются несколько часовых. Когда солдат проснулся, Бестужев спросил, что это за крест на холмике в углу. Никакой надписи на нем не было.

– Да царевна какая-то похоронена. Еще в молодости, как токо попал сюда, один старик, тоже теперь покойный, говорил, будто она убежала из Петербурга и жила за морем, но ее изловили, привезли сюда. В наводнение арестантов вывели, а про нее забыли. Так и утонула в каземате. Вода, эвон, до верхнего карниза доходила, – показал он. – Похоронили ее тут и крест поставили. Как сгниет, упадет, мы новый ставим и молимся за упокой ее души. Уж при мне токо три раза меняли...

Бестужев подумал, что это, вероятно, княжна Тараканова, которая вроде бы утонула

здесь в 1777 году. Воспользовавшись тем, что охранник разговорился, он спросил, что за англичанин сидел в его каземате.

– Кто же его знает? По-русски не говорил, а сидел тут уж и не упомню сколько лет. Да три года назад, от скуки, видать, и помер. Последнее время все спал и спал, а однажды лег и не проснулся. Я вошел, а он не дышит...

Кого же он проклинал? Александра I или Аракчеева? А может, Павла I или даже Екатерину II? О тайны государевы! Велики вы есть! Как бы и мне тут не «уснуть от скуки».

– Здоров ли Рылеев?

– Здоров, но грустит. Бледный такой.

– Видно, кормят, как меня, хлебом и водой?

– Что вы, ваше высокоблагородие! – удивительно, но солдат обратился именно так. – Четыре-пять блюд да вино красное.

– Отчего же он грустен?

– Уж больно бумагами и допросами мучают...

Попросив брата Николая обучить азбуке Одоевского, Мишель хотел связаться через него с Рылеевым, но Саша, находясь на грани безумия, в ответ на вызовы начинал бессмысленно стучать руками и ногами, прыгать через стул, пока к нему не врывались солдаты. Лишь позже выяснилось, что он не мог освоить тюремную азбуку, так как владея французским лучше родного, не знал русского алфавита по порядку!

Мишелю так и не удалось повидать Рылеева. А вот Николай случайно увидел его, когда солдат, вынося посуду из его каземата, распахнул дверь, а в это время Рылеева вели по коридору. Оттолкнув солдата, Николай выскочил в коридор, они бросились друг к другу, обнялись, но солдаты и часовые тут же развели их.

После пасхи письменные и устные допросы, очные ставки участились. Особенно тяжелы для узников были очные ставки, которые назначались при различии в показаниях, и кому-то невольно приходилось уличать и порой усугублять вину товарищей. Однако Мишель строил ответы так, что не оговорил, не отягчил вину ни одного из большого круга людей, которые пострадали бы, окажись он менее твердым духом.

Лишь единожды его свели на очную ставку с Щепиным-Ростовским, который заявил Следственному комитету, что утром тринадцатого декабря, несмотря на действительное отречение Константина, Бестужев требовал говорить солдатам, что оно ложно, дабы вывести солдат на площадь. Мишелю пришлось подтвердить свои слова, но Щепин заверил Комитет, что целью ставилось лишь возведение на престол Константина без намерения убивать Николая Павловича.

Делопроизводитель записал в протоколе заседания: «Положили: принять в соображение», и Бестужева отправили в каземат. А многих других буквально измучили очными ставками. Особенно досталось Рылееву, Пестелю, Муравьеву-Апостолу, Трубецкому. В коридоре Алексеевского рavelина ночами то и дело скрежетали замки, скрипели двери казематов, звенели цепи. Но в железа были закованы лишь семнадцать из ста двадцати с лишним узников. Особой «милости» удостоились только те, кто держался наиболее стойко и упорно.

Почти пять месяцев прошло с тех пор, как на Бестужева надели железа, а сняли лишь в последний день апреля. Первое время он терял равновесие и ходил с трудом, настолько привык к кандалам. Но кожа под ними, бледно-синяя, опрелая, зудела и саднила так, что он расчесал ее. Струпья и раны, образовавшиеся от этого, с трудом залечил тюремный лекарь.

Двенадцатого июля, в день объявления сентенции, Бестужев еще был с перевязанными руками. Грязно-серые повязки нелепыми обшлагами торчали из-под рукавов старого сюртука. Изможденные долгим заточением и разлукой, узники радостно обнимали, целовали друг друга. Когда в комнату ввели брата Николая, Мишель бросился к нему, а тот отпрянул в недоумении и, лишь в последний момент узнав его, задыхаясь от слез, сжал в объятиях своего непонятно во что одетого, до неузнаваемости исхудавшего брата.

– Прости, Мишель, прости, дорогой, – еле слышно прошептал он дрожащими губами.

## СЕНТЕНЦИЯ

Дав Бестужеву дочитать книгу Корфа, Казакевич через три дня прислал за ним яхту. Спустившись с Шершневым к Амуру, Бестужев увидел, что по воде плывут льдины. Тучи над рекой низкие, тяжелые, вот-вот снова повалит снег.

– Шуга пошла, – заметил Шершневу, – но, слава богу, ветер попутный.

Подняв паруса, они отчалили от берега. Шершневу встал за штурвал и посоветовал Бестужеву спуститься в каюту к солдатам, чего, мол, мерзнуть на ветру. Но Бестужев отказался уходить и попросил штурвал.

Видя, с каким удовольствием и умением Бестужев ведет яхту, Шершневу думал, что, сколько бы лет ни прошло, истинный моряк своего дела не забудет, а вслух сказал, что он почему-то не помнит Бестужева среди тех, над кем шпаги ломали. Тот удивленно глянул на Шершневу и, сказав, что тогда он уже перешел в гвардию, спросил, неужто Эмиль был при исполнении сентенции над моряками.

– А как же! Вечером двенадцатого июля подошли на катерах к Петропавловской крепости, а оттуда по трапу начали вводить офицеров. Смотрю, баттюшки! – все знакомы: братья Бодиски, Беляевы, Торсон, Кюхельбекер, а последним ваш брат Николай Александрович. Увидел меня, узнал, подмигнул, я тут же ему – честь, забылся совсем. Он усмехнулся, кивнул на караульных, опомнись, мол. Но те сделали вид, что не заметили. Опосля он разговаривал с имя как ни в чем не бывало. А были среди сопровождающих Михаил Николаевич Лермонтов, еще кто-то да статский один, странный такой, юркий, вертлявый, нос картошкой. Так он все перед Николаем Александровичем заискивал, будто не брат ваш, а он – арестант.

– Это Греч был, – усмехнулся Бестужев, – журналист.

– Может, и журналист, а для них – как банный лист. Так и липнул, и слова такие говорил – в пору над ним, а не над офицерами шпагу ломать...

Когда речь зашла о Грече, Бестужев вспомнил, как по возвращении из плавания 1817 года они посещали литературные салоны Петербурга. Стали бывать на ужинах у князя Шаховского, литератора Сомова, жившего в доме Российско-Американской компании, и у Булгарина.

Очень уважая Николая и Александра Бестужевых, Греч относился к Мишелю по-прежнему как к семнадцатилетнему юнцу – снисходительно-пренебрежительно. Потом мнение старших братьев о Грече и Булгарине изменилось. Саша предупредил Мишеля о том, что Николай Иванович и Фаддей Венедиктович не такие уж либералы, какими рисуются, и с ними надо быть поосторожнее. И когда незадолго перед восстанием Греч пригласил к себе и стал расспрашивать Мишеля о тайном обществе, он ответил:

– Вы не сыщик, я – не доносчик. Но если я ошибаюсь в первом, поверьте, я не Иуда и ни за какое золото-серебро не продам никого.

Греч решил перевести все в шутку, чего, мол, так горячиться, ведь старшие братья с ним не хитрят.

– А, так вы шпион? Прощайте! Больше я вас не знаю! – и ушел, не подав руки.

Однако Греч, как и Булгарин, умел глотать пилюли и, к удивлению, начал писать записки Бестужевым в крепость, чем окончательно выдал себя.

– А Николай Александрович был на диво веселый, бодрый, – продолжал рассказывать Шершневу, – я, говорит, заслужил смерть и ожидал ее. Теперь же все время, что я проживу, будет подарком. Но вот кого мне жаль, говорит, так этих бедных юношей. И показал на спящих мичманов – они не знали, на что шли... У Кронштадта к «Князю Владимиру» подходим. Гляжу, флаг черный на мачте, будто пиратский, токо костей нет. И так тошно, муторно сделалось! Подняли офицеров на борт, а меня в трюм услали шпаги подпиливать. Сидим там, наждаками поперек водим, а звук противный такой – естества в нем нет. То ли дело острие править, а тут – поперек. На сентенцию Николая Александровича первым

вызвали, поднялся он по трапу, поклонился комиссии, учтиво так, но с достоинством. Зачитали приговор и приказали: «Сорвать с него мундир!» Два матроса подбежали к нему, но он так глянул на них, что те остолбенели. Потом снял мундир, сложил аккуратно, даже как-то бережно, положил на скамью и встал на колени...

Тут Шершневу почему-то прервал рассказ, оглядел палубу и, увидев тонкую палочку, взял, переломил ее пополам, подправил кортиком, поставил перед собой пустой ящик. Бестужев с интересом смотрел, что задумал Эмиль. А он замер с палочками в руках, словно припоминая что-то, потом кивнул сам себе, закрыл глаза и ударил палочками в ящик.

– Трон-трон, тронь-тронь...

Бестужев поразился, узнав барабанную дробь, под которую ломали шпаги и над ними в Петропавловской крепости. И перед его глазами встала картина другого адского карнавала – и шествие осужденных мимо виселицы с пятью петлями на Кронверкской куртине, и чтение приговора, и обрывание аксельбантов, эполет, орденов, и хруст ломающихся шпаг...

В приговоре его удивило разделение осужденных по разрядам: как это Щепин-Ростовский, Якубович, Вильгельм Кюхельбекер, Оболенский, Пушин, Трубецкой, Панов, Сутгоф и другие оказались в первом разряде, а он, Бестужев, которого сам царь назвал главным зачинщиком возмущения, оказался во втором, вместе с Анненковым, Свистуновым, Торсоном, которые не были на площади? Лишь потом он понял, что этому способствовала его позиция во время следствия: «Знать не знаю», «От меня таились». Так он создал впечатление о себе как о бездумном юнце, который хоть и начал восстание, но не ведал, что творил. Однако при конфирмации лишь ему, его брату Николаю и еще нескольким узникам царь не снизил наказания, и они уравнились с осужденными по первому разряду.

То ли от волнения, то ли от того, что шпагу подпилили слабо, фурлейт, стоявший над Якушкиным, не смог совладать с ней и ударил шпагой о голову наказуемого, в кровь разбив ее. Чуть легче, не до крови, шпага поранила и Бестужева.

Как и тогда, он невольно схватился за голову, А Шершневу, уйдя в прошлое, продолжал бить дробь.

– Трон-трон, тронь-тронь...

Услышав непонятные, тревожные звуки, солдат высунулся из каюты и обомлел: Шершневу бил палочками по ящику, а Бестужев держался обеими руками за голову. И оба с закрытыми глазами.

– О, господи! – перекрестился солдат и, увидев, что яхта потеряла управление, бросился к штурвалу. Только услышав топот его сапог, Бестужев и Шершневу разом очнулись, посмотрели на него, потом друг на друга и... рассмеялись. Недоуменно глядя на них, солдат тоже засмеялся, но тревога в его глазах продолжала смешить двух только что вернувшихся из прошлого. – А здорово ты изобразил дробь. Точь-в-точь!

## ГИБЕЛЬ КОРАБЛЯ

Когда Амур покрылся льдом, рыбаки сообщили о гибели какого-то корабля. Парусное судно было выброшено во время шторма на отмель недалеко от устья. Судя по всему, это был «Камчадал». Казакевич распорядился выслать комиссию во главе с капитан-лейтенантом Болтиным и полицмейстером Матвиевским. Бестужев решил поехать с ними, хотя адмирал отговаривал: стоит ли мучиться, да и время опасное – может задуть пурга. Видя настойчивость Бестужева, Казакевич разрешил поездку, попросив Шершневу присмотреть за ним.

Выехав на собачьих упряжках, члены комиссии прибыли на мыс Пуир через два дня. Заночевав в гилияцком чуме, они утром поднялись затемно и направились к месту гибели корабля. Примерно через час гилияк Позвейн, ехавший на передних нартах, приподнялся на ходу и показал вперед. Сквозь пелену поземки среди камней виднелось нечто округлое, как большой камень. Это был корабль.

Подъехав ближе, люди обошли его. Опрокинутый на правый борт, он вмерз в лед.

Мачта поломана, снасти и паруса обрезаны, руль вышиблен из петель и, еле держась, покачивался на ветру, издавая скребущий душу звук. Палуба прорублена в трех местах, из одного пролома видна босая нога замерзшего человека.

– Какой-то китобой тут были, – пояснил Позвейн.

– Не по-людски это, – вздохнул Шершнев, – мертвых раздевать. И паруса сняли, якорь обрубали.

– Ну что, надо лезть, – сказал Болтин.

Матросы замялись, один из них мелко перекрестился и полез в пролом. За ним еще трое. Приняв от них труп босоногого, полицмейстер Матвиевский очистил лицо от снега и сказал:

– Это Колчин. Следов насильственной смерти нет.

Затем вынесли матросов Илишенко, Куртышева, боцмана Серова и его жену.

– Зря пошла в море, – сказал Шершнев, – баба на корабле – быть беде.

Вынося одного за другим, матросы с трудом узнавали товарищей, запорошенных снегом, а то и покрытых льдом. Замерзшие в самых разных позах, кто лежа, поджав ноги, кто сидя, люди выглядели неестественно и страшно. Бестужев помогал складывать трупы, потом сам полез в трюм. Трухлявые шпангоуты и киль покрыты замерзшей плесенью и слизью, краска превратилась в коросту. Даже иней и лед не могли сковать тяжелый, гнилостный запах прокисшего в сырости, прогнившего дерева.

Как это корыто держалось на плаву? Боль и стыд охватили Бестужева за то, что на таких кораблях наши моряки ходят на Дальний Восток и к берегам Русской Америки.

В это время послышался какой-то шорох. «Неужто кто живой?» – удивился он, увидя в углу нечто шевелящееся. Протянул руку, но тут же отдернул ее: большая крыса метнулась от него. Когда она пробежала по светлому месту, он увидел ее – толстую, сивую, такую же, какие завелись на их баржах.

– Ах, мразь! – схватив обломок доски, Бестужев начал бить им, но промахивался. Потом откуда-то появилась еще одна. Крысы метались в узком проеме на льду и, так как деться было некуда, стали бросаться на стены и на человека. Наконец ему удалось зашибить одну из них, а другая сама попала под ногу. Раздавлив ее, он передернулся от омерзения. Несколько трупов, вытащенных из глубины носовой части, были с обгрызенными носами и ушами.

– И родным-то показать грех, – сказал Болтин.

– Люди погибли, а эти твари живы да еще людей безобразят, – пробурчал Шершнев и выругался.

Вытащив двенадцать человек, матросы вылезли наружу.

– Но в экипаже было четырнадцать, – сказал Матвиевский, – Алексеева и Кузьмина нет.

– Все обшарили. Может, в море погибли?

– А в кормовом трюме смотрели?

Застучали топоры, затрещали доски. Капитана Алексеева нашли там лежащим с подогнутыми ногами. Руки спрятаны под шерстяной шалью, которую он не хотел брать у матери.

– Не помогла шаль, – вздохнул Бестужев.

– А Кузьмина тут нет, – крикнули из трюма.

В это время собаки одной из упряжек, которых упустил каюр, устроили возню у берега. Вожак что-то грыз, то и дело урча и бросаясь на других собак, лезущих к какой-то добыче.

– Погляди-ка, что там? – приказал Болтин молоденькому матросу. Тот побежал туда, разогнал собак и, едва успев крикнуть, что это Кузьмин, отвернулся, упал на колени, корчась в рвотных судорогах. Занесенный снегом, но разрытый и полурастерзанный труп был ужасен.

– Ох, бедолага! – вздохнул Шершнев, – видать, пошел на берег, да закружил в пурге.

Едва санный поезд из собачьих упряжек выехал из Пуира, задула пурга. С трудом добравшись до ближайшего стойбища у Озерпаха, люди остановились там. Дни и ночи

пришлось дежурить у саней, отгоняя от них своих и местных собак, которые лезли к погибшим. Лишь через неделю траурный поезд прибыл в Николаевск.

## ОГНЕВИЦА

Жестоко простыв в пути, Бестужев на похоронах не был. Дни болезни смешались в сознании, наполняясь то явью, то бредом. Далекie картины детства и службы переплетались с недавно пережитым.

Огромный трехмачтовый корабль с белоснежными парусами, рядами пушек вдоль бортов выходит на Кронштадтский рейд. Звучит полонез Алябьева. Прекрасны торжественные аккорды. Оркестранты один к одному – высокие, красивые. Чей-то величавый голос слышится сквозь шум толпы и музыку:

– Корабль по величине корпуса и огромности вооружения своего изумляет взоры наши... Сие огромное здание повинуется руке слабого человека, борется с бурями и терпит ужасное истязание, дабы сохранить жизнь и покой своих повелителей...

Сотни людей вдоль пирса приветствуют корабль. «Сюда, Мишель!» – зовет тринадцатилетний Саша, а Мишель в бескозырке и матроске, его только что приняли в Морской корпус, и он очень гордится этим. Рядом стоит Николай в черном мундире с эполетами, отдает честь адмиралам, чинно кланяется дамам. Но чей же это голос?

– Все корабли требуют внимания в усовершенствовании... Русские моряки несут с собой честь и славу нашего флага, защищают отечество, крейсируют у дальних берегов и, не разбирая времени года, борются с бурями...

Да как же он не узнал сразу? Это же Константин Торсон! Он читает доклад в Адмиралтействе о реорганизации флота.

– Никогда еще со времен Петра русский флот не был в столь плачевном состоянии... Экипажи нельзя отлучать на зиму от кораблей. Надо избавить моряков от муштры и шагистики...

Морской министр маркиз де Траверсе слушает, явно скучая.

– Нельзя строить корабли из сырого леса... Надо уменьшить на них рангоут и такелаж... Для отопления трюмов нужны более малые, но жаркие печи...

– Да, холодно, – говорит Траверсе, – затопите печи!

Накинув на плечи серую шубу, маркиз встряхивает седой головой и превращается в крысу. Все на месте – эполеты, аксельбанты, ордена на шее и на лентах, но шея покрыта шерстью, а морда – в грязно-сером пуху.

– Наши корабли мало бывают в море, – продолжает Торсон. – Корабли гниют на якорях...

– Верно! – восклицает капитан-командор Головнин. – Наши корабли подобны распутным девкам, которые набелены снаружи, но сгнивают внутри от болезней!

– Прекратить! – визжит крыса и вскакивает, готовясь к прыжку. Адъютант маркиза бросается к кафедре, по-собачьи скаля зубы, и начинает лаять.

– Цыц, Борзя! – слышится голос Шершнева. – Кто там?

– Это я, – отвечает Елизавета с улицы.

– Заходи скорее, выстудишь тепло.

– Как Михаил Александрович?

– Все мается, бредит, бедняга...

Услышав это, Бестужев снова впал в горячее забытие.

– Успокойтесь, пожалуйста, – наклонилась Елизавета, прикладывая к его лбу мокрую тряпку.

– А, это ты, Анета... Исполни нашу мелодию...

Елизавета растерянно глянула на Шершнева, тот подал ей гитару и шепнул, чтобы сыграла что-нибудь. Она взяла ее и стала подбирать мелодию, которую слышала от Бестужева в ту ночь, когда была у него.

– Какая мелодия!.. Всякий раз, слыша ее, вспоминаю тебя. Ты же любила меня? Где ты сейчас? Я ведь ничего не знаю...

– Когда загремели пушки, я узнала, что ты на площади, и умерла...

– Анета, прости... Но отчего же мы говорим сейчас?

– Ты приближаешься ко мне.

– Я при смерти?

– Не знаю, но мне так хочется увидеть тебя!

– Но я не хочу умирать! – эти слова он произнес вслух и открыл глаза.

– Господь с вами! – сказала Елизавета.

– Что со мной, где я? – спросил он, разглядев ее и Эмиля.

– У вас огневица – второй день без памяти... А сейчас вы в новом доме Петра Васильевича. Видите, как здесь тепло, уютно. Скоро вы поправитесь...

Через несколько дней, когда Бестужеву стало лучше, он рассказал о своих странных видениях. А Шершневу сказал, что из Петербурга пришло известие о гибели русского военного корабля «Лефорт», который шел из Ревеля в Кронштадт, и вот на этом коротком, в сутки, переходе, десятого сентября корабль неожиданно перевернулся и стал могилой восьмисот двадцати шести человек, из которых семьдесят – женщины и дети.

Услышав это, Бестужев с горечью подумал, что, к великому сожалению, ничего загадочного и непонятного тут нет. Гибель «Камчадала» здесь и катастрофа «Лефорта» на Балтике – результат плачевного состояния флота России, до которого довели его придворные крысы Адмиралтейства.

Сколько предупреждали о бедах флота Головин, Торсон и другие, сколько говорили о том же на следствии моряки-декабристы! Но глухи к ним оказались и горе-флотоводцы, и государи Александр и Николай. Морскими министрами, словно в насмешку над здравым смыслом, назначались самые непригодные для этого люди.

## НОВОСЕЛЬЕ

– Предупреждал ведь, не езжайте, – увещевал Казакевич.

– Ничего страшного, – отвечал Бестужев. – Грешно быть в нескольких милях от Тихого океана и не увидеть его.

– И то верно, другого случая могло не быть. Но слава богу, болезнь прошла. Сегодня отпразднуем и выздоровление, и новоселье. Кстати, вы еще не видели моих хором, идемте...

Пройдя в кабинет адмирала, Бестужев поразился его роскоши. Пол затянут сукном и покрыт ковром. Стены в шпалерах и зеркалах. Окна завешены шелковыми шторами, на дверях – бархатные портьеры. Массивные дверные ручки обвиты золотом. Большой письменный стол и кресла – красного дерева. Огромная зала за кабинетом устлана коврами, заставлена диванами и ломберными столиками вдоль стен. С потолка свисали люстры с хрустальными подвесками и позолоченными подсвечниками. На стенах – большие картины с изображениями морских баталий.

– Обстановка царская, – покачал головой Бестужев.

– А так и есть, – довольно сказал Казакевич. – Все ведь с фрегата «Паллада», который был в ведении великого князя Константина Николаевича. Мебель работы знаменитого Тура, картины – кисти Михаила Тиханова и Алексея Боголюбова.

– Можно представить, как выглядел сам фрегат.

– Один из лучших кораблей не только по роскоши, но и по мореходным качествам. В этом убедились и Нахимов, его первый капитан, и Путятин.

– Именно таким и должен быть корабль посла России, – сказал Бестужев. – Как, наверное, поражались японцы.

– Говорили, один из них решил осмотреть, разведать и то, что им не показали. Отстал от всех, но заблудился в переходах, коридорах, палубах, не мог выйти.

Когда его нашли, он плакал, боясь наказания, но его успокоили, вывели, а на прощание



одарили.

– Не поторопились ли уничтожить «Палладу»?

– Пожалуй, да. Но тогда трудно было ручаться за то, что неприятель не захватит корабль.

– Жаль, такой красавец – и на дне! Я вот побывал в трюме «Камчадала» – грустно, тяжело. И заболел не столь от простуды, сколь от огорчения за флот.

– Говорил как-то с Путятиним, и он так возмущался состоянием флота! – Видя изумление Бестужева, Казакевич сказал: – Ефим Васильевич не так прост. И знаете, что он говорил? Прогнили не только корабли, но и руководство флота... При кажущейся прямолинейности Путятин умен, гибок, настойчив в достижении цели. Главное же, что делает ему честь, – убеждение в том, что отсталость нашу можно преодолеть сотрудничеством с другими державами и народами, причем не только сильными, но и с такими, как Япония, Китай. И то, что сделал и делает для них, они со временем оценят.

– Японцы уже оценили пользу договора с Россией.

– Верно. Когда погибла «Диана» и путятинцы стали строить шхуну «Хеда», японцы следили за строительством ее и построили в соседней бухте точно такую же, но, правда, не смогли спустить на воду – сооружали без стапелей. Они очень переимчивы, ловко схватывают все новое.

– Муравьев даже беспокоится, – заметил Бестужев, – не слишком ли старается Путятин? Лучше, мол, поучиться самим, чтобы со временем не отстать от них.

– Мне кажется, Путятин смотрит на вещи шире Муравьева. Нельзя исходить во взаимоотношениях с другими народами только из своей выгоды. Начнем выгадывать, и нам станут платить тем же. Именно открытая, честная позиция Путятина и подкупила японцев...

В залу вошли женщины с тарелками. Увидев среди них Елизавету, Казакевич кивнул ей, она смутилась и, еле ответив кивком, принялась накрывать на стол. В дверях показался Эмиль с табуретом в одной руке и с горящей лучиной в другой. Когда он зажег свечи в люстрах и канделябрах, в зале стало светлей и уютней.

Немного погодя начали съезжаться гости. Большинство знакомы Бестужеву – Болтин, Бабкин, Баснин, Ванин, Шефнер. Они направлялись к адмиралу, стоявшему в окружении офицеров. Казакевич, отвечая на приветствия, представлял Бестужеву тех, кого он не знал. Так он познакомился с одним из участников экспедиции Невельского штабс-капитаном Дмитрием Орловым.

## **ДМИТРИЙ ОРЛОВ**

Седовласый, с коротко стриженной рыжеватой бородкой, Дмитрий Иванович выглядел старше Бестужева, хотя был гораздо моложе. Морщинистое, обветренное лицо, мощные жилистые руки и удивительно добрые голубые глаза. За столом они оказались рядом и весь вечер проговорили друг с другом.

Выяснилось, что родом он из Ревеля, где, кстати, родилась и мать Бестужевых. Учился в Кронштадтском штурманском училище. В 1826 году ушел в кругосветное плавание на «Сенявине», потом служил в Российско-Американской компании. Семь лет командовал судном, всю Русскую Америку от Аляски до Калифорнии прошел, на Командорских, Алеутских островах бывал, а в 1838 году попал в историю.

– Пришли мы из Ситхи в Аян с грузом, и там у меня ссора получилась с земским исправником. Через несколько дней кто-то убил его. Подозрение – на меня. Разжаловали в солдаты. Через два года нашли убийцу, но меня в звании не восстановили. Продолжал плотничать, рубил дома, склады. Церкву в Аяне новую поставил. А потом, как «Байкал» пришел, явился к Невельскому. Узнал Геннадий Иванович все про меня, уговорил Кашеварова на службу в Российско-Американскую компанию взять, чтобы я от них торг вел, благо я по-тунгусски и по-гиляцки говорить умею. Но я больше экспедиции помогал, чем торговал...

Слушая незамысловатый рассказ, Бестужев удивлялся скромности Орлова, который о самых главных своих подвигах – участии в первом сплаве по Амуру, водружении флага в заливе Счастья, спасении отряда Бошняка рассказывал как о чем-то обычном: «олений запряг, поехал», «берлогу нашел, медведя взял». А о том, что этим он важную весть в Николаевск доставил или спас от голодной смерти отряд в Императорской гавани, можно было только догадываться...

После тостов за новоселье и хозяина дома Бестужев попросил слова.

– Господа офицеры! Быть может, мое слово не совсем кстати, но, уважаемый Петр Васильевич, уважаемые господа, я хотел бы поднять бокал в память «Камчадала» и его экипажа... Конечно, море требует жертв. Они были, есть и будут. Много можно сказать в оправдание, но никакими словами не вернуть к жизни тех, кто погиб на вахте. Вечная память нашим соратникам!

Некоторое время спустя Бестужев спросил у Орлова, были ли здесь до этого крушения кораблей.

– И немало! – вздохнул Дмитрий Иванович. – Каждый год хоть один, да погибнет. Первым затонул «Шелехов» в заливе Счастья. На нем как раз жена Невельского прибыла. Спасли всех на шлюпках. И провиант, вещи доставили, а вот рояль, который она везла с собой, вытащить не успели. Качался на виду, а достать нельзя – волна поднялась, да так и заиграла его. Сейчас крабы по его клавишам клешнями стучат... Потом бриг «Курилы» исчез. Ушел и как не бывало! В войну транспорт «Охотск» сами взорвали да фрегат «Паллада» утопили, у Камчатки «Анадырь» и «Ситху» потеряли. Так что «Камчадал» – уже восьмой...

– Но ничего, сейчас ведь строите новые шхуны. Рады, небось, что вернулись к флотскому делу?

– Конечно. Намаялся с этим РАКом.<sup>31</sup> Когда на службу туда шел, совсем другие люди были.

– Погодите, не знали ли вы Кондратия Рылеева?

– А как же! Весной двадцать пятого заходил к нему. Он посмотрел бумаги: меня взял, а дружку отказал. Тот стал просить, горячиться, а Рылеев говорит, тише, товарищ больной в соседней комнате... Вы что, не верите? – спросил Орлов, увидев, как Бестужев удивленно качнул головой.

– Да нет! Как раз тот самый больной – перед вами!

– Выходит, мы еще тогда могли встретиться!

– Рассказывайте дальше, может, еще встретимся.

– А летом того же года Рылеев приехал в Кронштадт г одним капитан-лейтенантом, мичманом и штабс-капитаном...

– Вот и встретились! – воскликнул Бестужев. – Первые двое – мои братья, а штабс-капитан – ваш покорный слуга!

– Быть не может! Тот был сухощавый, щеголеватый такой.

– Но когда это было – тридцать два года назад! А исполнение сентенции над моряками не видели?

– Издали. Мы тогда загружались перед плаванием. Помню лишь черный флаг над «Владимиром», а наш капитан Литке...

– Федор Петрович? Это товарищ мой по Морскому кврпусу!

– Так вы и его знаете? Боже мой!.. Так вот, капитан Литке выстроил нас на палубе, так велено было, руку к козырьку поднес, а сам, верите, чуть не плачет! Когда кончилось все, руку от фуражки опустил так, словно махнул в сердцах...

Вышли из Кронштадта осенью двадцать шестого года, в середине декабря к экватору

---

<sup>31</sup> Аббревиатура РАК обозначалась на печатях Российско-Американской компании, использовалась в разговорной речи.

подходим. Матросы ждут его – праздник ведь. Кто первый раз – в купель, а потом всем – по чарке вина. И вот – «Свистать всех наверх!» Думаем, экватора достигли. Но, смотрим, капитан мрачный, суровый какой-то. Осмотрел всех строго, потом начал говорить, мол, идем неплохо, экватор будет через два дня, новый год встретим в Рио-де-Жанейро... Потом вдруг приказал выдать нам по чарке и выпить за потерпевших крушение... Стоим, ничего понять не можем. Потом догадался, спрашиваю, какое сегодня число. Странно, никто не знает. Иду к штурману, я у него помощником был, и узнал – четырнадцатое декабря! Раскрыл было рот, а штурман говорит, ступай себе и помалкивай. Возвращаюсь в кубрик, а там без меня узнали, сидят, молчат, иногда шепоток глухой... Сколько лет прошло, а день тот, как гвоздь из подошвы, память колет. А вас, поди, и того более? Отмечаете как-то?

– Да, и на каторге, и на поселении, – ответил Бестужев.

– А ведь совсем немного до него осталось...

## ОТЕЦ ГАВРИИЛ

Отца Гавриила Бестужев увидел на другой день после прибытия в Николаевск, когда заказывал молебен по случаю благополучного завершения плавания. Высокий, чуть выше ростом Бестужева, отец Гавриил вел литургию не очень густым, но приятным басом. Бархатная ряса опрятна. Движения рук спокойны, округлы. Добродушные, внимательные глаза, казалось, излучали покой и благородство. После исповеди Бестужев еще более покорился душевному такту, обаянию отца Гавриила. Симпатия оказалась взаимной, и, когда тот пригласил к себе домой, Бестужев с удовольствием согласился.

Едва открыв дверь в избу, он услышал плач ребенка. От множества пеленок, висящих у печи, в избе душновато. Одетый по-домашнему, отец Гавриил походил на рыбака или охотника. Темные усы и борода выглядели совсем по-мужицки.

– Сына купаем, а он бушует, – улыбнулся он.

Окна заплыли льдом, под подоконником висела бутылка, в которую по тесме стекала талая вода. Это нехитрое приспособление, занавески ручной работы, некрашенные табуретки, лавка у стены придавали особый, сибирский уют всей обстановке избы.

– Год и четыре месяца Ванюше. В честь деда назвали.

Бестужев знал, что дед – архиепископ Иннокентий, но мирское имя его услышал впервые.

– Откуда ваш отец родом?

– Из Качуга у Байкала. Отец его охотником был, пока медведь не подмял. Семерых детишек вырастил. Отца моего и дядю в Иркутское духовное училище устроил. Вот и пошли священники Вениаминовы. Ну и я по стопам батюшки, и сестры тоже. Одна из них Пашенька – мать Поликсения, игуменя Борисовского монастыря...

В комнату вошла жена Гавриила Ивановича, молодая, худенькая женщина с чуть раскосыми глазами. Ее звали Харитония.

– Явно землячка ваша, – улыбнулся Бестужев.

– Верно, из Еланцов, буряты ее родней почитают.

– Замешкалась я с Ванечкой, стол не накрыт, – смущенно оправдывалась она, накрывая стол. Все спорилось в ее руках. Она выставила грибы, сало, икру, чугунок с пельменями. Вот так попадья! В миг управилась.

За ужином хозяин рассказывал, как они жили в заливе Счастья, как перебрались сюда, как потом стал ездить по стойбищам, обращать гольдов, гиляков в православие.

– Сначала, конечно, боялись. Шаманы запугивали, да и языка ихнего не знал, а без него... Отец говорил, что и в Русской Америке дела из-за этого сначала шли плохо. Представьте себе, жили себе люди, вдруг появились чужеземцы, заставляют ясак платить, да еще веру новую насаждают. И мало толку было. Только начав изучать местные наречия, священнослужители стали достигать успехов в продвижении веры. Слышали об острове Валааме на Ладожском озере?

– Не только слышал – бывал там.

– И монастырь, значит, видели. А основал его монах Герман. Мирского имени его не знаю, но коренной русский, из-под Воронежа. В семнадцать лет пошел в Саровский монастырь, но шумно показалось, поехал на Валаам. Через несколько лет стало шумно и там. Попросился на остров Кадьяк в Русской Америке. Члены нашей миссии, полагаясь только на силу креста, разом окрестили всех, а индейцы, не поняв смысла веры, продолжали жить по-своему. Не понравилось это Герману, уехал на остров Еловый, самый глухой из Алеутских островов, стал отшельником. Много лет провел так, пока не пришла к нему одна алеутка, распутная баба.

– И совратила монаха? – спросил Бестужев.

– Нет. Он сумел внушить ей, что прежняя жизнь ее была греховна, построил ей отдельный домик. Потом к ним прибились девочки-сироты, алеутки и креолки. Зажили они общиной, которую Герман назвал Новым Валаамом. Рыбу ловили, картошку сажали. Зажили тихо, мирно. И прослыл отшельник святым. Видя его добрый характер, искреннюю веру в слово божье, стали соблюдать обряды и другие аборигены. Отец мой встретился с Германом, когда тому было восемьдесят, он уж ослеп, но молитвы помнил, службу вел лучше молодых, причем на алеутском языке. С тех пор стали требовать от служителей знания местных наречий. Отец занялся переводом Евангелия на алеутский, якутский, тунгусский языки. Это привело к составлению первых словарей, ускорило сближение русских с инородцами. Потом отец написал «Грамматику уналашского языка»...

– Сколько же языков знает он?

– Помимо трех европейских – алеутский, якутский, тунгусский, камчадалский, ряд индейских наречий, а бурятский с детства знал, в Приангарье ведь рос, с бурятами. Зная бурятский, легко изучил монгольский и маньчжурский.

– И вы тоже знаете?

– Только здешние – гиляцкий, нивхский, гольдский, тунгусский.

– И службу на этих языках ведете?

– А как же? Но слово словом, хоть оно и божье. Порой и лопатой, серпом, граблями надо поработать. Получается, прости господи, вопреки Евангелию: сначала дело, потом – слово. Приезжаешь на стойбище, а там больные, надо лечить. Поссорились соседи – мирить, как судье. А раз пришлось повивальной бабкой стать, – улыбнулся отец Гавриил, – А лопата, спросите, зачем? Окрестишь стойбище, придешь через три месяца, а они опять с шаманом камлают, обряды не соблюдают. Особенно непонятны им посты. Как не есть мяса, когда изюбр или кабан сам на пулю лезет? И действительно, без скоромного им не обойтись – овощей, картошки они ведь не знали. Вот и внушаю выращивать. Они ни в какую – грех землю ковырять. Берусь за лопату, грядки делаю, морковь, лук, репу, картошку сажаю. Осенью приезжаю, выкапываю, сам ем, их угощаю. Смотрю, нравится. И начали помаленьку огородничать.

– Многих окрестили за три года?

– Пятьсот двадцать пять человек.

Бестужев был поражен подвижническим трудом отца Гавриила. Но еще более тот удивил гостя, когда зашла речь о заселении Амура и побережья океана. Он дал тетрадь отца Иннокентия, озаглавленную им «Нечто об Амуре», в которой подробно рассматривались все задачи заселения – организация научных экспедиций для изучения дорог, строительства станций, пристаней, снабжение овощами, хлебом не только Приамурья, но и Камчатки, Сахалина, помощь инородцам.

«Николаевск стоит на самом неудачном месте, – читал Бестужев записи отца Иннокентия, – из-за мелководья корабли вынуждены останавливаться посреди реки, из-за густого леса нет места для сенокосов, огородов, пастбищ, положение Николаевска стратегически неудобно... На мой непросвещенный в военном отношении взгляд, порт вместе с верфью и местом зимней стоянки судов лучше было бы перенести на сорок верст выше...»

По пути в Николаевск Бестужев заметил и хорошо запомнил это место. Глубина достаточна для больших судов, горы защищают долину от ветров с севера и моря, луга обширные. Отец Иннокентий был здесь всего два раза, шел быстрой вешней водой. Как же успел оценить все? Наверняка сын Гавриил помог. И уж совсем поразили строки о необходимости проведения железной дороги от Амура к Императорской гавани.

– Напрасно ваш отец говорит о своем непросвещенном в военном отношении взгляде, – сказал Бестужев. – Видит и рассуждает стратегически!

Вернулся он домой за полночь.

– Опять исповедовались? – пошутил Казакевич.

– Скорее не я, а отец Гавриил. Слушал его и думал, до чего разные у нас попы! И митрополитов на Сенатской площади вспомнил, и духовников в Петропавловской крепости. Жаль, не видел отца Иннокентия, но, судя по его запискам, человек необыкновенный.

– Гавриил показал вам их? Я все уговариваю послать записки Муравьеву, летом отец Иннокентий приедет сюда, попробую убедить его... А не слышали, как он в руки англичан попал?

Три года назад вражеская эскадра подошла к Аяну, архиепископ оказался там. Англичане высадились на берег, а почти все жители в церкви на богослужении. Они туда. Отец Иннокентий и ухом не повел, когда адмирал со свитой вошел, продолжает молебен да о победе над неприятелем говорит. Голос у него от бога – погуще бас, чем у Гавриила. И так красиво, нараспев басил, и так ладно пел хор, что адмирал английский не посмел прервать службу. Дослушал до конца и через переводчика, француза, начал беседу. Архиепископ не выказал, что знает язык. Потом спрашивает переводчика по-французски, где тот учился русскому. Тот обомлел, покраснелся и отвечает, что еще в тринадцатом году в Париже, мальчиком, когда стояли русские, вот и научился немного, да забыл почти. Оно и чувствуется, усмехнулся отец Иннокентий и обратился к адмиралу по-английски, мол, понял, что его хотят взять в плен как заложника, да только, добавляет он, на что он им, выкупа за него не дадут, никто и не спохватится. Только даром хлеб будет есть, а едок он хороший. Адмирал посмотрел на его могучую фигуру и засмеялся... Так и ушли ни с чем.

– А ведь знал, где наши корабли? – сказал Бестужев.

– Конечно. И не только это, но и вход в Амур, фарватер его, и Императорскую гавань, которую тогда они не могли найти.

– А сыграл простака и отвел беду! Побольше бы таких священников!

– Есть, и немало, – сказал Казакевич. – Архиепископ Нил, например. Знаете, какая у него библиотека в Иркутске! И коллекция минералов, телескоп, микроскоп...

– Но больше все-таки живодеров, пьяниц. В Петровском Заводе отец Капитон – горький пьяница, грабил живых и мертвых. Дети умирали некрещеными и неотпетыми... Его сменил отец Поликарп – нахальный гордец...

– Ладно, Михаил Александрович, – прервал его Казакевич, – не будем об этом...

## ДМИТРИЙ РОМАНОВ

В один из ноябрьских дней Казакевич сказал, что у них поселится капитан Романов. Бестужев видел его мельком в Шилкинском Заводе, слышал, что тот воевал на Черном море в Крымскую кампанию, а потом прибыл сюда для проведения телеграфа.

Романов занял угловую комнату рядом с комнатой Бестужева. Это был крепко сложенный, выше среднего роста молодой человек двадцати девяти лет, с загорелым, обветренным лицом. Все лето он провел в изысканиях линии телеграфа и шоссейной дороги между озером Кизи и заливом де-Кастри – кратчайшего сухопутного пути от Амура к океану. Первое время он держался стесненно, замкнуто, почти не выходя из своей комнаты, в которой до поздней ночи горели свечи.

Разговорившись с ним, Бестужев узнал, что Романов учился в Петербургском инженерном училище вместе с Достоевским и Григоровичем. Вспоминая о годах учебы,

Романов стал рассказывать прежде всего о Достоевском. Неожиданной славой своего воспитанника гордились и преподаватели, и кондуктора – недавние однокашники писателя, о котором после «Бедных людей» заговорил весь Петербург. Правда, через некоторое время, как только начался процесс над петрашевцами, дирекция училища перестала упоминать имя Достоевского в числе своих питомцев. Рассказал Романов и о том, как побывал однажды в доме Петрашевского, куда по пятницам приходили все желающие. Спорили о Фурье, Сен-Симоне, о путях к общественному благоденствию. Петрашевский называл себя пропагатором социализма.

– Выхожу оттуда – голова кругом, – рассказывал Романов. – Вспоминаю горящие глаза, страстные восклицания, иронические ухмылки, опасные речи и нюхом чую – несдобровать им...

Бестужев с огромным интересом слушал Романова, невольно думая о тайных заседаниях накануне четырнадцатого декабря. Он хорошо знал о деле петрашевцев из газет и писем Пуцина, который вместе с Фонвизиным, Анненковым видел их в Сибири. Декабристы, четверть века назад осужденные тем же царем, с отеческим чувством отнеслись к «новобранцам» – первым, кто после них создал тайное общество и последовал в Сибирь.

Михаил Петрашевский был сыном придворного врача, на руках которого умер генерал Милорадович. Сергей Дуров – кузен Ростовцева, ненавидевший его за предательство декабристов и преданность царю. Николай Кашкин – племянник Оболенского и сын декабриста Сергея Кашкина, сосланного в Архангельск. Был в кружке петрашевцев и сын Фонвизиных Дмитрий, ушедший от расправы только из-за болезни и смерти. Так что в новом обществе участвовали и прямые потомки декабристов. И хотя их взгляды были иными, декабристы считали их своими наследниками.

Сестра Елена, уже живя в Селенгинске, узнав о процессе, вдруг сказала братьям, что по странному стечению обстоятельств продала родовое имение Бестужевых перед отъездом в Сибирь именно Петрашевским. Сын их, выпускник Царскосельского лицея, приехав в Сольцы, забросал Елену Александровну вопросами о ее братьях и других декабристах. Бойкий, пытливый, он показался ей почти полной копией Никиты Муравьева – и внешностью, и манерой разговора. Он говорил ей, что очень уважает ее братьев и их сподвижников, но действовали они неверно.

– Все зависит от масс. Без них нельзя сделать и шагу!

– А что нужно было делать? – спросила Елена Александровна.

– Нужно укоренить идеи социализма в массах народа, и тогда против него будет бессильно и войско.

– Что же такое социализм?

– О, это долго рассказывать, – засмеялся Петрашевский. – Одно мвгу сказать, что это – не выдумка причудливых голов, а результат развития человечества...

На прощание он сказал Бестужевой:

– К сожалению, я не знал ваших братьев, только читал их повести и рассказы. А теперь, познакомившись с вами, вижу, что все семейство ваше отмечено печатью гениальности.

– Насчет братьев согласна, спасибо на добром слове, – ответила Елена Александровна. – Что же касается меня, гениальности во мне не ищите, хотя я старуха неглупая...

Бестужев рассказал Романову об этом, а потом пожалел, что не увидел Петрашевского в Иркутске, не застал в редакции.

– Все-таки молодец генерал-губернатор! Не побоялся дать место в газете Петрашевскому и Спешневу, – сказал Романов. – Жаль, Достоевский и Дуров не попали сюда, здесь им было бы лучше, чем в Омском остроге и Семипалатинске.

– Зато на следствии Петрашевскому досталось больше всех, – сказал Бестужев. – В Тобольске Фонвизина встретила с ним в тюремной больнице, когда его привезли из Петербурга. Состояние его после пыток было ужасным...

– Разве его пытали? – удивился Романов.

– Не уверен, по Наталья Дмитриевна говорила, будто его пытали посредством телеграфного аппарата и электричества.

Услышав это, Романов побледнел, встал и начал нервно ходить по комнате.

– Если это так, то я, кажется, причастен – мне было приказано провести проволоку в комнату допросов для переговоров по аппарату.

– Допрашивал сам Николай из Зимнего дворца, а Иетрашевский был в Петропавловской крепости. Не зная, что он говорит с царем, Петрашевский отвечал дерзко, держа в руках переговорное устройство. Император, рассердясь на него, нажал на специальную клавишу, подключенную к гальванической машине и к креслу Нетрашевского, электричество поразило его, он упал без чувств, поранил лоб, а рука покрылась ожогами...

– Ну нет, – убежденно сказал Романов. – Я не защищаю государя, но уверяю вас, это – случайное замыкание в цепи.

– Может быть. А вообще, то ли Петрашевского травили беладонной, то ли он так тяжело перенес одиночное заточение, но он дошел до ипохондрии и обмороков...

Видя, как тяжело воспринял Романов рассказ о Петрашевском, Бестужев решил переменить тему разговора и спросил о других воспитанниках Инженерного училища. Романов сказал, что кроме Достоевского и Григоровича там учились художник Трутовский, медик Сеченов.

– Сколько интересных людей вышло из вашего училища! Но как же они успевали находить время для своих занятий?

– Свободного времени у нас почти не было – весь день, не менее десяти часов – занятия, вечерами – зубрежка, а летом – военные лагеря, фрунт. Редко кто исхитрялся выкраивать время для своих упражнений. Читать и писать еще можно было. Достоевский и Григорович начали сочинять еще в училище, а Сеченов занялся медициной, лишь окончив учебу и прослужив три года. Потом вышел в отставку, сейчас служит в Московском университете.

– А у вас, Дмитрий Иванович, тоже есть увлечение?

– С чего вы взяли? – смутился Романов.

– Работаете по ночам, пишете что-то.

– Главная моя цель – проведение дорог и телеграфа. Сейчас заканчиваю отчет по летним изысканиям и берусь за расчеты телеграфной линии через Тихий океан в Америку. Многие полагают это утопией, но я считаю такую линию реальной. Однако не через Берингов пролив, а через Сахалин, Курильские, Алеутские острова...

Увлеченно и подробно рассказав о своем грандиозном проекте, Романов признался и в том, что собирает сведения об экспедиции Невельского.

– Приехав сюда, встретившись с соратниками Невельского, я поразились их подвигу, а еще более – тому, что никто в России о них не знает. Подумать только, горстка людей, выброшенная на пустынную отмель, несмотря на всевозможные лишения, закрепилась на ней, опровергла почти вековое заблуждение Лаперуза насчет полуострова Сахалина, нашла и обследовала устье и фарватер Амура. И вот прошло почти семь лет, как здесь поднят русский флаг, но до сих пор подвиги Невельского и его сподвижников – Казакевича, Бошняка, Орлова, никому не известны! Если бы подобное совершили иностранцы, весь мир давно бы твердил их имена подобно именам Росса, Франклина, Лаперуза...

Слушая Романова, Бестужев поражался его одержимости, увлеченности. Через два года он прочтет записки Романова в «Русском слове» о подвигах Амурской экспедиции, а чуть позднее – статью его в «Санкт-Петербургских ведомостях» о телеграфной линии по островам и дну Тихого океана из Сибири к Аляске и Сан-Франциско. И с теплым чувством вспомнит, как жил под одной крышей и беседовал долгими зимними вечерами с автором этих замечательных трудов.

**14 ДЕКАБРЯ 1857 ГОДА**

По мере приближения этого дня Бестужев испытывал беспокойство, удастся ли уединиться, провести его одному. Хотелось уехать на дачу, но удобно ли просить об этом адмирала? Чем объяснить отъезд? Однако накануне Казакевич неожиданно сам предложил выехать туда и, увидев настороженность Бестужева, тут же добавил:

– Хотите, езжайте один, но, если не возражаете, мы с Дмитрием Ивановичем составим вам общество.

Бестужев конечно же не стал возражать. Утром четырнадцатого декабря Казакевич еще затемно ушел в адмиралтейство, а вернувшись в полдень, сразу же усадил Бестужева и Романова в кошевку и лихо погнал лошадь вдоль Амура. Люди удивленно останавливались, провожая взглядом адмирала, сидящего вместо возницы на облучке, и Бестужева с Романовым сзади. Бывало, что адмирал ездил один, но чтоб вез кого-то как кучер – такое николаевцы видели впервые. Не понимая происходящего и испытывая неловкость, Романов спросил Бестужева, что происходит, но тот загадочно улыбнулся и ничего не ответил.

Подъезжая к даче, они увидели, что там кто-то есть. Белый столб дыма струился из печной трубы. Войдя в дом, Бестужев увидел Орлова и Шершнева, которые приехали сюда раньше, натопили печь, приготовили обед. Стол в зале был накрыт на пятерых, а посреди него стояло пять свечей. И тут Казакевич объяснил Романову, что они решили вместе с Бестужевым отметить годовщину восстания и что идею эту подал Орлов. Тот, смущенно улыбаясь, спросил Бестужева, не обижается ли он, на что Бестужев лишь молча от души пожал ему руку.

Короткий зимний день быстро угасал. Шершнева зажег свечи. Казакевич усадил Бестужева во главе стола, сам сел слева, рядом с Шершневым, а два Дмитрия Ивановича – Орлов и Романов – заняли места напротив. То ли адмирал волновался, то ли намеренно выдержал паузу, но первые слова произнес не сразу. Торжественно оглядев всех, он наконец улыбнулся и начал речь.

– Ну что, друзья, начнем наше тайное заседание... Для Михаила Александровича нынешний день особенный, но я, пожалуй, мог забыть о нем, если бы не Дмитрий Иванович, – адмирал глянул на Орлова, – который, оказывается, знает многих друзей и сотоварищей Михаила Александровича... Мне неоднократно приходилось бывать в Селенгинске, еще когда был жив Николай Александрович. Тогда же, во время подготовки первого сплава по Амуру, я познакомился с Волконским, Трубецким, Горбачевским, братьями Бестужевыми. Их имена окружены ореолом благородства и всеобщего почтения. И хоть дом Бестужевых находился в стороне от Верхнеудинска и Кяхты, но все – и путешественники, и купцы, и чиновники, и сам Николай Николаевич Муравьев – считают своим долгом заезжать к ним. По себе знаю, кто хоть раз побывал в этом доме, как бы проникался душевным благородством, получал ничем неоценимые советы, которыми они щедро одаривают своих гостей. Памятуя о тех неизгладимых встречах, я и решил отблагодарить одного из пятерых братьев Бестужевых здесь, в Николаевске, и безмерно рад, что вы, глубокоуважаемый Михаил Александрович, согласились остановиться в моем доме. А сегодня, в этот памятный для вас день, хочу выразить особую признательность судьбе за то, что она свела меня с вами, одним из тех, кто, искренне желая блага отечеству, попытался, пусть и не лучшим способом, ускорить ход истории...

Закончив речь тостом за здоровье Бестужева, Казакевич некоторое время спустя вдруг заговорил о том, что если бы братья Бестужевы не приняли участия в заговоре, то стали бы адмиралами и генералами, и снова вздохнул, что зря и рано заварили они кашу. Спорить, переубедить его в присутствии Орлова, Романова, Шершнева Бестужев не стал. После разговоров о книге Корфа он убедился, что Петр Васильевич относился к восстанию хоть и не официально, но и не совсем одобрительно.

В середине вечера Дмитрий Иванович Орлов вдруг провозгласил короткий тост: «За потерпевших крушение!» Прозрачный смысл его конечно же дошел до всех, хотя они не знали, что тост этот впервые провозгласил молодой лейтенант флота, а ныне адмирал Федор Литке, в честь которого здесь, в заливе Екатерины, назван мыс.



Почти все время сидевший молча Романов к концу вечера сказал, что, к сожалению, почти ничего не слышал и не знал о декабристах, но на его глазах были разгромлены петрашевцы, среди которых было много прекрасных людей. И хотя, вероятно, их нельзя ставить в один ряд с декабристами, они, как и их предшественники, тоже исходили из лучших побуждений и так же, как отцы, были сметены тем же ветром.

Романов ни разу не произнес слова «царь», «самодержавие», но было ясно, о каком ветре речь. Бестужев же подумал, что ничего странного в том, что Романов не знал, не слышал о декабристах, нет. Ведь правительство намеренно предало их забвению, а в Донесении Следственной комиссии и в книге Корфа совершенно умалчивается об истинных причинах восстания, искажаются подлинные цели тайного общества.

Эмиль Шершневу, не посмеявшийся сказать за столом ни единого слова, выразил свое величайшее уважение к Бестужеву, когда они оказались одни на кухне:

– Михаил Александрович, мало ли что бывает. Если кто хоть чуть косо глянет на вас, вы мне скажите, а я его!.. – он сжал свои огромные кулаки и стукнул их друг о друга, чем очень растрогал Бестужева. Он дружески обнял матроса за плечи и почувствовал, как напряглись в готовности защитить его могучие мускулы...

Бестужев остался доволен вечером и выразил признательность Казакевичу за проникновенные слова на этом «тайном заседании» вдали от чужих глаз и ушей. Действительно, адмирал сделал все, что было возможно при его должности и положении. Однако чувство неудовлетворенности и даже какой-то горечи от того, что он не возразил против «зря и рано», свербило в нем. Не знают, не понимают дела декабристов не только Казакевич и Романов, но и целое поколение тех, кто вырос после восстания. Это вновь напомнило ему о призыве Герцена в «Полярной звезде», и вскоре после того вечера Бестужев начал писать воспоминания.

Многие из союзников еще в Чите и Петровском Заводе начинали записки о восстании. Одним из первых взялся за перо брат Николай, написав «Воспоминание о Рылееве» и «14 декабря 1825 года». Потом он передал их Муханову, уезжавшему с каторги, но остались ли они в целости, Бестужев не знал, так как часть бумаг, в том числе морские повести Мишеля, Муханову пришлось сжечь перед обыском полиции.

Браться за перо было опасно и тогда и сейчас. Союзники хорошо знали, чем кончилось дело Лунина, который описал историю тайного общества и раскритиковал Донесение Следственной комиссии. Поэтому Бестужев начал воспоминания в толстой амбарной книге, предварительно заполнив первые страницы записями о плавании по Амуру и рекомендациями по подготовке очередных сплавов. И лишь потом начал писать главное, перемежая их страницами отчета.

Первая фраза воспоминаний родилась как бы в ответ на слова Казакевича о том, что если бы братья Бестужевы не вошли в заговор, то стали бы адмиралами и генералами: «Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря».

Написав это, он начал рассказывать о каждом из братьев, чтобы объяснить, почему они не могли не принять участия в восстании. С упоением работая над воспоминаниями, он не мог знать, что волей обстоятельств ему еще несколько раз придется писать их заново.<sup>32</sup>

Менялись последовательность изложения, чередование событий, но каждый раз он начинал: «Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря».

## ПИСЬМА РОДНЫМ

Почтовая связь работала с перебоями. Три с половиной тысячи верст, отделяющие

---

<sup>32</sup> Документально установлено, что М. Бестужев писал мемуары в 1860–1862 и 1869 годах. Первая рукопись погибла от рук детей, которые в отсутствие отца использовали ее для своих поделок. Следующий вариант он уничтожил сам, опасаясь обыска. До нас дошли лишь воспоминания 1869 года, написанные по просьбе М. Семева.

Николаевск от дома, становились непреодолимыми осенью, когда по Амуру шел лед. И потому Бестужев писал письма с продолжениями – «в виде журнала».

*«26 ноября. Это уже третье отсюда письмо к вам, мои милые сестры, дорогая Мери... Не знаю, дойдут ли они? Могут попасть бог знает в какие руки. Два пути лежат для соединения новых Робинзонов с обитаемым миром, и оба одинаково трудны и опасны – через Аян, Якутск и по Амуру... Но квитанции еще не готовы. Рассылка приказчиков для торговли, отчеты по коммерческим делам займут на долгое время.*

*Хозяин ласков и добр, собеседник мой, Романов, человек умный и веселый, посетители и гости хозяина – люди милые и образованные, помещение роскошное, книг и журналов больше, чем можно прочесть, но недостает вас.*

*Жизнь здешних обитателей не похожа ни в каком отношении на привычную... Ежели вам случалось читать об основании городов в Америке, это может дать близкое изображение рождения и возрастания города посреди дебрей и непроходимой тайги. Разница в том, что первый, кто срубит первое дерево в Америке, это – журналист. Под срубленным деревом наборщик набирает лист ежедневника, издатель печатает его, корректор читает... И так до тех пор, пока ветвь железной дороги не достигнет пресловутого города и не нахлынут толпы новых граждан.*

*Здесь, напротив, все, что создается, дело одного правительства. Посреди срубленных столетних пней вы видите стройную улицу, на четверть версты уставленную уютными домиками за общим палисадником. Сзади огромные строения казарм, госпиталей, магазинов... Далее домики частных лиц. По главной улице вы войдете в дремучий лес, потом ступ топора, и снова пять-шесть огромных зданий из гигантских бревен, тут же срубленных и тотчас же положенных в дело. На сушку не теряют время.*

*Никто не сидит без дела, зато рабочие руки стоят дорого. За одно бревно, подвезенное или подтащенное к частному дому, – целковый и более. Мои рабочие зарабатывают хорошую поденную плату. Зато и деньги здесь дешевы, то есть жизненные потребности чрезвычайно дороги. Мяса мало. Из 800 голов скота 240 погибло в пути от болезней и изнурения, а между Мариинском и Николаевском буря бросила плоты на утес, и погибло еще 260. Заморенный бык продавался недавно за 80 целковых. Свежее мясо здесь роскошь, а солонина по 3 с половиной за пуд у наших и 4–5 целковых – у американцев. Молоко тоже роскошь, яйца и подавно. Презервы американцев, не в упрек их славе, очень дурны и несъедобны для русского желудка.*

*Все очень дорого. Русские купцы, испуганные свободой ввоза иностранных товаров, пренебрегли прислать своих и худо сделали. Аршин лент – целковый, ярд (один с четвертью аршина) шелка – 4–5 рублей серебром. Ярд сукна – 5–6 серебром... Соболя 5–7, а выходящий из ряда – 10 рублей...*

*30 ноября. Сегодня утром Петр Васильевич уехал в Пальво, 60 верст выше. Романов ушел на бал, который дают господа офицеры-курьеры перед отправкой вверх по Амуру, и хоть меня приглашали, я остался, чтобы подготовить отчеты к завтрашней почте. Времени свободного мало...*

*7 декабря. Жизнь по-прежнему спокойно течет под мирным и гостеприимным кровом добрейшего и благороднейшего из смертных, который вам кланяется, часто вспоминая свои послеоние посещения нашей хаты еще при жизни покойного брата. Жаль, что его рвение к благу зависит от воли других богов.*

*Вчера здесь праздновали годовщину основания Приморской области. После обедни и молебна отправились с крестом и хоругвями в адмиралтейство на закладку первой морской шкуны. В здании превосходного механического заведения были накрыты столы для морской команды. Адмирал поздравил с праздником и закладкой шкуны. И все отправились в клуб, где был пышный обед. Зала была убрана военными арматурными флагами и гюйсами. Все здешние дамы присутствовали на нем.*

*После обеда на санях и тройках поехали на дачу, где провели весело часа два в бесцеремонной сельской беседе. Шоколад и кофей – угощение адмирала. Возвратясь,*

отдохнув, собрались в 5 часов для танцев. Зала горела огнями, отражающимися в тысяче стволов ружей, клинков, сабель и зеркал. Гостиная была освещена китайскими фонарями, а фасад и улица – плошками. Танцы, ужин, снова танцы до поздней ночи или, лучше сказать, до утра.

Мороженое, конфеты приготовил повар адмирала. Я невольно забылся и не мог вообразить, чтоб на краю необитаемого мира, в стране дикой – в глуши, в тайге – через несколько лет с основания города, можно было встретить все принадлежности образцовых городов, которые существование считают столетиями...

8 января 1858 года. Новый год встретил в клубе, но грусть по вам омрачала праздник, и я ушел домой. Писем нет от вас. Вероятно, вы шлете на имя М. Корсакова, который сейчас в Петербурге, а не Завалишину, как я просил. И письма будут лежать в Чите.

Сдача и форменные проволочки с казною кончились благополучно. Недостатков нет. Квитанции чисты. Хотел ехать через Якутск, но Петр Васильевич запретил и думать об этом. И я остаюсь до весны...

Зима ясная, не холодная. Раза три мороз 30° по Реомюру... Больше сижу дома. Впрочем, постоянно бываю в избранном обществе, даже дамском. Должен сказать, что в Николаевске, кроме жен, никого из прекрасного пола нет.

15 января. Наконец-то получил первое сухопутное письмо ваше, милые сестры, и двухстрочную приписку Мери от 14 сентября. Что только не передумал – ни одного письма, кроме как от Луизы Николаевны.

Седьмое письмо отправил с приказчиком, которого направил с отчетами в Иркутск. Он уже садился в нарты с собаками, как принесли ваши письма. Я остановил его, чтобы ответить.

Прилагаю письмо И. Я. Чурина, байкальского морехода.

Вы увидите, какова дорога в Якутск через Аян.

Елка для детей у Петра Васильевича – японские безделушки розданы, но подождем подхода новых судов. Вырос ли умок у Лели и выросли ли капризы? Кланяйтесь всем селенжанам, в особенности Старцевым, Лушниковым и Кельбергам...

3 февраля. Письма, отправленные вам с Удскою почтою, возвратились. Приказчик и казак вернулись из-за нехватки оленей частью на собаках и пешком. Хорошо, что не поехал я...

Масленица стояла прекрасная, что мне дало возможность видеть здешний разгул. Горы поставлены против наших окон и с них все народонаселение катается и кувыркается с утра до позднего вечера, тогда как le beau monde<sup>33</sup> на лихих конях и в людных санях прогуливается около. Довольно пикников и partie de plaisir:<sup>34</sup> ездили на дачу и в деревню Личи на блины... Семейный вечер вчера завершил масленицу, и сего дня монотонный звон колоколов призывает в церковь на покаяние. После праздников была свадьба. Правитель канцелярии гражданских дел Александр Александрович Хитрово женился на сестре повивальной бабушки, госпожи Мирославской, на миленькой 16-летней девушке, единственной девице, бывшей в Николаевске.

Сколько бы свадеб было у нас, если б было побольше невест. По случаю свадьбы были обеды и танцы у жениха и адмирала, который был посаженным отцом... Адмирал шлет вам свой поклон. Прощайте до следующей почты и простите все мои прегрешения, вольные и невольные...

25 февраля. Баше молчание сбивает с толку. Неужели сестры уехали в Россию, но ты, Мери, живешь в Селенгинске, дожидаясь, как Пенелопа Улисса.

Попасть сюда нетрудно, да вырваться нелегко. „Амур“ на мели близ Уссури и дай бог

---

<sup>33</sup> Высший свет (фр.).

<sup>34</sup> Развлечение (фр.).

*сошел бы при растаянии снегов с целыми ребрами, и тогда я отправился бы вверх на нем в июне. „Лена“ в Шилке. На этом пароходе генерал-губернатор хочет прибыть сюда 15 июня, но прибудет позже.*

*Чтобы покончить пытку нетерпения, решил я через две недели, т. е. на страстной неделе, отправиться на почтовых лошадях в Кизи (Маршинский пост) и там, дождав растаянья Амура, пойду на лодке до Хунгари, где, пересев на „Надежду“, и буду подниматься, сколько позволят обстоятельства. Этим я смогу выиграть 300 верст, это первое, во-вторых, я отправлюсь с партией солдат, идущих вверх по Уссури учредить станцию для почтовой гоньбы и, может быть, для будущих поселений, а эта партия ждать меня не будет. В лодке же я иду, потому что „Надежда“, севшая на мель прошедшею осенью, уже не могла вернуться в Николаевск.*

*Я там пересяду на нее и все-таки возьму на буксир свою легкую гиляцкую лодку, потому что на „Надежду“ я полагаю мало надежды и в случае, если она изменит, отправлюсь на лодке. Если я отправлюсь в путь в конце апреля или начале мая, то в первых числах июля буду в Шилкинском Заводе, а в половине того же месяца, даст бог и говорит мне сердце, обниму всех вас в Селенгинске.*

*Итак, это длинное письмо из Николаевска будет мое последнее письмо. Не думаю, чтоб из Кизи я нашел случай послать весточку. В начале весны Амур не река, а настоящее море. Страшное испытание посылает мне господь. Когда сплывал сверху, Амур пересох, а теперь, когда малая вода нужна для того, чтоб тянуть бечевой, берега будут затоплены и придется грести против быстрого течения.*

*В этот раз, как и в тот, Амур даст себя знать, надоел и надоест так, что, вероятно, у меня отпадет охота свидеться с ним когда-либо еще раз. Разве погода да отдохнув, когда Амурские компании разовьют свои дела в больших размерах и пароходы будут ходить по реке постоянно, вздумается мне посмотреть дивную амурскую природу, оживленную кипучей жизнью поселений и торговли, – а время это недалеко, если только правительство вполне оценит всю важность этого пункта.*

*Тяжело мне будет расставаться с добрым, прекрасным душою и сердцем П. В. Казакевичем, под гостеприимным кровом которого я жил с лишком полгода, как у своего попечительного нежного отца. Без сомнения, грустно будет оставлять общество Николаевска, которое не менее оказало мне расположение и приязнь, хотя я редко посещал его.*

*Настроение моего духа не гармонировало с рассеянностью жизни, ищущей развлечений. Да и дома мне было так хорошо, так отрадно, время так приятно текло между сурьезными занятиями в уединении и в полезных, поучительных беседах с хозяином.*

*Страшная цинга, наводившая сперва такой ужас, уволена попечительным адмиралом... Народ здоров, бодр и весел: хорошо одет и сытно накормлен. Зато и работы по всем местам кипят, дома растут, как грибы, строятся суда, склепываются пароходы, устанавливаются великолепные механические заведения, только ожидающие открытия железной руды, чтобы строить свои пароходы... Жаль, что Николаевск как центральный пункт управления не на месте – и теперь он в восемь раз более Петропавловска. Более 500 дворов кроме казенных домов чиновников и громадных казенных сооружений.*

*Вы меня извините, что я скуп на описания и сведения о столь значительном крае. Во-первых, не все можно и должно писать, а, во-вторых, я еще надеюсь увидеться с вами в этом мире...»*

*О многом рассказал Бестужев в своих письмах родным, хотя далеко не все доверял бумаге. Десятилетия переписки, которая просматривалась не только местными властями, но и Третьим отделением в Петербурге, приучили его к чрезвычайной осторожности. Он ничуть не исключал того, что все написанное им прочитывалось местным почтмейстером или его коллегой на ближайшей почтовой станции и при необходимости докладывалось и Казакевичу, и в Иркутск, и, может быть, дальше.*

*Все это наложило отпечаток на характер и стиль писем – довольно частые поклоны в*

сторону адмирала, восхваление здешнего бомонда. Утаив о своей болезни – к чему беспокоить родных? – он не написал и о гибели корабля, и о том, как отметил день четырнадцатого декабря, и о самом главном, чем он занимался долгими зимними вечерами, – о том, что начал писать воспоминания о восстании и о годах в Сибири

## ОТЪЕЗД

На проводы Бестужева в дом Казакевича пришли Орлов, Баснин, Шефнер, отец Гавриил, Бабкин, Болтин. Казакевич и Романов сделали все, чтобы вечер запомнился Бестужеву. Казалось, все уже было сказано ранее, но провожающие нашли еще более теплые напутственные слова. Поздно вечером, когда гости разошлись, Бестужев попросил с кухни Елизавету.

Большинство свечей уже затушили, огонь в каминах догорал, в гостиной царил полумрак. Когда послышался стук каблучков, он почувствовал в нем какую-то неуверенность.

Войдя в гостиную, Елизавета пошла по ковру, и стук каблучков стал почти не слышен. Столько грации, достоинства и какой-то таинственности было в ней, что он залюбовался ею. Когда она поравнялась с ним, он встал. Заметив его лишь в этот момент, она вздрогнула от неожиданности, остановилась. Испуг, смущение в ее глазах. Все, что угодно, но не холод и равнодушие. Он тронул ее за плечи и почувствовал, как они дрожат, словно в ознобе.

– Я так благодарна, что вы решились попрощаться. Думала, вы не замечаете меня.

– Как же я мог уехать так?

– Я выхожу замуж.

Бестужев удивленно глянул на нее – за кого, мол.

– Вы его хорошо знаете.

– За Романова? Ну что ж, очень достойный человек...

– За Эмиля...

Он сел, словно у него подкосились ноги. Ведь она могла составить партию любому из офицеров, а тут матрос, да в годах.

– Не удивляйтесь. Я много думала и...

– Он же в отцы годится.

– Ну и что? Вы тоже. Однако ж...

Бестужев почувствовал себя неловко – Шершневу был моложе его. Тут в зал вошла одна из кухарок и, делая вид, что не замечает их, стала собирать посуду. Наступило неловкое молчание. Как ни странно, известие о замужестве расстроило его. Дело даже не в Шершневе, а в чем-то другом, чего он сам пока не мог понять.

– А Петр Васильевич знает?

– Что я ему? Побаловался и... – в ее глазах сверкнули слезы. – Спасибо Эмилю, не побрезговал, – усмехнулась она.

«А ведь в самом деле, после Казакевича офицеры не решаются ухаживать за ней», – подумал Бестужев.

– Ладно, Лиза. Может, это к лучшему? Эмиль человек надежный. За ним, как за каменной стеной.

– Спасибо вам. Я тоже так думаю...

Утром, прощаясь с Шершневым, Бестужев пожелал им счастья. А Эмиль сказал, что Елизавета говорила ему о вчерашнем разговоре, и поблагодарил за добрые слова о нем.

– Родится сын, назовем Михаилом в вашу честь, – сказал матрос.

Выехав из Николаевска с обозом солдат, Бестужев через несколько дней добрался до Тыра, а еще через неделю – до Мариинского поста. Там их нагнал почтовый чиновник Доржи Табунов, везший почту на собачьих упряжках. Они знали друг друга через Паргачевского. Кроме того, Доржи оказался почти земляком – из бурятского селения Оронгой, ниже Селенгинска. И когда Бестужев попросил взять его с собой, Доржи

согласился.

Сытые, крепкие собаки лихо понесли нарты. Небольшие сугробы, схваченные твердым настом, не были для них препятствием. Солнце, залившее заснеженное пространство реки, слепило глаза, Бестужев надвинул пониже меховой малахай. Его упряжка шла следом за первой – править не надо. И он почти все время дремал, убаюкиваемый легким покачиванием нарт и скользящим шуршанием полозьев.

В первых числах апреля они оказались в Дондоне. Место, где осенью пришлось провести две недели, Бестужев узнал с трудом. Огромные торосы перегородили протоку, часть льдин во время осенней шуги выползла на берег. Амур казался дремлющим драконом, готовым, как старую чешую, сбросить ледовый панцирь. И хоть высоки, грозны торосы, похожие на шипы гигантского ящера, Амур, начав пополняться талыми водами, стал шевелить мускулами подледных потоков. И там, где с прибрежных холмов потекли первые ручьи, образовались полыньи, а от них начали расходиться трещины. Ехать по реке стало опасно, и Доржи Табунов новел упряжки более пологим левым берегом.

Беспокоясь о рукописи, Бестужев вынул тетрадь из сумки с соболями, втиснул ее в маленький кожаный мешочек и пристегнул к ремню на поясе. Мало ли что может случиться в пути. Пусть самое ценное будет всегда с ним, решил он.

## ЛЕДОХОД

В двух днях езды от Уссури Доржи решил перевести собачий караван на правый берег. Вожак встревоженно поглядывал на полыньи и трещины, то и дело возникавшие за грядями торосов. Доржи не торопил его, полностью доверив ему и выбор пути, и скорость хода.

Взобравшись на высокую прибрежную гряду неподалеку от гольдского селения, они заночевали в пустом берестяном чуме. Вечер был тихий, теплый. От костра, разведенного внутри, начали таять остатки снега на внешней стороне чума. Было что-то тревожное в вечерней тишине. Собаки беспокойно возились на привязи, урчали друг на друга.

– Однако шуга будет, – сказал Доржи, укрываясь дохой. Вскоре он уснул, а Бестужеву не спалось. Он вышел и, присев на бревно, раскурил трубку. И вдруг словно пушечный выстрел донесся с реки. Звук этот, эхом прокатившись по берегам, почему-то не стух, а начал нарастать, окутываясь неясными шорохами, хрустом, скрежетом. И Бестужев понял, что застал великое мгновение – начало ледохода. Собаки завозились еще больше. Вожак поднялся на ноги и, наострив уши, пригнувшись, смотрел на реку.

Заря еще не угасла, небо было ясное, и река виднелась довольно неплохо. По тропке Бестужев спустился к берегу. Там было гораздо свежее – сказывалось холодное дыхание льда. Невысокий утес, выступающий из берега, уже принял первые удары льдин. Под напором воды они поползли вверх. Буквально на глазах стала расти гряда торосов поперек реки. Казалось, будто какое-то гигантское животное, решив всплыть из-под льда попыталось взломать его своим хребтом. Но вскоре гряда, не выдержав собственной тяжести, с шумом ушла под лед. Толстые обломки, как мины, стали взрывать ледовую броню. И снова могучие воды приняли в себя очередную порцию льдин, вспарывающих остатки ледовой целины.

Увлечшись этим зрелищем, Бестужев не заметил, как утес почти доверху оброс ледовым крошечком, а полчища льдин, продолжая напирать снизу, подкосили основание ледяного замка, и вскоре его стены, башни рухнули вниз, увлекая за собой обломки камней и вырванные с корнем кусты и деревья.

Наблюдая за ледоходом, он подошел к самому обрыву. И тут, поскользнувшись на заледенелом насте, упал и едва не сорвался вниз. К счастью, ему удалось ухватиться за ветви куста. С их помощью Бестужев с трудом выполз наверх, подальше от края обрыва. Поднявшись на ноги, стал отряхиваться и вдруг увидел оборванный конец ремня. Похолодев от догадки, он хлопнул себя по левому боку, где висела кожаная сумка с тетрадью, но ее не было. Оглядев все вокруг своих ног, он осторожно спустился к кусту, долго шарил голыми

руками по снегу и сухой траве, пока пальцы не замерзли, но нащупал лишь несколько камней, которые скатились и полетели с обрыва в ледовую кипень. Может, спуститься на бечеве? Но к чему привяжешь ее? Да и что там увидишь – стало совсем темно. И сумка наверняка уже сжевана и поглощена льдами.

Наутро Бестужев все же пошел посмотреть, не зацепилась ли она за корень или уступ. Но увидел, что обрыв совершенно пуст, а льды прямо-таки вспахивают его основание.

Ничего не сказав Доржи Табунову, он с тяжелым сердцем сел в нарты, и собаки помчали их по холмам и перелескам правого берега, где еще лежал снег. К концу дня шестого апреля караван прибыл к гольдскому селению Турми, неподалеку от устья Уссури.

Пять дней длилась титаническая битва Амура со льдами, которые шли нескончаемым потоком и загромождали берега огромными баррикадами торосов. Местные и прибывшие с караваном собаки тщательно обследовали каждую выползшую на берег льдину. И старания их не пропадали даром. Однажды им особенно повезло: на большущей крыге оказалась вмерзшая туша лося. Собаки, рыча друг на друга, два дня выгрызали, выцарапывали все новые куски мяса, пока в ледовой пещере не остались лишь кости, шерсть и огромные лопаты рогов. Трудно было представить, как и отчего мог погибнуть такой гигант. Ни тигр, ни медведь не решились бы подступить к нему. Видно, ушел подранком от пули охотника, переплывая реку осенью, но истек кровью и вмерз в лед.

На шестой день Амур полностью освободился от льда. Лишь изредка плыли отдельные сползшие с берегов льдины, на которых сидели чайки и вороны. В ожидании парохода Бестужев решил сходить на высокий утес над протокой Уссури. Поднявшись на него, он оказался перед небольшой деревянной избушкой. Зайдя внутрь, он увидел деревянного идола за столиком, уставленным чашками, плошками с рисом, просом, кусочками сахара. А между ними лежали ленточки, лоскутки, серебряные и медные монеты. Совсем как у бурят, подумал Бестужев, только у тех – бронзовые бурханы, а у гольдов – неведомое ему божество. Скульптура самая примитивная. Голова вырезана грубо – скулы чересчур острые, вместо глаз – узкие щели. Но было в облике нечто детски-наивное, трогательное. Достав из кармана монету, он положил ее на столик рядом с другими. Выйдя из избушки, он аккуратно прикрыл дверцу, подпер ее колом и направился к краю утеса, нависшего над рекой.

Панорама, открывшаяся перед ним, взволновала бы самое спокойное сердце. Залитая солнцем бескрайняя гладь воды слепила глаза. Противоположный берег терялся в весенней дымке. Амур казался не рекой, а безбрежным морем. Только мерное журчание воды, плеск волн о скалу выдавали, что это не море, а огромная масса стремительно текущей воды.

До слуха донесся какой-то стук. Сначала ему показалось, что это дятлы, но стук был хоть и дробный, но редковатый. Так стучат топоры. Углубившись в лес и выйдя на небольшую полянку, он увидел людей, обтесывающих бревна. Подойдя ближе, он узнал среди них своего рабочего Евдокимова, который плыл с ним по Амуру. Тот бросился к Бестужеву.

– Бат-тюшки! Какими судьбами, Михаил Александрович?

– Я-то домой, а ты как здесь?

– Узнал хабар про Хабаровку и поехал за хабаришком, авось подхабарит, пока хабарщики не наехали, – протараторил Евдокимов под общий смех рабочих.

– Ох и мастак ты на прибаутки и каламбуры, – смеясь, сказал Бестужев, – а я вот не разобрал, чего «нахабарил» ты.

– А это проще простого. Хабар по-татарски весть, хабаришка – удача, везенье, а хабарщики – хапуги. И выходит так: узнал весть про Хабаровку, поехал за удачей, авось повезет, пока хапуги не наехали.

Покурив с рабочими, Бестужев спросил, где стоит пароход. Евдокимов ответил, что знает, и вызвался проводить к месту стоянки. Верхом на лошадях они проехали густой лес и спустились к берегу Амура, где механики сняв винт с вала, грели его в пламени костра.

Капитан рассказал, что зимовка прошла неплохо, а весна принесла много тревог. Вешние воды подняли судно с мели, и первое время оно шло вместе со льдом. Но как только

за кормой образовалась полынья, капитан дал малый ход назад и вывел корабль из припая, лишь немного помяв лопасти винта.

Механики с помощью лебедек завели разогретый винт на наковальню и стали стучать кувалдами по медной лопасти. Матросы красили борта и палубные строения Блеск и запах свежей краски придавали кораблю еще более нарядный вид.

– Нам приказано срочно подняться к Усть-Зее, – сказал капитан. – Судя по всему, предстоит что-то важное..

Пока Бестужев ждал завершения ремонта, подошел основной обоз капитана Дьяченко. Пост Хабаровка, который поручили основать ему, предназначался для обеспечения судоходства по Амуру и Уссури. Вслед за первыми избами недалеко от утеса поставили каркасы причала для приемки судов, ограду дровяного склада.

– Все это лишь на первое время, – говорил Дьяченко, – но сколько хлопот потом!

– Позже Хабаровка должна стать важным портом, – сказал Бестужев, – разрастется в город с большим населением, станет форпостом освоения края.

– И сотворим молитву на Хабаровску молпту! – вставил слово Евдокимов.

– Когда это будет, – улыбнулся Дьяченко, – нам бы первую улочку поставить.

– За первой будет вторая, третья, потом поперечные. А главные проспекты пройдут вон по тем горам, – Бестужев показал на три гряды, идущие параллельно Амуру и густо поросшие лесом. Лишь при самой буйной фантазии можно было представить на них ряды домов...

## БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Насколько трудным был прошлогодний сплав, настолько легким оказался подъем вверх по Амуру. Пароход шел по весеннему разливу на несколько метров выше обычного уровня воды. Встречное течение стосильному «Амуру» не было ощутимым сопротивлением. Очень трудно пришлось лишь в «щеках» Хингана, где напор внешних вод был настолько велик, что корабль временами едва не сносило вниз. В начале мая «Амур» прошел Хинганскую горловину и на всех парах направился к Усть-Зее.

Четырнадцатого мая, подходя к Айгуну, капитан и все стоящие на верхней палубе увидели большое скопление катеров, лодок, над которыми возвышались две высокие баржи русской постройки. С высоты верхней палубы «Амура» Айгун оказался не совсем таким, каким виделся прошлым летом с баржи. Бросались в глаза убогость и нищета глинобитных лачуг и фанз, над которыми помпезно возвышались яркие дома губернаторского квартала. На берегу выстроено войско – конница с копьями, солдаты в рубище, с палками в руках. Ружья лишь по одному на шеренгу.

От резиденции генерал-губернатора показался всадник. Подскакав к начальнику береговой охраны, он что-то приказал ему, и тот в свою очередь отдал какое-то распоряжение. Артиллеристы засуетились у орудий и повернули их в сторону корабля. Офицер махнул шашкой, над пятью пушками одновременно взвились облачка дыма и до корабля донесся нестройный дробный залп. Бестужев вопрошающе глянул на капитана.

– Не беспокойтесь, – успокоил тот, – это салют.

Дав в ответ мощный гудок, «Амур» направился к пристани. Люди, сбегавшиеся к берегу, начали было кричать, махать руками, но офицеры и солдаты ударами палок тотчас уgomонили их. Однако приветственные выкрики и взмахи рук из глубины толпы говорили об искренней радости простого люда при виде первого в эту навигацию русского парохода. Тут навстречу вышел катер под Андреевским флагом. Какой-то полковник прокричал в рупор:

– Не причаливать! Идите в Усть-Зеею! Приказ Муравьева. Он ждет вас там!

– Что происходит? – удивился Бестужев.

– Не знаю, – пожал плечами капитан.

Миновав место впадения Зеи в Амур, корабль дал протяжный гудок, известив о своем прибытии. Берег станицы сразу же заполнился народом. Дети бежали рядом с кораблем,



крича и махая руками. Когда «Амур» ошвартовался у причала, подскочил на коне Дадешкилиани и велел капитану срочно явиться к Муравьеву. Увидев Бестужева, Сандро обнял его. Бестужев спросил что происходит в Айгуне. Оказалось, там четвертый день идут переговоры, Муравьев их начал, а продолжает Перовский. Объяснение Сандро озадачило Бестужева, и по пути к генерал-губернатору он пытался понять смысл маневра и никак не мог найти ответа.

Осознает ли Муравьев, понимает ли, с какой державой, с каким механизмом дипломатии столкнулся? Ведь вся жизнь Китая, от императора до последнего кули и крестьянина, идет по веками выработанным законам. Перед ним китайская стена всевозможных предписаний, обрядов, церемоний, предрассудков. Уж если Путятину, облеченного особыми полномочиями царя, не пустили к столу переговоров, то как расценить действия Муравьева, которому каким-то чудом удалось усадить китайцев за этот стол и вдруг... отбыть? Где как не там находится глава делегации, чтобы всеми силами ускорить их ход?

Сколько русских послов маялось в Пекине, пока их допускали к подножию трона богдыхана! Целых два года вел переговоры Савва Рагузинский, пока подписал трактат 1727 года! И чего добился – лишь основания Кяхты и торговли через нее. Конечно, и это большая заслуга, но чем обернутся нынешние переговоры, как и когда завершатся, если глава делегации России покинул их? Тут было что-то неясное, туманное.

– Хао! – по-китайски приветствовал Муравьев Бестужева и капитана «Амура». Расспросив о состоянии корабля и экипажа, Муравьев поблагодарил капитана за быстрый рейс. – Вы прибыли очень кстати.

Быстро прохаживаясь по кабинету, Муравьев явно не мог скрыть нервного возбуждения, в котором все же чувствовались сомнения, тревога за ход переговоров.

– Но почему вы не там? – мягко спросил Бестужев.

– Мое отбытие из Айгуна придало переговорам большую многозначительность. Изучив историю наших взаимоотношений с Китаем, я понял, что богдыханы всегда воспринимали уважительный тон, элементарную вежливость за проявление слабости. Я не сторонник грубого нажима, но толочь воду в ступе дипломатической демагогии не желаю. Сейчас, когда англичане и французы вторглись в Китай с юга и хотят проникнуть в него через Амур и Сунгари, вести бесконечные беседы по меньшей мере неразумно и для китайцев и для нас. Поэтому я попытался убедить главу их делегации генерала Ишаня в скорейшем разграничении по Амуру. Это укрепит границы Китая за наш счет. Когда же Ишань заявил, будто он не уполномочен пересматривать границы и что богдыхан желает оставить в силе Нерчинский трактат, я сказал, что в таком случае прерву переговоры и от этого будет хуже прежде всего Китаю, ибо Россия не станет препятствовать агрессии иностранцев через Амур. А насчет трактата тысяча шестьсот восемьдесят девятого года заявил, что его нельзя считать законным, так как маньчжуры, нарушив предварительную договоренность, осадили Нерчинск десятитысячным войском и вынудили подписать тот пресловутый договор. Перед отъездом я сказал, что наша точка зрения полностью изложена в проекте, теперь слово за Ишанем: либо он соглашается с ней, либо мы прерываем переговоры. Тут он задумался о последствиях, грозящих не столько Китаю, сколько ему. Ишань – человек, который не пропадет на самых скользких паркетах, и к тому же родственник богдыхана, но тот в сей момент может даровать ему самоубийство или того позорнее – четвертовать его. Это у них живо делается.

– А вдруг ему даруют самоубийство за этот договор? – спросил Бестужев.

– Вполне возможно. Консерватизм правителей Китая удивителен, но главная их беда – о будущем думают менее, чем о настоящем. А их будущее зависит от дружбы с Россией. Простая истина: с соседями надо жить в дружбе, тогда и иноземцы не полезут, зная, что добрые соседи не позволят. Но никак не уразумеет это богдыхан и его свита. Привыкли считать себя центром Земли – Срединная империя, все остальное – окраина, а соседние народы – их потенциальные подданные...

– Если и впредь они сохраняют это убеждение, последствия будут печальные, – сказал Бестужев, – и прежде всего для самого Китая. Искренне уважаю его древний мудрый народ, его трудолюбие, культуру, но как же не везет ему с правителями!

– Как говорят, народ достоин своего правительства.

– И в России тоже? – с невинной улыбкой спросил Бестужев.

– Вы забываетесь, – нахмурился Муравьев. Капитан встал и попросил разрешения удалиться.

Муравьев не стал задерживать его, еще раз поблагодарил за быстрый рейс и, когда тот вышел, упрекнул Бестужева за неуместную реплику.

– Извините, пожалуйста, – простодушно вздохнул Бестужев и, чтобы замять дело, спросил, как Муравьев съездил в Петербург и Париж, как чувствует себя Екатерина Николаевна. Николай Николаевич рассказал, что после Петербурга поехал в австрийский городок на воды поправить здоровье, затем отбыл на юг Франции, где его ожидала Екатерина Николаевна.

Слушая Муравьева, Бестужев вспомнил романтическую историю его женитьбы. Он познакомился со своей будущей женой во Франции в 1845 году в доме ее родителей де Ришмон. Юная Катрин была чрезвычайно красива, умна и образованна. Узнав ее ближе, Муравьев убедился и в том, что у нее очень доброе сердце, спокойный, ровный характер. Вернувшись в Россию, он начал переписку, а затем сделал предложение. В конце 1846 года она приехала в Петербург, затем в Тулу, где Муравьев был генерал-губернатором.

Свадебные торжества не отличались пышностью – Муравьев был небогат, – но кое-что в них напоминало ритуал приезда прусских принцесс, выходящих замуж за великих князей, которые потом становились царями. Принятие православия, после чего Катрин де Ришмон стала Екатериной Николаевной Муравьевой, а затем венчание проходили в городе Богородицке Тульской губернии. В том же году Муравьева неожиданно для всех назначили генерал-губернатором Восточной Сибири.

Бестужев видел ее в Иркутске лишь мельком, но сразу же оценил достоинства супруги генерал-губернатора, вовсе не походившей на напыщенных дам великосветского общества. Детей у них не было, и Екатерина Николаевна зачастую сопровождала мужа в поездках в Верхнеудинск, Читу, Кяхту, а в 1849 году отважилась на далекое путешествие по Лене в Якутск, затем в Аян, на Камчатку, Сахалин, разделив с супругом все тяготы невыносимо далекого тяжелого пути.

Все это Бестужев вспомнил, слушая рассказ Муравьева о его поездке за границу, о встрече с прусским дипломатом Бисмарком и о том, как его неожиданно отозвали в Петербург. Там Муравьеву сообщили об известии Путьягина, будто китайцы готовят порох против русских, из-за чего тот предложил блокировать устье Пейхо. Муравьев убедил министра иностранных дел Горчакова ни в коем случае не делать этого, так как китайцы готовятся к борьбе не против России, а против тайпинов и интервентов. Двадцать шестого апреля с началом ледохода Муравьев отплыл на специальном катере из Сретенска в Усть-Зею. Прибыв туда пятого мая вместе с архиепископом Иннокентием, приставом Пекинской духовной миссии Перовским и переводчиками Шишмаревым, Сычевским, он сел за составление текста договора о разграничении по Амуру.

Петр Николаевич Перовский – не просто священник миссии, да и миссия в Пекине не только духовная, но и дипломатическая, ведь она на протяжении многих лет фактически являлась посольством России в Китае. Почти все прежние и нынешние члены миссии, например отец Иакинф, Сычевский, Скачков и многие другие, прекрасно владеют восточными языками, глубоко изучили историю, быт, нравы Китая. А Муравьев хоть и не дипломат в обычном смысле слова, но хорошо знает историю дипломатии, имеет опыт ведения дел за границей. Так что нынешнюю делегацию возглавляет вовсе не дилетант в политике, а волевой, хорошо знающий нюансы внутренней и международной ситуации государственный деятель.

– Слушаю вас, Николай Николаевич, и думаю, как все-таки играет судьба! В училище

колонновожатых ваш дядя сорок лет назад создал юношеское общество «Чока», которое хотело основать независимое свободное государство на Сахалине. И вот сейчас решается вопрос о границах на Дальнем Востоке, но это лишь часть того, что задумывалось в «Чоке»...

– Да и в вашем обществе, – обронил Муравьев.

– Границы границами. А что внутри? Какое государство, кто и как правит им? Мы вот судим о китайцах со своей православной колокольни. Многие кажется нам непонятным. А мы с их китайской стены тоже, наверное, кажемся им странными, нелепыми. Но слава богу, начинают понимать, что искать общий язык с нами в конце концов надо!



– И потому сейчас обсуждают проект трактата. А насчет того, что внутри границ, судить не мальчикам из «Чоки» и не юнцам, которые устроили мятеж в Петербурге...

– Простите, но тут вы не правы! – твердо сказал Бестужев. – Восстание подняли зрелые!

– Нет уж, увольте! Если не считать нескольких почтенных возрастом, то мятеж подняли двадцатилетние. И чем все окончилось? Сколько людей погибло! Сколько горя многим семействам, да и всей России! Вот что значат преждевременные меры! Торопить историю бесполезно.

Спорить Бестужев не стал – не стоит лезть на рожон. Он и так сказал много лишнего. Невольно вспомнив о погибшей рукописи, где он пытался ответить на это «зря и рано», он расстроился. Нет, надо обязательно восстановить воспоминания.

– Судя по донесениям, – продолжал Муравьев, – Ишань продолжает упорствовать в мелочах, но тем не менее дело дошло до сличения текстов на русском, маньчжурском и монгольском...

– И на монгольском языке текст?

– А как же! Воды Амура полнятся Ононом, Керуленом и другими реками Монголии. Как только подготовят тексты, я выеду на подписание договора...

«Не слишком ли уверен? – думал Бестужев. – Мало ли какой фокус выкинет Ишань?» Вспомнив о Путятине, которого не допустили ко двору, спросил, где он.

– Его отстранили от должности главы миссии, назначили командиром эскадры, – раздраженно сказал Муравьев. – Вот кто еще из племени торопыг. Дожил до седины, а поступает, как мальчишка. Почти год торчит в Китае, а чего добился? И зачем вообще выносить обсуждение границ в Пекин? Это надо решать как бы между прочим, в отдалении от дворца богдыхана...

Высказанное Бестужевым в прошлом году Муравьев усвоил настолько, что уже считал полностью своим и выдавал как откровение.

– Теперь представьте, – говорил Муравьев, – мы подпишем трактат, а Путятин, не зная этого, полезет снова с тем же. Тут богдыхан, используя нашу несогласованность, может опомниться и не утвердить договор. Ох, как нужна телеграфная связь!

На другой день курьер из Айгуна сообщил о том, что тексты трактата готовы, и Муравьев сразу же отплыл на «Амуре». Два следующих дня устьзейцы провели в томительном ожидании. И когда утром семнадцатого мая пароход показался из-за поворота, Бестужев по флагам расцветивания на мачтах понял, что переговоры увенчались успехом. На подходе к Усть-Зее «Амур» огласил берега реки торжественным гудком и залпом бортовых орудий, возвестивших о большой победе русской дипломатии. Жители станицы тоже ответили выстрелами из ружей. Перепуганные птицы взметнулись вверх и долго кружились над весенней рекой, всполошенные непонятной им радостью людей.

Почти неделю Усть-Зее празднично бурлила. Восемнадцатого мая из Айгуна прибыла целая эскадра джонок во главе с Ишанем, Джерамингой и огромной свитой чиновников, среди которых Бестужев увидел и «почтаря» Юй Цзечина, и фунда-бошко Найбао. Два дня шли совместные торжества, а двадцать первого мая состоялась закладка храма Благовещенья Пресвятой Богородицы. Сотни людей собрались вокруг холма, на котором закладывалась церковь.

Богатырского телосложения и роста архиепископ Иннокентий внимательно оглядел толпу с небольшого возвышения и начал проповедь, в которой сказал, что разграничение по Амуру открыло не только древний водный путь, по которому шли первопроходцы, но и дорогу православной вере к землям, освоенным еще два столетия назад русскими казаками из Албазина и других мест. Начав довольно тихо, но внятно, отец Иннокентий поднял над головой большой крест и форсировал голос до могучего звучания:

– Еще молимся мы за державу Российскую, за процветание ея! Господи, помилуй, господи, помилуй и бла-гослови-и на-а-с!

Сколько гордости за державу Российскую, за простых русских мужиков, казаков-первопроходцев всколыхнул отец Иннокентий в душах людей!

Глянув вокруг затуманенными от волнения глазами, Бестужев увидел среди множества русских грузина Дадешкилиани, гилеяка Позвейна, бурят Епифана Сычевского и Доржи Табунова, успевшего прибыть сюда со своей почтой, а чуть в отдалении стояли тунгусы, дауры, манегры, солоны и тоже шевелили губами, повторяя слова молитвы. И почему-то дрогнуло сердце Бестужева: ведь и они тоже – россияне, соотечественники. И хоть не все будет ровно и гладко, но сколь будет стоять земля русская, столь будут жить вместе разноплеменные сыны и дочери ее!

После закладки храма все пошли на обед, устроенный на поляне, недалеко от резиденции генерал-губернатора. Здесь Муравьев торжественно объявил, что станица Усть-Зейская отныне переименовывается в город Благовещенск.

Во время торжества Бестужев обратил внимание на старика тунгуса в суконном пальто и рубашке поверх него. Па шее у него был галстук, кашне и шарф, а на голове – новая фетровая шляпа. Увидев Бестужева, тот стал подавать знаки, потом направился к нему. И только вблизи Бестужев узнал Мальянгу. Они обнялись, поцеловались.

– Господи, помили! Господи, помили! – пропел Мальянга и выпил стакан вина.

– Ты что, крестился? – спросил Бестужев.

– Два раз, на прошлы год и нынче! – с гордостью ответил тот.

– Разве так можно? – засмеялся Бестужев.

– Можно, можно. Каждый раз рубаха давай, – отодвинув шарф, затем кашне, Мальянга растегнул рубаху, потом пальто, показал внизу еще одну рубашку.

– Но так нельзя, Мальянга.

– Посему нельзя? Моя не воровой.

– Да я не о том. Смотри, как я одет, как другие. Рубаху только под пальто носят и галстук тоже. Да и кашне с шарфом вместе нельзя.

Мальянга понял, о чем речь, снял рубаху, шарф, утер ими пот с лица, потом достал какую-то косынку, понюхал ее и вдруг заплакал.

– Ну, брат, ты уж опьянел! – огорчился Бестужев.

– Моя пьяна нету, – закачал головой Мальянга. – Дочка Буринда за река угнал...

– Кто?

– Манзура... чиновник.

– Замуж вышла?

– Замуж нету. Манзура говори, манегри – право давай! – махнул он рукой па другую сторону Амура.

– Вот оно что! – нахмурился Бестужев.

– Не только манегров, но и другие племена маньчжуры угоняют на тот берег, – сказал подошедший Дадешкилиани.

– Это нарушение трактата! Ведь там указано, что уходят только маньчжуры, да и то по личному желанию!

– А заставляют и других, – сказал Сандро. – И что делают: похищают детей, и родители поневоле едут за ними.

– Надо заявить протест! – сказал Бестужев.

– Делали уже, но чиновники говорят, что они ничего не знают, а жители, мол, едут сами...

История с Мальянгой опечалила Бестужева, испортив впечатление от совместных торжеств по случаю утверждения трактата. Такие речи говорили маньчжуры, а на деле сразу же начали нарушать договор.

## **АЛЕКСАНДР ЛУЦКИЙ**

Выехав с курьерами, везущими благую весть об Айгунском договоре и основании нового города, Бестужев поднялся на пароходе до Сретенска. Далее курьеры помчались одни – находиться в их экипажах посторонним было не положено. И Бестужеву пришлось ехать на перекладных, более тихим ходом.

В Бянкине Кандинские уговорили его немного задержаться. Отдохнув у них два дня, Бестужев выехал с Марией Алексеевной и Ваней Токмаковым в Нерчинск в их тарантасе. Переправившись на пароме через Шилку, они двинулись вверх по реке Нерче.

– Вон гора Маятная, – показал Ваня на большую вершину над правым берегом Нерчи, – сейчас она поросла лесом, а когда маньчжуры осадили Нерчинск, гора была почти голой, и князь Гантимур несколько дней водил по ней кругами свой отряд, изображая, будто к городу подходят русские войска. Маньчжуры струхнули, но не отошли. А гора с тех пор называется Маятной, мол, напрасно маялись гантимуровцы...

В Нерчинске Бестужев заглянул на почтовую станцию узнать, когда будут лошади на Читу, и вышел на улицу. Какой-то хмурый бородатый человек, сидевший на крыльце, увидел Бестужева, замотал головой и начал протирать глаза. Потом снова глянул как-то странно, поднялся и, прихрамывая, направился к Бестужеву. Мария Алексеевна, подумав, что это нищий или пьяный, попыталась преградить ему дорогу.

– Не беспокойтесь, сударыня, – хрипло сказал человек, – я только спрошу, не господин ли Бестужев это?

– Бестужев, – ответил тот.

– Михаил Александрович! Не узнаете? Я – Луцкий...

Не веря ушам и глазам своим, Бестужев остолбенел: Александр Луцкий, унтер-офицер лейб-гвардии Московского полка, один из самых верных, активных помощников во время восстания! Как беспощадно время... Согбенный сухой старец со шрамами на лице, перебитым носом, почти беззубый. Лишь в глазах и улыбке едва-едва возник прежний облик юноши. Но что за улыбка у него – неуверенная, настороженная: не отмахнется ли прежний командир?

– Господи, Саша! – наконец молвил Бестужев, подал руку, потом порывисто обнял его, сразу ощутив, до чего слаб, костляв тот, лопатки чувствовались даже сквозь толстое сукно старой шинели. – Какими судьбами? Где ты был? Я ведь ничего не слышал о тебе!

– Пойдемте, сядем где-нибудь, – попросил Луцкий, – мне на ногах тяжело.

– Мария Алексеевна, Ваня, знакомьтесь, это мои однополчанин!

По пути к родственникам Кандинских Бестужев коротко рассказал о себе, а в доме выслушал рассказ Луцкого.

– Как ударили пушки, я побежал вслед за вами, ведая, как вы чуть не прикончили Засса, но пробиться к вам не смог – коннопионеры путь отрезали. Кое-как прорвался меж них на Английскую набережную, забежал в дом Лавалей, спрятался в чулане. Ночью вышел на улицу, а меня сразу же схватил патруль, отвез на гауптвахту Зимнего дворца, оттуда – в Петропавловскую крепость. Пробыл там полтора года, хотя судили раньше – военным судом в полку. Приговорили к повешению, потом высочайшей милостью заменили наказанием кнутом и вечной каторгой. Однако как дворянина от кнута избавили и летом двадцать седьмого года отправили этапом в Сибирь. Но так отощал, занемог в крепости, что в Москве уложили в тюремную больницу па три месяца. Дошел до Казани, снова слег на два месяца, потом еще столько же болел в Перми. Лишь в двадцать восьмом дошел до Тобольска. Оттуда пошли этапом, а мне дружки говорят, не выдюжишь каторги по здоровью, сгинешь сразу же. А тут в нашей партии оказался беглый крестьянин из Малороссии Агафон Непомнящий, ростом, цветом волос со мной схож. Ну и подговорил его поменяться фамилиями. Тот согласился за шестьдесят рублей. Так и сделали.

Стал жить в деревне Большекумжужской под Красноярском, через соседа одного, поселенца Прохора Филиппова, начал с отцом переписываться, он мне письма, деньги слал. Но через год вдруг жандармы ко мне: «Никакой ты не Агафон Непомнящий, а Александр Луцкий!» Прохор-то, оказывается, письма мои перечитывал и от зависти выдал – на деньги, которые за поимку беглых дают, позарился. Отвезли меня в Иркутский острог. Месяц, другой, полгода сижу, а ничего не делают. Понять не могу. Потом узнал, что дело мое до Петербурга дошло. В феврале тридцатого года пришел рескрипт самого царя. На этот раз дворянское звание не помогло – всыпали сто ударов лозы, заковали в ручные и ножные кандалы и отправили по этапу в Ново-Зерентуйский рудник. В пути, чтоб не сбежал, закладывали в «лису» – зажимали ноги в дырах между бревнами. А в руднике приковали к тачке. Надзиратель – ох сволочуга был! – сразу объявил всем, вот, мол, офицер, дворянин прибыл, поприветствуйте, уважьте как следует. Ну, меня и уважили – избили, благо я прикованный, ответить не мог. Один особенно старался: «Из-за такого, как ты, дворянина, помещика, кричал он, вся жизнь моя поломана. И вот теперь возвращаю долг!» Избил так, что я лишился чувств, а он все пинал меня, нос разбил, зубы выбил – Луцкий провел ладонью по шрамам на лице, – а чтобы привести в чувство, помочился на меня и другим велел...

На другой день обращаюсь к надзирателю, прошу бумагу, чернила, чтоб жалобу написать, а тот тоже бить стал, приговаривая: «Вот тебе бумага, вот тебе перышко, гнида дворянская!» А когда кровь снова пошла, добавил: «А вот тебе и чернила! Тебя для того и прислали сюда, к тачке приковали, чтоб ты сдох, как собака, а как сдохнешь, отвезем в ней в лес...» Ох и страшен человек, когда власть безгранична! В зверя превращается.

Били каждый вечер, вроде как молитву перед сном совершали. Ну, думаю, забьют до смерти. Не выдержал как-то, кричу: «Братцы! Я же за вас на площадь в Петербурге против царя вышел, чтоб крестьян освободить, землю вам дать, а солдатам службу сократить!» Не

верят, смеются. Но вижу, кое-кто смотрит жалостливо. Я к ним: «Неужто не слышали про это?» Не слышали, говорят, да и быть такого не может, чтоб офицер и дворянин за солдата и холопа шел. Но вдруг сзади кто-то голос подал, а народу в бараке человек сто, мол, знает про восстание, в Петровском Заводе целый каземат для офицеров и дворян построили, и князя, генералы там даже есть. И хоть не все поверили, бить стали меньше...

– Раз ты знал, что мы в Забайкалье, чего же не сообщил? – спросил Бестужев.

– Но как? Да и слышал только о Трубецком, Волконском, а про вас не знал. И чем вы могли помочь?

– Попросили бы перевести к нам.

– Меня-то, беглеца? Как только отковали от тачки, пошел в деревню, упросил одного кузнеца разбить кандалы, бежал, прикинулся нищим и пошел на запад. Зима, мороз лютый, едва не замерз. Но выжил – все-таки добрый народ сибиряки! И ночевать пустят, и накормят, да в дорогу кой-чего дадут... Шел так и добрался до Енисея. Оттуда решил к Минусинску спуститься – все южнее, теплее и от тракта подальше, да не успел – снова арестовали, отвезли в Иркутск. Тут уж высочайшего распоряжения не ждали – наказали плетьюми, а это, брат, не лоза и не спицрутены – посерьезнее штука. Так попал обратно в Забайкалье, опять приковали к тачке... Ох, круги ада – вздохнул Луцкий, мотая головой. Слушал, смотрел на него Бестужев и удивлялся, как не сломался, выдержал он. И так странно рассказывает, то и дело усмехаясь, будто не о себе, а о ком-то другом. А Ваня Токмаков сидел бледный, притихший, словно онемев от исповеди беглеца. Вырос, родился здесь, много видел их, но не представлял, до чего тяжко каторжникам в рудниках.

– Когда же освободили от каторги?

– В пятидесятом. Култума – место поселения, недалеко тут, верст двести. Служу по откупам, триста рублей серебром в год. И одному не густо, а у меня – куча детей.

– В правах восстановили?

– Из-за побегов амнистии не подлежал, но недавно все-таки вернули дворянское звание. Однако жена и дети как были горнозаводские, так и остались. А это значит, в Россию можно ехать только мне. Вот она, царская милость: бросай семью, езжай один!

– Нет, надо подумать. Хочешь, поговорю с Муравьевым?

– Вы с ним накоротке?

– Ну как сказать? Слово замолвить попробую.

– Был бы очень признателен. Но вряд ли разрешат – денег-то на дорогу сколько...

– Погоди, в наше время все может быть. Главное, добиться разрешения в Петербурге, там о деньгах не очень-то думают, спохватится лишь местное начальство, да будет поздно – предписание выполнять надо. Я, между прочим, в таком же положении. Детей, правда, двое, но жена, три сестры, сам – седьмой. Тоже думаю уехать, но подожду, пока подрастут дети...

Бестужев знал, что тысячи матросов и солдат были сосланы в Сибирь и на Кавказ, догадывался об их судьбе, но лишь после встречи с Луцком получил представление об истинных страданиях младших чинов, попавших на каторгу, которая была для них намного страшнее. Боль и стыд охватили его за свой свежий, здоровый вид, за хоть и не шегольскую, но добротную одежду, а главное за то, что фактически имение он вверх Луцкого в пучину страшных испытаний. И он дал себе слово помочь ему и его семье.

## ЧИТА – СЕЛЕНГИНСК

Проезжая села, Бестужев то и дело слышал торжественный перезвон колоколов – повсюду отмечалось разграничение по Амуру. В Чите он подробно рассказал Завалишину о своем путешествии и переговорах в Айгуне. Дмитрий Иринархович слушал со скептической усмешкой и вовсе не разделял восторгов по поводу дипломатического успеха, достигнутого благодаря воле, твердости и разумной тактике Муравьева. Ехидные реплики по адресу генерал-губернатора и вся отстраненная позиция Завалишина раздражали Бестужева. Переубедить его было бесполезно. Можно, конечно, быть недовольным местными

властями, упрекать за ошибки и прегрешения, но стоит ли мазать все черной краской? Ведь Айгунский трактат – событие из ряда вон выходящее: без единого выстрела возвращена гигантская территория, равная чуть ли не половине Европы.

Все это венчало титаническую деятельность экспедиции Невельского, подвиги русских морских офицеров по освоению низовьев Амура, Сахалина и побережья Японского моря, а Завалишин брюзжит, фыркает незнамо на что. И потому Бестужев расстался с Дмитрием Иринарховичем внешне благопристойно, но без особой теплоты и сердечности.

Приехав в Верхнеудинск поздно вечером, Бестужев заночевал у Курбатовых на Большой улице, утром переправился через Селенгу и, проехав мимо Иволги, Оронгоя, Гусиного озера, начал подниматься по Убиенной пади.

Название свое она получила из-за битвы, происшедшей здесь в 1688 году, когда сосланный гетман Украины Демьян Многогрешный разбил войска монгольского хана Очироя. Только что став свидетелем важного исторического события, каким было заключение Айгунского договора, Бестужев невольно бросал взгляд в глубь времен, пытаясь разглядеть в них едва видные пунктиры, ведущие из прошлого в настоящее.

Так, в Нерчинске и Селенгинске полвека назад служил его дядя Василий Сафронович Бестужев. Не нажив службой никакого богатства, он подал в отставку и ушел в Россию пешком. А еще раньше, в 1727 году, сюда был сослан Меишиковым арап Петра Великого Абрам Ганнибал, который строил в Селенгинске крепость. Стены ее, как и половину старого города на том берегу, давно снесли бурные воды Селенги. Но причудлива судьба, ведь именно Савва Рагузинский, который в ту пору заключал договор с Китаем и основал Кяхту, еще в 1704 году привез в Россию арапчонка, будущего прадеда Пушкина, и подарил его Петру Первому. Рагузинский и опальный Ганнибал наверняка виделись в Кяхте или Селенгинске...

Бестужев добрался до перевала и вскоре увидел сквозь редкие стволы сосен крыши Селенгинска. И тут мысли о прошлом уступили место нетерпению, радости, тревоге от предстоящей встречи с семьей: как там Леля и Коля? Ладит ли жена с сестрами? Не заезжая в центр Селенгинска, где его могли остановить знакомые, он проехал по окраине, у полей, засаженных знаменитым селенгинским табаком, и помчался, поднимая облака пыли, по дороге к дому в пяти верстах от городка.

Еще издалека он разглядел у ворот две крохотные фигурки и узнал своих ребятишек, а на лавочке сидели его сестры. Увидев, что кто-то скачет к усадьбе, дети перестали бегать. Резко осадив лошадь, Бестужев выскочил из тарантаса и бросился к ним. Леля обняла отца, а двухлетний Коля, не узнав его, испугался и побежал к теткам, которые, поднявшись с лавки, уже спешили к брату. Объятия, поцелуи.

– Ты что, не узнал? – смеялась Леля над Коленькой. – Это же папа!

Мальчонка успокоился, отец поднял его на руки, прижал к себе и спросил, где мама.

– Мама дома, болеет, – тихо прошептал малыш. Открыв калитку, Бестужев вбежал во двор, поднялся по крыльцу и, распахнув дверь, увидел жену, лежащую в постели. Мария поднялась и со слабой улыбкой протянула руки. Он обнял ее, поцеловал.

– Наконец-то! Думала, уж не увижу, – заплакала она.

– Ну что ты, успокойся.

– Тебе еще не сказали? Сестра моя Наташа умерла от чахотки, а я, кажется, заразилась от нее...

Нездоровый румянец и блеск глаз на бледном лице выказывали тяжелое состояние. Он, как мог, начал утешать ее.

Хозяйство в отсутствие Бестужева оказалось запущенным. Сидейки, сделанные еще зимой, сбыть не удалось, и они стояли во дворе оглоблями вверх. Узнав от приезжающих из Иркутска кяхтинцев, что Зимина и Серебренникова на месте нет и что вернутся они нескоро, Бестужев взялся за работу – вспахал огород, унавозил грядки, высадил на них рассадку огурцов, помидоров.

Ему чѐм могли помогали сестры. Но как же сдали они в его отсутствие. Конечно,



сказываются годы – Елене шестьдесят шесть, близнецам Ольге и Марии – по шестьдесят пять. Но была и другая причина – нелады с женой Мишеля. Не имея своих детей, сестры начали отдавать Леле и Коле все свои нерастраченные материнские чувства. Детишки очень любили тетюшек, и это вызывало ревность матери. И без того натянутые отношения испортились до такой степени, что сестры твердо решили в ближайшее время уехать в Москву.

Кузен Александр – сын Василия Сафроновича от третьего брака – после Крымской кампании жил в центре Москвы, на Поварской, и по-прежнему звал сестер к себе.

Завершив дела на огороде, Бестужев занялся сенокосом. Изгородь из прясел, не подправленная после зимы, упала, скот вытоптал траву на угодьях, выделенных Бестужеву, и ему пришлось косить сено на островах. Но до чего хлопотное это дело! Понадобилось смолить, шпаклевать лодки, а потом плавать на острова ранними утрами. Буйные травы ложились толстыми валками, не успевая просохнуть за день, если не перевероршить их. Вечерами надо было снова грести и метать копны.

Когда был жив Николай, с сенокосом справлялись легче. Брат так умело вершил зароды, что дожди почти не портили сено, стекая по хорошо уложенным и расчесанным прядям. Сейчас же ему помогали сын Николая Алеша Старцев и его друзья. Нанять работников было не на что. От денег, полученных за сплав, почти ничего не осталось – траты на жилье в Николаевске, прогоны, питание в дороге. Теперь вся надежда на доплату за вынужденную задержку в Николаевске. Он ничего не заработал за сплав, а, учитывая урон от запущенного в его отсутствие хозяйства, оказался даже в убытке.

## ИРКУТСК

В середине августа Бестужев узнал, что скоро с Амура возвратится Муравьев. В Иркутске намечены большие торжества, на которых сочтут за честь присутствовать все купцы, в том числе и Зимин с Серебренниковым. Выезд в Иркутск он решил совместить с проводами сестер.

Сборы в дорогу оказались хлопотными. Хоть и не богат их гардероб, но одежды, белья всякого, зимних вещей набралось несколько коробов. В особый сундук Елена упрятала письма родственников, друзей, часть записей и рисунков брата Николая. Она, как никто из всех, знала ценность их. Почти все из оставшихся от заработка за сплав деньги пришлось отдать сестрам.

Прощаясь с Лелей и Нолей, сестры не могли сдержать слез, а детишки плакали навзрыд. Прослезилась и Мери. Подойдя к золовкам, она попросила прощения за невольные огорчения, которые по глупости и капризам доставляла им.

– Прости и ты нас, – глотая слезы, говорила Елена. – Дай бог детям и тебе здоровья!

Отъехав от дома, они остановились у могилы брата Николая, которая находилась недалеко от усадьбы, за бурятскими юртами. Ольга последний раз полила, поправила на ней цветы, посаженные ею, и, встав на колени, приникла к траве на холмике и замерла.

Каково было видеть это!

К Байкалу они поехали не через Верхнеудинск, а по дороге, проложенной кяхтинскими купцами напрямик через перевалы Хамар-Дабана. Зимой Бестужев не решился бы везти старушек по этому пути, но сейчас, летом, рискнуть можно. Переправившись на пароходе в Лиственничное, они на третий день пути оказались в Иркутске.

Зимой прошлого года и тридцать один год назад, когда Бестужева везли на каторгу, над Иркутском стоял морозный туман, Ангара была скована льдом. А нынче он впервые увидел город во всей летней красе. Иркутск оказался на удивление зеленым, уютным. А сейчас, когда шла подготовка к встрече генерал-губернатора, он преобразился до неузнаваемости. На спуске с Крестовой горы, в начале Заморской улицы, построена триумфальная арка, украшенная еловыми ветвями, цветами, флагами. Сотни вензелей Муравьева, флюгеры с лентами, флаги украшали эту и поперечные улицы. На здании театра вывешено огромное

полотно с пейзажем Николаевска – ряды улиц, причалы, корабли на рейде, горы на далеком правом берегу. Довольно точно нарисовано, отметил Бестужев.

Остановились они у генерала Кукеля, хотя их приглашали и Персины, и Трапезниковы. Столько добрых знакомых и друзей осталось здесь у Николая. И каждый был бы рад принять у себя его брата и сестер.

Когда Бестужев пришел в контору Амурской компании, управляющий Белоголовый встретил его очень радушно. Андрей Васильевич хорошо знал многих декабристов, его сыновья учились у братьев Борисовых, Юшневского и Александра Поджио.

– Очень рад видеть вас! Отлично помню Николая Александровича и личное знакомство с вами сочту за честь. Кстати, недавно из Петербурга прислан устав компании, там учтены и ваши предложения. Вот, посмотрите, – Белоголовый подал листы.

Бестужев пробежал глазами крупно отпечатанный текст и увидел строки о содержании парусных и пароходных судов, о торговле с иноземными странами. А предложение о развитии местных промыслов и промышленности было сформулировано довольно неуклюже: «Устройство для разработки местных произведений».



– Откуда вы знаете, что это предложил я? – спросил Бестужев.

– От Муравьева, еще перед отправкой в Петербург прошлой осенью Николай Николаевич лично вписал их. Я полностью поддерживаю вас, только о местных произведениях, мне кажется, говорить рановато. На первых порах главное – торговля.

– Но думать о развитии хозяйства и промыслов надо заранее, иначе потом торговать будет нечем. Скажите, пожалуйста, кто вошел в дирекцию?

– Директорами правления назначены Бенардаки и Рукавишников, кандидатами на этот пост – Невельской и Волконский-сын.

– Мишель?! Как же быстро летит время! Ведь он вырос на моих глазах, и вот – в списке столь уважаемых людей.

– Несмотря на молодость, Михаил Сергеевич выполнял самые серьезные поручения – сопровождал переселенцев, боролся с холерой, закладывал новые селения и дороги за

Якутском, ездил по дипломатическим делам в Монголию.

– Да, мне это известно. Рад за него и его родителей. Сибирское детство пошло только на пользу.

– Ну как, привезли отчет?

– Да, конечно, и, кстати, хотел спросить, не вошли ли Зимин и Серебренников в правление?

– Они хоть и основали первую Амурскую компанию, в новое правление не избраны.

– И правильно, уж больно нерасторопны, недалновидны...

И тут, как на грех, в дверях показался Зимин. Трудно сказать, слышал ли он последние слова, но, увидев Бестужева, изобразил самое искреннее радушие и даже обнял его. Узнав, что он остановился у Кукеля, Зимин удивленно вытаращил глаза, потом шутливо погрозил пальцем:

– Опасный вы человек, все с начальством якшаетесь!

Зимин взял папку с отчетом и последними квитанциями и, сославшись на предпраздничные хлопоты, сказал, что рассмотрит все после торжеств.

Сестры не захотели оставаться на праздники. Путь предстоял долгий. Как бы не увязнуть в осенней распутице. На левый берег Ангары Бестужев переправил их на пароме-самолете, недавно устроенном тут инженером Либгартом. Прицепленный толстыми канатами к якорю на дне реки паром с помощью руля, используя напор течения, переплывал Ангару с одного берега на другой. Облокотившись на деревянные перила, сестры задумчиво смотрели на кристально прозрачную воду, слушая ее журчание за бортом.

– До чего же просто устроено! – сказала вдруг Ольга. – Брат Николай, наверное, оценил бы эту гениальную простоту.

– Удивительно, – грустно заметил Михаил. – Я тоже подумал о том же...

– Что тут удивительного, – сказала Мария, – мы прощаемся и неволью думаем о старшем брате, который заменил нам отца...

Расставание на левом берегу было коротким и не столь мучительным. Обо всем уже сказано, передумано. Мишель поцеловал сестер, усадил их в довольно просторный дормез, в котором можно было поочередно спать во время езды, и лошади рванули с места.

Бестужев долго смотрел вслед сестрам, и невыразимое чувство боли, вины перед ними овладело им. Как же это они, братья, не могли устроить их судьбы? Будь он постарше, обязательно свел бы с друзьями-офицерами. Елену, пожалуй, было бы не просто выдать замуж, красавицей не слыла, а вот Маша и Оля были вполне милые девицы. Такие стройные, осанистые в молодости...

Но что теперь думать об этом?..

## **ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ ДОГОВОРА**

Возвращение генерал-губернатора, ожидаемое со дня на день, все же оказалось неожиданным. Но еще более неожиданным было его поведение. Увидев триумфальную арку и толпу встречающих, услышав звуки оркестра Муравьев сошел с тарантаса, спустился с Дадешкилиани к Ангаре, сел в первую попавшуюся лодку и поплыл вниз по течению к своему дому, стоявшему на берегу реки в центре города. Однако весть о его приезде мгновенно разнеслась по городу звонким благовестом церковных колоколов. Когда Муравьев вышел из лодки, на берегу уже стояла большая толпа, и избежать торжественной встречи не удалось.

Оркестр Редрова с усердием и лихостью заиграл Амурский марш, под звуки которого Муравьев вступил в Воскресенский собор. Преосвященный Евсевий отслужил благодарственный молебен за счастливое окончание Амурского дела и благополучное завершение путешествия.

Торжества продолжались и на следующий день. Фабриканты и хозяева лавок с вечера объявили рабочим служащим, приказчикам о том, что завтра можно не являться на работу.

Купцы с утра выставили на улицах перед воротами столы с вином, водкой, закусками, а купец Хаминов угостил за свой счет весь военный гарнизон.

Специально для встречи Муравьева театр подготовил и показал пьесу Львова «Не место красит человека, а человек – место». Спектакль завершился эффектным показом вензеля «Н. Н.М.».

А когда над городом сгустились сумерки, на улицах, площадях загорелись длинные ряды плошек, разноцветных фонарей. Особенно красивой была иллюминация напротив дома генерал-губернатора – гирлянды огней перекидывались на фоне Ангары через площадь и начало Большой улицы легкими аркадами. А у пристани парома-самолета, на здании штаба войск огни плошек образовали слова «АМУР НАШ».

– Это уж слишком, – рассмеялся Бестужев, – не весь Амур, а только левый берег.

Через день в залах Благородного собрания был устроен большой прием, средства на который собрали по подписке. Торжество в честь разграничения по Амуру обернулось чествованием генерал-губернатора. Открыл вечер Белоголовый.

– Ваше превосходительство! Вы совершили великий, беспрецедентный подвиг – окончили первый период исторической главы: возвратили Амур с гаванями па Тихом океане. Европа смотрит на это с завистью, Америка – с восторгом. Не все могут представить, как приобрести реку почти в четыре тысячи верст и пространство в один миллион квадратных верст, можно сказать, не порезав пальца, не истратив рубля, без всякого тревожения и страха не только для России, но и для мест, прилегающих к этому краю... Зная просвещенный ум ваш, рыцарский характер, я убежден, что вы ожидаете не звучных фраз похвалы, а содействия. Вы окончили первый период исторической главы и начали второй – заселение и обустройство благодатного, но пустынного края. Теперь открывается третий период – развитие торговой деятельности. И неужели мы, сибирские купцы, останемся холодными свидетелями торгового развития новых окраин? Если мы упустим время и дадим случай воспользоваться иностранным купцом, потомки отзовутся о нас с укором... Милостивые государи! Нелицемерно пожелаем многие лета его превосходительству Николаю Николаевичу! Ура!

Вместе с криками «ура» и звуками оркестра за окнами вдруг вспыхнули огни и раздался гром пушечного салюта. Люди с поднятыми бокалами кричали здравицы в честь Муравьева, целовались, обнимали друг друга. Некоторые побежали было к генерал-губернатору, но, встретив его неодобрительный взгляд, сконфуженно повернули обратно.

Вскоре после этого слово взял Муравьев. Взволнованно, но строго оглядев всех, он сказал:

– Товарищи!..

Бестужева удивило столь необычное обращение: не господа и не милостивые государи, а именно товарищи!

– Товарищи! Поздравляю вас! Не тщетно трудились мы: Амур вновь сделался достоянием России. Святая церковь молится за нас. Россия благодарит! Да здравствует император Александр и процветает под его кровом вновь приобретенная страна! За благоденствие нового обширного края Российского государства! Ура!

И снова вместе с восторженными криками грянули залпы орудий и музыка оркестра, начавшего играть «Боже, царя храни». Все встали.

«Император-то ни при чем, – подумал Бестужев. – Этот отпрыск ненавистного Николая и пальцем не шевельнул для Амура. Впрочем, таковы правила игры, когда по всем случаям надо славословить монарха. Но сколько еще это будет продолжаться? Бедная Россия!»

В разгар приема он увидел на дальнем конце длинного стола Зимина и Серебренникова. Те тоже заметили Бестужева и начали изумленно перешептываться. «Явно не могут понять, почему я здесь, да еще гораздо ближе к генерал-губернатору».

Многие знатные богатые иркутяне не сумели пробиться в Благородное собрание, где собралось лишь триста наиболее почетных граждан. Бестужев не пошел бы на торжество – взносы были очень большими, но Кукель вручил билет в качестве дара.

– Кто-кто, а вы больше других заслужили эту честь, – сказал Бронислав Казимирович.

И вот он, Бестужев, сидит здесь не просто как командир сплава по Амуру и не как потомственный дворянин, а как представитель декабристов, которые задолго до этого события говорили об освоении Сибири, Приамурья, Дальнего Востока. Ведь еще Рылеев принимал отчеты капитанов, ходивших мимо Сахалина и устья Амура в Охотск, Аян, на Камчатку, Командоры, Алеутские острова и в Русскую Америку. Штейнгейль и Завалишин предлагали проекты освоения Забайкалья и Приамурья, а Батеишков, Басаргин, Никита Муравьев разработали проекты соединения речных и сухопутных путей Сибири в единую транспортную систему, настаивали на сооружении железнодорожных путей.

Но с декабристами ясно – были «секретными» и долго еще будут в тени. А вот почему никто не скажет о Невельском, Бошняке, Казакевиче, десятках других офицеров и матросов? Встать бы сейчас и воздать должное своим товарищам по обществу и соратникам Невельского! Каковы были бы лица у этих господ?

Вдруг зазвонил колокольчик председателя. Музыка мгновенно смолкла. Белоголовый обвел присутствующих каким-то особенно торжественным взглядом и сказал:

– Милостивые государи! Только что на имя Николая Николаевича поступил высочайший рескрипт, – помахав над головой пакетом с царскими гербами на сургучах, он развернул затем лист плотной бумаги и начал читать – «В воздаянье за заслуги ваши я возвел вас указом в графское Российской империи достоинство с присоединением к имени вашему названия Амурского, в память о том крае, которому в особенности были посвящены труды ваши и постоянная заботливость. Пребываю к вам неизменно благосклонным и навсегда доброжелательным – Александр».

– Слава графу Муравьеву-Амурскому! – раздался чей-то зычный голос. Невообразимый шквал аплодисментов, поддержанный оркестром и новыми залпами орудий, поднялся в зале. Ни Сандро, ни другие адъютанты не смогли сдержать ринувшихся к генерал-губернатору людей, которые подхватили его на руки и стали подбрасывать вверх.

Дерзость неслыханная! Но, опьяненные вином и избытком чувств, представители высшего иркутского общества не могли выразить своего ликования иначе. Взлетая над головами, Муравьев принужденно смеялся, потом стал что-то кричать, махать руками. И тут Дадешкилиани, ворвавшись в толпу, закричал так, что перекрыл и гром салюта, и музыку, и шум толпы. Люди в испуге расступились, и Сандро поймал побагровевшего генерал-губернатора. Тут же умолк оркестр, стихла канонада. В зале наступила тишина, нарушаемая лишь сопеньем людей, поспешно отступающих от Дадешкилиани, стоящего с Муравьевым на руках, как с ребенком.

С трудом сдерживая улыбку, Бестужев с интересом наблюдал, чем все это кончится. Не зная, как отвлечь людей от довольно нелепой сцены, Белоголовый поднял колокольчик и начал звонить, хотя в зале было и без того тихо. И наконец, совладав с головокружением, новоиспеченный граф пришел в себя, приоткрыл глаза, увидел, что он на руках у адъютанта, живо встал на иол и, неожиданно улыбнувшись, кивнул в сторону Белоголового:

– Ну вот, теперь будет звонить.

По странному совпадению в это время из-за окон донесся удар колокола ближайшей церкви: «Бом-м!» Гомерический хохот разрядил неловкую ситуацию. Смеялись и Муравьев, и Сандро, и Белоголовый, и все присутствующие...

Когда публика расходилась из Благородного собрания, над городом еще плыл колокольный звон, стекла дрожали от орудийных залпов. Вороны, галки, стрижи испуганно металась над крышами домов. На площадях и улицах было необыкновенно многолюдно. В Иркутск съехались делегации из окрестных сел и бурятских улусов Приангарья, Усть-Орды и даже с верховьев Лены и из Балаганского, Братского уездов.

Да, отныне Николай Николаевич – граф Амурский. Первый в таком звании из всего рода Муравьевых. Были Муравьевы-Апостолы, один из которых повешен, есть Муравьев-Карский, отличившийся в войне с турками, есть генерал Михаил Муравьев, волевая, жесткая натура. И вот – граф Муравьев-Амурский.

Надо бы увидеть, поздравить. Но теперь не то что к нему, к Дадешкилиани подступиться трудно. Однако случай свел с Муравьевым на концерте флейтиста Совле, который состоялся на следующий день.

Соло-флейтист Его Величества Короля Нидерландов Совле более года гастролировал в Иркутске, Верхнеудинске, Кяхте. После французской виолончелистки мадемуазель Христиани это был второй приезд известного иностранного музыканта в Восточную Сибирь. Концерты «летучего голландца», как его в шутку называли сибиряки, проходили с большим успехом. Очарованный горячим приемом иркутян и грандиозным празднеством в честь разграничения по Амуру, Савле устроил специальный концерт, половину сбора от которого он решил передать амурским поселенцам.

В зале не было ни одного свободного места, многие любители музыки слушали стоя, заполнив пространство вдоль окон и стен. Сидя в пятом ряду партера, Бестужев с удовольствием внимал чудесным мелодиям. После бравурных маршей духового оркестра Редрова звуки флейты и рояля казались особенно приятными. Аккомпанировал ему генерал Кукель.

Участие в концертах начальника штаба войск Сибири поначалу вызвало недоумение тузов и аристократов Иркутска. Аккомпаниатор Совле заболел, а другие пианисты играли плохо. И Муравьев разрешил Кукелю выступить с концертами в Иркутске.

Чистые, нежные звуки флейты унесли Бестужева в далекий додекабрьский Петербург. Невольно вспомнились концерты, на которых он бывал с Анетой Михайловской.

На этом музыкальном вечере Бестужев увидел в генерал-губернаторской ложе поднявшегося Муравьева, тот глянул на него и что-то сказал Дадешкилиани. Сандро кивнул и скрылся за портьерой. «Какое-то срочное дело», – подумал Бестужев и очень удивился, когда Сандро подошел к нему в фойе и сказал, что Николай Николаевич просит его к себе.

## **ВИЗИТ К МУРАВЬЕВУ-АМУРСКОМУ**

Генерал-губернатор сидел в кабинете и что-то писал.

– Ну как вам иллюминация? – кивнул он на огни за окнами.

– Даже в Петербурге не припомню такой.

– Вчера пришел пакет от Перовского. Судя по его словам, иллюминация в Пекине была даже лучше нашей. Китайцы отметили Айгунский трактат как самое большое празднество. «Нежность богдыхана к русским неописуема», – пишет Петр Николаевич. Но маньчжурская династия близка к падению, и произойдет это в ближайшие годы, от силы – десятилетия...

«А сколько продержится династия Романовых? Как бы граф ответил на этот вопрос?» – подумал Бестужев. Видимо, уловив что-то в лице собеседника, Муравьев истолковал это как недоверие к своим словам и стал их обосновывать.

– Виной всему – самоизоляция Китая. Западные страны развивают промышленность, торговлю, перевооружают армию, флот, на тот же путь становится Япония, а Китай замер в вековой дреме и безнадежно отстал. Вот почему не стоит входить в сношения с нынешним богдыханом. Потому-то я был против маневров Путятин... И все же хорошо, что вопреки всему нам удалось восстановить естественную границу по Амуру.

– И вот теперь самая пора подумать о южных портах, – сказал Бестужев.

– Опять вы за свое, – улыбнулся Муравьев, – но сейчас соглашаюсь с вами. Новый трактат предоставляет нам такую возможность.

– На Тихом океане необходима крепость вроде Кронштадта или Севастополя...

В это время дежурный офицер принес только что доставленную почту. Распечатав конверты, Муравьев прочитал письма, потом взялся за пакеты и достал кипы газет. Бестужев обомлел – «Колокол»! Муравьев, довольный произведенным впечатлением, встал из своего кресла, раскрыл один из шкафов.

– Смотрите! – на полках лежали комплекты «Колокола» и все выпуски «Полярной звезды». – Вы их читали?

Бестужев замялся, а Муравьев улыбнулся.

– По глазам вижу, читали. Впрочем, ладно... Пример этих изданий навел меня на мысль о пользе печати как отдушины для спуска пара общественного мнения. Пусть пишут, витийствуют на бумаге, разряжают страсти и напряжение умов. Пусть выявляются смутьяны... Впрочем, меня занесло, – не без цинизма заметил Муравьев, – и посему я решил расширить местную печать. Зачем узнавать все только из-за границы? Помимо «Губернских ведомостей» скоро будет выходить первая частная газета, назовем ее «Амур». Редактором будет Загоскин, цензором – я. Пусть пишут о безобразиях в откупных делах, о недостатках в городе и губернии, а то действительно забывается кое-кто от полной бесконтрольности и безнаказанности...

«Прелюбопытные рассуждения, – подумал Бестужев. – Но Муравьев не учитывает того, что печать – палка о двух концах. Однако же долго еще гласность в России будет трубой, которую будет затыкать такой вот капельмейстер в мундире».

Муравьев собрал только что пришедшие номера «Колокола» и начал укладывать их в шкаф. Пока он возился там, Бестужев увидел на столе список представленных к наградам за Айгунский договор. В начале четко видна цифра 220, затем – названия орденов разных степеней Святого Владимира, Святой Анны, Святого Станислава, медалей, золотых и серебряных, на Андреевской и других лентах. Множество людей представлено к единовременным денежным наградам и пожизненным пенсиям. Список китайцев возглавляли генерал Ишань и айгунский амбань Джераминга.

Вернувшись к столу, Муравьев понял, что Бестужев увидел список, и высказал сомнение в том, что в Петербурге одобряют такое количество награжденных.

– Не знаю, как Горчаков, но другие чиновники министерства иностранных дел ох и скупы на награды! Грешным делом хотел и вас включить сюда, но понял, что это невозможно...

Удивлению Бестужева не было предела. Неужто и впрямь было так или Муравьев придумал это сейчас? Этому ему никогда не узнать.

– Извините, Николай Николаевич, есть у меня небольшая просьба, но она не связана с этим, – он кивнул на список.

– Опять печетесь о ком-нибудь? При каждой встрече вы хлопчете за других, а у вас-то как дела с расчетами? Как семья, дети?

– С расчетами небольшая заминка, но, думаю, раз решится, а нет, обращусь к вам...

Начав рассказывать о доме, об отъезде сестер, он вдруг почувствовал, что Муравьев хоть и смотрит на него, но думает о чем-то своем. Это обидело Бестужева, и он умолк.

– Простите, вы что-то сказали? – очнулся Муравьев.

– Хочу попросить за своего сослуживца Луцкого.

– Луцкого?.. А, это тот, что в Нерчинском уезде? Уж больно строптив – столько побегов.

– Но сейчас все в прошлом, он восстановлен в правах, однако с выездом сложность...

– Да, знаю. Детей наплодил... – Муравьев начал нетерпеливо барабанить пальцами по столу.

«Плохо дело», – подумал Бестужев, ломая голову, как бы изменить отношение Муравьева к Луцкому.

– Вы хорошо знаете меня и моих братьев, всегда уважали...

– Почему в прошедшем времени? И сейчас тоже.

– Спасибо. Так вот, во всех бедах Луцкого виноват я. Это был юный, горячий унтер-офицер, несмышленный, не имеющий понятий о жизни, политике. И аз, грешный, увлек его...

– А помните, я говорил, что бунт подняли юнцы?

– Я долго думал над вашими словами и теперь полностью согласен с вами, – мягко сказал Бестужев, в интересах тактики оговаривая себя. – Так вот, Луцкий – один из тех, кто сломал жизнь свою из-за меня. Можно ли что-то сделать для отъезда его семьи в Россию?

– Он восстановлен в дворянстве, но на семью это не распространяется.  
– И у меня так будет?  
– Не равняйте себя с ним. Одно дело – Бестужевы и совсем другое – какой-то там Луцкий.

– Николай Николаевич! Я очень прошу... – разволновавшись, он не мог найти нужных слов и замялся. Муравьев отошел к окну, потом повернулся резко.

– Ладно. Пусть напишет прошение, попробую содействовать, но учтите, совсем не уверен, что разрешат в Петербурге...

Не радость и облегчение испытывал Бестужев, уходя от Муравьева, хотя с таким трудом, кажется, сдвинул с мертвой точки дело Луцкого, а поющую боль в сердце и смертную тоску, граничащую с полным опустошением. Как все-таки страшно, когда судьбы людей зави сят от всемогущества не только государя, но и его заместителей, которые могут одним росчерком пера, да что там – жестом, взглядом! – казнить или помиловать любого.

## ПРЕТЕНЗИИ КУПЦОВ

Зимин и Серебренников восседали за большим столом, когда Бестужев вошел в контору. На этот раз Зимин был более сдержан, не шутил и не паясничал. Пожав руку, он указал на кресло с подлокотниками в виде двух топоров и дугообразной спинкой, на которой вырезано: «Тише едешь, дальше будешь». Рядом стояло точно такое же кресло, но со словами «На чужой каравай рот не разевай». Бестужев усмехнулся прозрачному намеку и сел напротив купцов. Зимин раскрыл папку и, кряхтя, вздыхая с похмелья, начал листать бумаги.

– Так-с... Мы внимательно изучили ваш отчет и, к сожалению, нам не все ясно... Начнем с путевых расходов. Что-то многовато ездили вы по Ингоде, Шилке в Уктыч, Бянкино и обратно...

– Вы же знаете, сплав задерживался, и не по моей вине. За строительством барж был нужен постоянный присмотр, приходилось ездить, гнать, торопить.

– Ну ладно, ладно, – снова вздохнул Зимин, – а вот карты Амура – целых десять рублей, оморочка – два рубля. К чему брать ее?

– Да она так выручала на мелководье! Без нее мы задержались бы еще на месяц!

– Теперь – квитанции за продукты, – сказал Серебренников. – Пароходу «Амур», Крутицкому... Это ясно. А вот Никифор Васильев. Кто он такой?

– Как вам сказать? – замялся Бестужев. – Это главарь банды, которая орудовала между Вирой и Биджаном...

– Ну и что?

– Мы уговорили их бросить грабеж.

– А мы-то здесь при чем? – не выдержав, вскричал Зимин.

– Генерал-губернатор в курсе дела, – спокойно сказал Бестужев.

– Хорошо, пока оставим это, – примирительно сказал Серебренников. – А вот расходы в Николаевске – билет в клуб, прислуга, какие-то вечера...

– Вы ведь жили у Казакевича? – вкрадчиво спросил Зимин.

– Да, но приходилось питаться, пользоваться услугами и в клубе.

Купцы с усмешкой переглянулись при этих словах.

– Теперь главная наша претензия, – Зимин нервно почесал бороду. – Мы с вами заключили договор на один год, с марта по март, а у вас – еще четыре месяца. С какой стати?

– А зимовка в Николаевске?

– Но кто вас держал там?

– Не кто, а что! Зима, бездорожье!

– Ну, знаете, – развел руками Серебренников, – всю зиму ездили курьеры.

– Но у них специальные рейсы, ездить с ними нельзя.

– При желании да при ваших связях, – ехидно улыбнулся Зимин, – можно было договориться...



Уже мелочные придирки в начале разговора испортили настроение, а когда Бестужев услышал, что купцы не хотят брать в расчет вынужденную зимовку, это окончательно расстроило его. Отчет честный, обстоятельный. У многих сплавщиков баржи ушли на дно, сотни голов скота погибло, продовольствие, другие товары, а тут все доставлено без потерь и порчи. За одно это умные хозяева заплатили бы надбавку...

Сколько по-настоящему толковых торговцев знал Бестужев в Забайкалье – Кандинские, Сабашниковы, Лушников, Старцев, Шевелев! Да и в Иркутске их немало – Баснины, Белоголовые, Трапезниковы, Сибиряковы. Как они помогали декабристам, сколько доброго сделали для них! И те платили им тем же. Но есть торговцы, а есть торгаши – жадные, ограниченные, не видящие из-за сиюминутной выгоды дальше своего носа. Неужто не понимают Зимин и Серебренников, что они на этом больше потеряют, чем обретут? Кто из порядочных людей захочет иметь с ними дело, когда станет известно об их придирках? Из-за таких вот и хиреет Русская Америка. Недаром уже поговаривают о продаже Аляски и Калифорнии...

Зимин и Серебренников продолжали что-то говорить, но Бестужев, не слыша их, отрешенно смотрел в окно. Истолковав его молчание как замешательство, купцы начали наседать еще больше. Тыча пальцами в отчет, они размахивали листками. Когда Бестужев наконец глянул на них и увидел вытаращенные глаза, раскрасневшиеся лица, он удивился, до чего отвратительны и вместе с тем жалки они!

– Жили целую зиму в свое удовольствие на готовых харчах!

– И еще требуете за это оплату!

«Как перевернуто все! – подумал Бестужев. – Будто не я, а они требуют справедливого расчета и призывают к совести».

Как ни странно, именно их искаженные лица вернули Бестужеву самообладание. Он окончательно понял, с кем имеет дело, встал и сказал:

– Мне все ясно! – сухо кивнув головой, он щелкнул каблуками. Нет-нет, да и проглянет военное. «Хорошо, что честь не отдал», – подумал он.

Неожиданный уход Бестужева обескуражил купцов. Оборвав на полуслове шквал «доказательств», они так и остались с открытыми ртами, разведенными руками. Потом глянули друг на друга и стали обсуждать, что бы все это значило?

– Он этого так не оставит, – сказал Зимин.

– Обратится к Кукелю или даже Муравьеву?

– Но вот ему кукель! – взревел Зимин, показав кукиш вслед Бестужеву. – Компания у нас частная, и вмешиваться в наши дела никто не имеет права!

– Так-то так, но...

В это время на улице под высокими окнами показался Бестужев, чему-то улыбаясь и покачивая головой.

– Смотри, он еще и смеется, – кивнул Зимин и, метнувшись к окну, по-змеиному зашипел от злости. – У, каторжник! Дернул же черт связаться с ним! Но хорошо смеется тот, кто смеется последним!

А Бестужеву действительно было смешно, что надеялся на честность, порядочность купцов. «Поделом же тебе, наивная душа!»

Пройдя немного, он сел на лавку у чьих-то ворот, закурил. Ну ладно, встал, ушел. А дальше что? Четыре месяца – не шутка. Тясяча рублей! Из полученных трех тысяч половина ушла на дорогу только в одну сторону. На оставшиеся – зимовал и добирался обратно. Вот так коммерция! Нет, надо как-то взять положенное! Посоветуюсь, конечно, с Болеславом Казимировичем и Муравьевым. Однако купцы, хоть и боятся их, – лица частные... Не зайти ли в редакцию к Петрашевскому, посоветоваться с ним...

## МИХАИЛ ПЕТРАШЕВСКИЙ

Михаил Васильевич действительно походил на декабриста Никиту Муравьева фигурой

и манерой разговора. Правда, у Петрашевского была буйная окладистая борода, словно возмещавшая недостаток волос на голове. И, удивительное дело, Петрашевский выглядел старше Бестужева, хотя был на двадцать один год моложе.

– Искренне рад познакомиться, – Петрашевский встал, заволновался, увидев неожиданного, но столь дорогого гостя, начал спрашивать о матушке, сестрах.

– Матушка умерла через два года после встречи с вами, а сестры более десяти лет жили здесь, в Селенгинске, недавно проводил в Москву.

– Прекрасно помню их, беседовал с ними в Сольцах.

– Вы хоть пожилы там? – спросил Бестужев.

– Очень мало, хотя матушка купила усадьбу, можно сказать, ради меня – думала отвлечь этим от политики, но, как видите...

– Словно рок какой-то над Сольцами. Жили мы – оказались в Сибири, купили вы – и тоже попали сюда. Все мы грешны перед матерями. И сколько их еще поплачет о сыновьях!

– Мне было четыре года, когда произошло восстание, но я хорошо помню, как испугался выстрелов пушек. Мать стала успокаивать, а я зову отца. Только потом узнал, что в то время он пытался спасти Милорадовича. А между прочим, хороший был человек... Жаль, что погиб. Отец так жалел его и проклинал бунтовщиков. Знал бы он тогда, что двадцать лет спустя его сын окажется во главе нового заговора.

– Но был ли заговор? У вас, я знаю, не было никакой секретности. На ваши пятницы мог прийти любой.

– А мы и стремились к большему числу людей, – Петрашевский встал, подошел к окну. – Основная ваша беда была в том, что главную цель заговора знала лишь горстка людей, да и они не достигли согласия в действиях. Но случай к достижению цели представился вам настолько соблазнительный, что и при недостаточности средств можно было надеяться на успех...

«Сейчас скажет о нерешительности, медлительности», – подумал Бестужев, но, к удивлению, Петрашевский заговорил о противоположном.

– Однако успеха не могло быть – у вас не было связи с народом. Масса всегда против самовластья, но она должна дорасти до идей социализма. А для этого нужно множеству людей стать пропагаторами этих идей в народе, всеми средствами распространять их, но действовать при этом нужно постепенно, исподволь, полагаясь на время.

– Но вы же сами убедились, чем кончается пропагаторство.

– К сожалению, не мы первые, не мы последние. Вы сами говорите, сколько еще матерей поплачет о сыновьях. Но когда идеи социалистов укоренятся в массах и их возглавят твердые личности, имеющие полное согласие друг с другом, тогда будет бессильно и войско. И правительство подчинится воле народа...

Слушая Петрашевского, Бестужев понимал, что тот не высказывает всего, что он думает о декабристах, и наверняка смягчает выражения, чтобы не задеть достоинства старших братьев. Ведь Петрашевский знает, что книги Фурье, Сен-Симона не дошли до Сибири. И хоть Петрашевский годился ему в сыновья, Бестужев подумал, что глава первого после декабристов тайного общества превосходит его в знании новых теорий и в определенном смысле не младше, а старше Бестужева – историческим опытом, опытом новой борьбы, знаниями...

Услышав о процессе над петрашевцами, декабристы не могли спокойно отнестись к их судьбе – ведь они увидели в них своих преемников. Не все в их действиях казалось разумным, особенно удивляло беспечное отношение к конспирации, из-за чего их общество вряд ли можно было назвать тайным, и почти полная неясность дальнейших действий, то есть самого главного – как свергнуть самовластье.

Якушкин написал тогда из Ялуторовска, что и в наше время люди, которых называют социалистами, коммунистами, несмотря на нелепые учреждения, которые они предлагают взамен существующих, оказали и оказывают положительную услугу человечеству, смело выступая против прежних предрассудков.

Когда до Селенгинска долетели слова «социализм», «коммунизм», брат Николай сказал, что «наши общины суть не что иное, как социальный коммунизм на практике...». Именно так и написал он Волконскому в 1850 году.

Садясь в фельдъегерскую тройку, чтобы отправиться на каторгу, Николай сказал: «И в Сибири есть солнце. Какую коммуну мы там устроим!» И ее действительно создали – общий котел, общие финансы, библиотека, «академия». Но это – коммуна каторжная, а как создать подобное на воле? Главное же, как вообще завоевать свободу? Повешены, сосланы в Сибирь декабристы. Свободомыслию Герцена и Огарева нет места в родном отечестве. Разгромлены даже не успевшие приступить к делу петрашевцы. Как же, какими средствами бороться против самовластья? Есть ли на Руси реальные силы, способные свергнуть его? Петрашевский говорит об идеях социализма, которые надо внедрить в массах. Но кто станет застрельщиком в борьбе за святое дело?

И хотя казнить петрашевцев царь не стал, он обошелся с ними не менее изощренно. Чего стоит гнусная в своем садизме сцена с расстрелом и отменой его в последний момент? А пытки электричеством? Бестужев сомневался, были ли они, но удобно ли спрашивать о них, ведь это может причинить боль Петрашевскому, однако в конце концов все же спросил.

– Трудно сказать, как и что было, – ответил Петрашевский. – Тогда я находился в тяжелом состоянии, помню плохо. Но допросы с помощью телеграфа проводились, снисходить до личных встреч царь не стал.

– Простите, Михаил Васильевич, перебыю вас. Не знаете ли вы инженера Романова?

– Что-то не припомню.

– Дмитрий Иванович бывал на одном из заседаний вашего общества. Сейчас же он на Амуре, прокладывает телеграф и дорогу от Кизи к Императорской гавани.

– Ах да, слышал, но только здесь. Генерал-губернатор говорил, что Романов предложил проект телеграфной линии в Русскую Америку. Почти утопия, как говорят здесь, но я думаю, это вполне осуществимо.

– Романов сказал мне, – продолжил Бестужев, – что телеграфное устройство для переговоров между Зимним дворцом и Петропавловской крепостью соорудил он.

– Вот так новость! – удивился Петрашевский. – Обязательно встречусь с ним, как появится здесь. А тогда было так: ввели меня в комнату, где уже не раз допрашивали, но усадили не на лавку, а в кресло перед столом, на котором стоял аппарат с ящиком и рупором, а рядом – гальваническая машина. Скажу откровенно, я испугался, тем более что был болен и мне тогда мерещилось черт знает что. Жандарм стал успокаивать, ничего, мол, страшного, это неопасно. Подает мне нечто вроде блюдца и велит держать возле уха. Приложил, слышу, покашливает кто-то, а потом доносится голос, слабый такой, невнятный. Я говорю жандарму, что не слышно. Он подсакивает: «Держи плотнее к уху, а отвечай в рупор». Снова лепет неясный. Слушайте, кричу, кто там? Говорите громче, а то один хрип да кашель! Жандарм побледнел, глаза на лоб: «Тихо ты! Знаешь ли, с кем говоришь?!» И тут я более отчетливо услышал из «блюдца»: «Милостивый государь, как вы себя чувствуете?» – «Простите, с кем я говорю?» – «Вопросы задаю я. Извольте отвечать». – «Отвечай, не ерпенься», – шипит жандарм, а сам весь трясется не столько от злости, сколько от страха. Ну, думаю, явно кто-то из членов святого семейства, а может, и сам Николай. «Как я себя чувствую, вам хорошо известно». – «Вы ведете себя, как дерзкий мальчишка». – «Вся моя дерзость в том, что взгляды мои, нравственные убеждения требуют положить законом предел для самовластья...» И только сказал это, меня затрясло. Хочу отбросить рупор, а руку скривило судорогой, – Петрашевский обнажил правую руку по локоть и показал темную полосу от локтя к кисти и шрамы ожогов на пальцах. – Очнулся от запаха нашатырного спирта, трогаю лоб, а он в крови – упал лицом на что-то острое, когда лишился чувств. Вытираю кровь, прошу воды. Подносят стакан, а вода в нем с прожилками, уж не кислота ли, думаю, сунул пальцы, почувствовал ожог и снова оказался в беспомощности... Простите, не Романов ли рассказал вам о пытке?

– Нет, он этого не знал. Более того, он уверяет, что то была не пытка – видимо,

случайное замыкание. А узнал я об этом из письма Фонвизиной.

– Натальи Дмитриевны? Чудесный человек! Как же она поддержала меня, всех нас! И мы так благодарны ей, ее мужу и Анненковым! И я, и Достоевский видели их мало, нас держали строго, но они проникали в тюрьму будто бы для раздачи милостыни заключенным. Наталья Дмитриевна и Прасковья Егоровна – Полина Гебль – говорили, что передадут своим друзьям и знакомым в Сибири, чтобы они помогли нам. «Куда бы вы ни попали, всюду у нас есть свои люди, – заверяли они, – и в Красноярске, и в Иркутске, и далее, за Байкалом».

Лишь в конце встречи Бестужев рассказал о стычке с купцами. Услышав об этом, Петрашевский пришел в ярость.

– Проклятые торгаши! Но с ними-то мы попробуем сладить! Не могли бы вы написать в газету?

– Мне, пострадавшему, как-то неловко, и стоит ли?

– Обязательно! Дурной славы они испугаются больше всего!

– Хотел, правда, обратиться к Муравьеву...

– Не обольщайтесь, пожалуйста.

Бестужев рассказал о встрече с генерал-губернатором и о печати и гласности в толковании Муравьева. Петрашевский ответил, что взгляды генерал-губернатора на прессу известны, стычки с ним и его клеветами уже были и еще предстоят, и он, Петрашевский, не строит иллюзий насчет процветания подлинной гласности.

Прощаясь с Бестужевым, Петрашевский все же попросил написать для газеты статью, а он подумает, как дать, за подписью автора или под псевдонимом.

## ВЛАДИМИР РАЕВСКИЙ

Воскресным вечером седьмого сентября 1858 года был назначен фейерверк. Еще до начала его Иркутск был залит морем огней. «Сколько сала, стеарина, керосина сожгли, – думал Бестужев, – а сейчас в ход пойдут порох, бенгальские и китайские огни. Как бы не случилось пожара». И только он подумал так, сзади послышался колокол пожарной колесницы, запряженной парой лошадей, которые во всю прыть мчали бочки с водой.

– Неужто пожар? – крикнул он брандмейстеру.

– Никак нет-с! – ответил тот. – Но огонь сейчас будет.

И действительно, вскоре над городом взметнулось зарево, а затем раскатился треск петард, ракет, хлопушек. Люди бросились к набережной Ангары. Вертящиеся колеса, огненные щиты, вензеля, аллегорические фигуры для предосторожности были установлены на баржах, плотках, пароме-самолете. Полтора часа длилось необыкновенное для Иркутска зрелище. И то, что оно происходило над рекой, придавало огненной феерии особенно яркий, эффектный вид. Тысячи вертящихся, взлетающих и падающих огней отражались на глади быстрой Ангары. Клубы дыма и пороховой гари плыли по ее поверхности, озаряемые новыми сполохами цветных огней.

Медленно идя по набережной, Бестужев вдруг увидел Юлия Раевского. Одетый в новую парадную форму, он выглядел гораздо респектабельнее, чем на Амуре. Юлий бросился к нему.

– Как же рад видеть вас! Мы с отцом только что из России. Вон он, идемте!

Бестужев увидел у парাপета крепкого, плотного человека среднего роста, с коротко стриженными темными волосами, небольшими усиками и бородкой. Задумчиво глядя на зарево фейерверка, он казался усталым и грустным, одиноким в этой ликующей, возбужденной толпе. Трудно представить в нем потомственного дворянина, блестящего в прошлом офицера, награжденного золотой шпагой за участие в Бородинском сражении, близкого друга Пушкина. Человек как человек, но явно достойный, знающий себе цену.

– Папа! Можешь себе представить, здесь Михаил Александрович Бестужев!

Обернувшись к ним, Владимир Федосеевич внимательно глянул на Бестужева, улыбнулся и протянул руку.

– Столько слышал о вас и вот наконец вижу собственными глазами!

Рукопожатие его оказалось крепким – руки, привыкшие к тяжелой крестьянской работе. Увидев его прищуренные глаза, только что такие серьезные и ставшие сразу же добрыми, Бестужев мгновенно почувствовал в нем близкого человека. Дело не только в рассказах и мнениях разных людей. Достаточно одного взгляда и слова, чтобы узнать родственную натуру. Редко бывают такие встречи! И как хорошо, что они все-таки случаются!

– Ну как вам все это? – кивнул Раевский на зарево.

– Красиво, конечно, – усмехнулся Бестужев. – Но дыму, копоти много...

– В том-то и дело. Новые земли – хорошо, но с ними расширятся и пределы лихоимства. Сибирь всегда была под спекулятивной, недостойной администрацией. Россия недалеко ушла вперед со времен Ивана Грозного – разврат и рабство, бедность и богатство, невежество и притязания на ум. При Николае Первом Россия тридцать лет не жила, а судорожно дрожала под барабанный бой. И вот на престоле – его отпрыск. Всеобщая амнистия, Амурская феерия, журналистика, словно в горячечном бреде, кричит, хрюкает о каком-то прогрессе, цивилизации, новой эре. Сначала я читал все с интересом, а вот съездил в Россию и понял, что все это мишура! Государство, где властвуют сила и произвол, где есть касты и личности выше законов, а законы применяются лишь по отношению к стаду людей, доведенных до скотоподобия, такое государство неизлечимо! Тут не гомеопатические средства нужны, а решительные хирургические меры...

– Но где эти хирурги? – спросил Бестужев. – Дворяне, разночинцы?..

– Дворяне? Дворянство у нас прежде развратилось, чем просветилось. Гниение в России началось прежде развития. Сенатская площадь и поле под Трилесами ясно показали это. Извините за резкость, но, живя тут, я близко узнал вашего диктатора Трубецкого, Волконского и других. Милые, обаятельные люди, но не борцы и не вожди! Надежды ваши, ожидания, связанные с ними, были ошибкой. Как вы могли поручить им столь серьезное дело?.. А разночинцы способны лишь к агитации – к словам, призывам. То есть говоруны. Реальной силой их не назовешь. Есть, правда, среди них любопытные личности и даже здесь, в Иркутске. Петрашевский, Спешнев, например. Они называют себя социалистами, фурьеристами. Вы не знакомы с ними?

– Вчера беседовал с Петрашевским.

– По какому поводу?

– Да дело одно... Столкнулся с купцами.

– А, с Зиминим и Серебренниковым? Вы же от них подрядились? Тот не человек, кто разойдется с ними добром. Я их знаю как облупленных. Ну и что они?

– Договор был на год, а я зазимовал в Николаевске – получилось шестнадцать месяцев, а они доплачивать не хотят.

– Сколько же?

– Тысячу.

– Ого! Да они за эти деньги скорее удавятся, чем отдадут их. Вот вам совет: сбавьте-ка половину, иначе не получите ничего. Уверяю вас. Да и за пятьсот не ручаюсь.

– А Петрашевский предлагает через газету.

– Наивный человек – чересчур верит в силу печати.

А впрочем, трудно сказать, вдруг да поможет. Но нужно что-то более влиятельное.

– Не обратиться ли к Муравьеву? – предложил Юлий.

– А чем бог не шутит, – сказал Владимир Федосеевич. – Но учтите, Николай Николаевич не такой уж...

Юлий тронул отца, увидев, что рядом прислушиваются какие-то люди.

– Вот, – кивнул Раевский на сына, – перевели в Варшаву, а все еще боится местного начальства.

– Не за себя, за вас беспокоюсь, – сказал Юлий.

– Ну что, Михаил Александрович, рад знакомству. Сейчас уж поздно, а то бы зашли к

нам. Я еще побуду в Иркутске, потом – в Олонки. Может, заедете?

– Не смогу. Завершу дела, поспешу домой. Скоро зима, а хлопот по хозяйству – вам ли объяснять?

– Тогда заходите завтра.

– Вы ведь знаете, где я живу, – сказал Юлий, – приходите обязательно!

Расставшись с Раевским, Бестужев удивлялся, как они, только познакомившись, разговорились, словно старые друзья. Суждения Владимира Федосеевича, гораздо более резкие, острые, ничуть не напоминали ворчание, брюзжание Завалишина. Подумав об этом, Бестужев вдруг понял, что Дмитрий Ириархович сводит все к личностям: беды края и страны оттого, что ими управляют не те люди, замени их – и все пойдет по-иному. Раевский же мыслит шире, глубже, видя корень зла во всем общественном устройстве России.

Обязательно зайду к нему, решил Бестужев. Но случилось так, что эта короткая мимолетная встреча оказалась первой и последней в их жизни. Из дома пришло известие о болезни сына, и Бестужев, бросив незавершенные дела, на следующее же утро выехал в Селенгинск.

### **«И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРIT...»**

Поднявшись по Заморской улице на Крестовую, гору, Бестужев бросил прощальный взгляд на город, обложенный нищими облаками, и проехал под триумфальной аркой. Гирлянды живых цветов на ней пожухли, увяли, а от еловых и пихтовых лап, источающих смоляной запах, почему-то повеяло кладбищем. И тревога за сына, мучавшая всю ночь, еще более охватила его.

Почти весь день ушел на путь от Иркутска до Байкала. Заночевав в Листвянке, он первым же пароходом отплыл на восточный берег. Густой туман окутывал озеро. Как капитан рискнул выйти в путь и как ему удастся находить нужное направление?..

С Байкалом были связаны особые, роковые рубежи жизни Бестужева – путь на каторгу, переезд на поселение, смерть брата Николая, путешествие на Амур, проводы сестер.

В декабре 1827 года Байкал еще не замерз, плыть по нему из-за штормов было невозможно, и каторжников отправили на санях кругомарской дорогой. Сосульки на прибрежных кустах и деревьях, образовавшиеся от брызг студеного моря, позванивали на ветру, как хрустальные подвески, переливаясь всеми цветами радуги.

Осенью 1839 года, когда их отправили на поселение, они с братом Николаем ожидали в устье Селенги разрешения перевестись в Селенгинск, где жил Торсон. Обложенный тучами Байкал был почти спокоен. И тогда они впервые увидели ход омуля на нерест. Рыба шла буквально стеной. Все протоки Селенги были забиты ею. Крупные, весом до десяти и более фунтов, омули солились в бочках, а порой прямо в больших глубоких ямах, где рыба хранилась всю зиму до самого лета.

Бестужев поражался, какой раанный и как не похож на себя Байкал в каждую встречу с ним. Ревущий, штормовой в декабре. Ослепляющий гладью чистого льда весной и таинственно-туманный сейчас, осенью.

К середине дня мощный ровный норд-ост, который байкальцы называют баргузином, так как он дует из Баргузинской долины, развеял пелену тумана, открыв величавую панораму славного моря и хребта Хамар-Дабан. Склоны его в лучах не по-осеннему яркого солнца подернуты желтизной лиственниц, берез, зеленью сосен и кедров, а ниже полыхают багряные костры увядающей черемухи.

В Боярске он запряг свою лошадь в сидейку и, несмотря на поздний час и наплывающие с запада тучи, решил подняться на Хамар-Дабан, чтобы заночевать в избушке на перевале, а рано утром продолжить путь.

В узкой пади, круто идущей вверх, сразу же стало сумрачно. Глухо журчали холодные струи неугомонной горной речушки. Перестук копыт, громохание колес о камни и коренья далеко разносились в настоженной, тревожной тишине. Лошадь, поначалу шедшая

довольно бодро, вскоре притомилась, от ее боков повалил пар. Временами, учуяв какого-то зверя, она испуганно фыркала, прядала ушами.

– Ничего, – успокаивал ее и себя Бестужев, – у меня есть пистолет. Только вот не завались, а то улетим вниз...

Когда стало совсем темно, умная лошадь, осторожно перебирая копытами, все же находила дорогу, местами нависающую над самой пропастью. На крутых подъемах он соскакивал с сидейки и подталкивал ее сзади.

Поднявшись на перевал, он увидел, что небо стало проясняться. Не доезжая до избушки, он свернул вправо, к месту, где все обычно останавливаются днем – уж больно красив отсюда Байкал. Привязав лошадь к дереву, он прошел к «дивану», как проезжающие называли большую колоду у самого обрыва к озеру.

В просвете облаков появилась луна, осветив гладь ночного Байкала. Сверху хорошо видно, как холодные струи воздуха, стекая из таежных падей, на глазах превращаются в белые полосы тумана, расплываясь по воде вихреобразными спиралями. В книге Гумбольдта «Космос» или еще где-то он видел нечто подобное на рисунках, изображающих звездные системы.

Западный берег Байкала скрывался во мгле, и Бестужеву казалось, что он сидит не над озером, а у бескрайнего моря вечности и приблизился к тайнам мироздания. Но что ждет его в ближайшее время? Где найти кого-нибудь вроде Ленорман, которая точно предсказала судьбы Наполеона, Рылеева, Полины Гельб?

Ровный ветер гнал облака, все более расчищая небо. Звезды засверкали такие яркие, крупные, что казалось, будто видны даже лучики, которые как бы вспыхивают на них, и оттого звезды дрожат, мерцают, пульсируют, словно подавая друг другу какие-то сигналы. А что, если звезды – души умерших людей? И потому «звезда с звездой говорит»?

«В небесах торжественно и чудно», – тихо прошептал он и почувствовал, как дрогнуло сердце. И вдруг из глубин вечности послышался звонкий детский голос:

– Ринальдо! Пробоина у Полярной звезды!

Вздвигнув, он поднял голову и увидел у Большой Медведицы огромную хвостатую звезду – комету. Она появилась на небосводе несколько дней назад, но из-за иллюминации в Иркутске казалась гораздо меньше, чем сейчас. Мужики и бабы, видя в ней недобрый знак, крестились, махали руками, чтобы ее скорее пронесло, но с каждой ночью она разгоралась все ярче. Сейчас же, в ясном таежном небе над Байкалом ее огненный хвост был особенно ярк и жуток.

Но стоит ли бояться ее? Может, она – предвестник добра, счастья, больших перемен в жизни людей, судьбах страны?

И вновь на границе двух бездн – звездного неба и ночного Байкала, послышались неясные голоса, мелодии. А вот более отчетливо – звуки «Пассакальи», затем пение Анеты: «В час, когда мерцанье звезды разольют...» И вдруг снова отчаянный детский крик: «Тонем! А-а-а!» Мишель и Саша изо всех сил налегли на весла и выгребли к... набережной у памятника Петру. Сколько людей вокруг! Кирасиры, солдаты в киверах с ружьями. Рылеев обнимает брата Николая: «Последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы!..» И тут – вспышки, гром пушек, свист картечи, кровь, трупы... Лед Невы, полынья...

И перед Бестужевым чередой прошли образы погибших и тех, кто остался в живых. Но как мало – единицы соратников здесь, в Сибири. Кроме Бестужева – Раевский, Горбачевский, Завалишин, Луцкий. Десятки похоронены по обе стороны Байкала. А многие уехали в Россию – Волконский, Пущин, Трубецкой, Оболенский, Нарышкин, Штейнгейль... И они канут в бездну.

Но нет, не канут, а вознесутся звездами и будут вечно сиять над Россией, посылая потомкам «и чувства жар, и мыслей свет, высоких мыслей достоянье...»

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Последние годы жизни Михаила Бестужева – сплошная цепь лишений и страданий. Иркутские купцы так и не вернули денег. В 1863 году умер его сын Коля, через три года – жена Мария. Дочь Леля, жившая тогда в Москве у теток, умерла месяц спустя, сразу после страшной вести о смерти матери. Под этими ударами Бестужев, как говорили соседи, «всему попустился, ни во что не вникал». Хозяйство вели Лушниковы, лекарь Кельберг и казачий офицер Игумнов.

В 1867 году, покидая Сибирь, Бестужев разыграл в лотерею, а фактически раздарил все хозяйство – дом с мезонином, два флигеля, баню-обсерваторию, кузницу, мастерские. Большинство книг библиотеки забрал кяхтинский градоначальник А. Деспот-Зенович, но денег не заплатил.

Селенжане устроили в честь Бестужева молебен в церкви, прощальный обед. Поклонившись могилам брата Николая, жены, сына Коли и Константина Торсона – того, кто принял его в общество, Бестужев сел в тарантас, взял на руки трехлетнего сына Сашу, усадил рядом семилетнюю дочь Машу. «Уезжая, Михаил Александрович сильно плакал, – вспоминала в 1926 году Жигмит Анаева, бывшая служанка Бестужевых. – „Живите, не забывайте“, – говорил он на прощание... Это были бог, а не люди».

Петербург родил его, а Москва дала последнее убежище.

Приехав сюда, он поселился на Поварской, затем на высоком левом берегу Москвы-реки, напротив нынешнего Киевского вокзала. Течение здесь, как и на Селенге, справа налево, но не такое бурное и мощное. Небольшой двухэтажный дом № 17 в 7-м Ростовском переулке сохранился до сих пор, однако мемориальной доски на нем нет. Не отмечен он и в путеводителе «Декабристы в Москве».

Несмотря на жестокую нужду, полуголодное существование, болезнь детей и престарелых сестер, Бестужев на семидесятом году жизни совершил свой последний подвиг – восстановил трижды погибавшие воспоминания о восстании декабристов.

Умер он летом 1871 года и похоронен на Ваганьковском кладбище. Там же покоятся его мать, три сестры, дочери Леля, Маша, сын Саша, один за другим умершие в отрочестве.